

# СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ РУСИСТИКА



МАРК АЛЬТШУЛЛЕР

# МЕЖДУ ДВУХ ЦАРЕЙ

Пушкин 1824—1836



Академический проект  
Санкт-Петербург  
*lib.pushkin.kjdom.ru*

Редакционная коллегия серии  
«Современная западная русистика»:  
Б. Ф. Егоров (*председатель*),  
Я. А. Гордин, А. В. Лавров, В. А. Туниманов, М. А. Турьян.

ISBN 5-7331-0273-X



9 785733 102733

© М. Альтшуллер, 2003

© Гуманитарное агентство «Академический  
проект», 2005

Друзьям-одноклассникам

*«Была пора: наш праздник молодой...  
...Чему, чему свидетели мы были!..»*



Книга посвящена деятельности Пушкина последнего десятилетия. В ней рассматриваются некоторые спорные и недостаточно изученные аспекты пушкинского творчества этого периода. Работы, собранные здесь, были в основном написаны в последние пять лет. Для настоящего издания почти все они значительно расширены и переработаны. Когда исследования, написанные в разное время, были собраны под одним переплетом, стало ясно, что они образуют некоторое единство.

Вопрос об отношениях поэта с Николаем I принадлежит к числу самых сложных и в биографии, и в идеологии Пушкина. Эта проблема, тесно связанная с оценкой Пушкиным предшествующего царствования и личности императора Александра I, дала название и первому разделу, и всей книге: «Между двух царей». Здесь рассматривается отражение политических и историософских взглядов Пушкина в его творчестве 1826—1836 гг. С этой точки зрения рассматривается политическая лирика последнего десятилетия, поэма «Медный всадник» и публицистическая статья «Джон Теннер».

К нашему счастью, Пушкин принадлежал к числу тех поэтов, кто мыслил с пером в руке. Многие детали его творческого процесса таким образом оказались доступны исследователям и читателям. Пушкин погиб в расцвете сил, и множество замыслов, намерений, набросков сохранилось в его бумагах. Сам он совершенно справедливо однажды заметил: «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная».

Автор отдал дань этому «занимательному» занятию, и в книге представлены некоторые его результаты. Автор не настаивает на безусловной однозначности своих интерпретаций (да это и невозможно: сколько людей, столько и мнений), однако он надеется,

что читатели разделят с ним радость соприкосновения с поисками и замыслами гениального поэта. Так образовался второй раздел книги: «Неосуществленные замыслы».

В литературных штудиях одним из самых распространенных аспектов является изучение жанровой природы произведения. Десятки научных сборников, содержащих подчас интересные и талантливые наблюдения, носят скучные названия: «Проблема жанра», «К проблеме жанра», «К вопросу о жанре», «Жанровое своеобразие» и т. д. и т. п. Проблема жанра является одной из важнейших для восприятия литературного текста. От установки читателя на тот или иной жанр зависит уровень и глубина понимания, удовольствие или скука при чтении художественного текста. О жанрах многих пушкинских произведений ведутся споры. Автор надеется, что предложенные новые дефиниции некоторых пушкинских произведений позволят по-новому взглянуть на всем хорошо известные тексты. В разделе «Проблема жанра» речь пойдет о новой интерпретации «Руслана и Людмилы», «Евгения Онегина».

Книга заканчивается разделом «Заметки и уточнения». Здесь, в частности, говорится об одном письме Пушкина, вновь возвращенном в его эпистолярный послепочтовый столетнего отсутствия.

Заканчивая краткое вступление, пользуясь случаем поблагодарить всех сотрудников Пушкинского сектора Института русской литературы РАН (Пушкинский дом) во главе с С. А. Фомичевым. Особая дань памяти и благодарности принадлежит покойному **Вадиму Эразмовичу Вацуру**. Мое общение с пушкинской группой возобновилось в пору падения коммунистического режима. С тех пор доклады, конференции, тесные профессиональные связи, дружеская атмосфера много способствовали завершению этой книги.

Пользуюсь случаем выразить самую искреннюю благодарность **Илье Захаровичу Серману**, от которого я получал дружеские советы и постоянную поддержку с начала научной деятельности.

Автор счастлив публично поблагодарить своих друзей, помогавших созданию этой книги дружеским вниманием, профессиональными советами, живым интересом к объектам исследования: **С. М. Даниэля, И. Ю. Виницкого, В. Ю. Проскурины, О. А. Проскурина** и других.

Как всегда, особую и самую глубокую благодарность приносит автор жене своей **Елене Николаевне Дрыжаковой**. Каждая глава книги обсуждалась с ней. Без ее моральной поддержки, профессиональных советов и замечаний книга эта никогда не была бы написана. Как обычно, **Е. Н. Дрыжакова** внимательно прочла рукопись перед сдачей ее в печать.



*ЧАСТЬ ПЕРВАЯ*

**МЕЖДУ ДВУХ ЦАРЕЙ**



---

---

## ОТ «СТАНСОВ» К «ДРУЗЬЯМ»

---

---

### 1

Политическая биография Пушкина еще не написана. Важнейшим эпизодом этой биографии является встреча и продолжительный (от часа до двух) разговор в Кремле Пушкина с Николаем I. Встреча произошла 8 сентября 1826 года.

За полтора года до этой встречи произошел другой «разговор» Пушкина и с другим царем — Александром I. *Первый* разговор был воображаемым, *второй* — настоящим. Воображаемый записан Пушкиным в черновой с трудом поддающейся расшифровке записи конца 1824 — начала 1825 годов, так и названной редакторами «Воображаемый разговор с Александром I» (XI, 23—24).

Прежде чем приступить к анализу этого воображаемого «Разговора», следует коротко остановиться на отношениях Пушкина с императором Александром I.

Давно уже выяснено, что вся так называемая «вольнолюбивая лирика» Пушкина вполне или почти вполне укладывается в систему либеральных взглядов и настроений Александра I: конституционная монархия («Вольность»), отмена крепостного права «по маню царя» («Деревня»). Даже пресловутое послание «К Чаадаеву» с его «обломками самовластья» тоже имеет в виду, очевидно, не революцию, а ограничение самодержавия конституционными институтами. Неудивительно, что, прочитав «Деревню», царь просил поблагодарить Пушкина «за добрые чувства, вызываемые его стихами»<sup>1</sup>. Эти стихотворения Пушкина расходились по всей России в сотнях, а может быть, и тысячах списков и в конце концов привлекли к себе внимание полиции и самого царя.

Строго наказывать за подобные стихи, хотя и неудобные для публикации, но проповедующие практически дозволенные самим царем политические идеи, было не очень справедливо. И действительно, хотя Пушкину и грозили очень серьезные неприятности

(ссылка в Сибирь или даже заключение в Соловецкий монастырь), все закончилось сравнительно благополучно. Пушкин переводится в южные губернии, в распоряжение генерала Инзова. Друзья не без основания полагают, что ненадолго. Даже в официальной записке, одобренной царем, речь идет об удалении из Петербурга лишь на некоторое время («pour quelque temps»)². Николай Тургенев сообщает брату Сергею (23 апреля 1820): «Пушкина дело кончилось очень хорошо... Государь сказал, что он ничего не должен опасаться и что это ему не повредит и по службе». Поэт не только формально не сослан, но едет «к генералу Инзову курьером», о чем чуть позже (8, 11 мая) пишут брату Сергею очень хорошо осведомленные Николай и Александр Тургеневы³.

Поведение Александра I вызвало одобрение в обществе. А. Тургенев хвалит царя в письме к Вяземскому (28 апреля 1820): «...Пушкин едет к генералу Инзову в Крым... с ним поступили по-царски “в хорошем смысле этого слова”»⁴. О том же писал Вяземским Карамзин: «<Пушкин, — М. А.> ... благополучно поехал в Крым месяцев на пять. Ему дали рублей 1000 на дорогу. Он был, кажется, тронут великодушием Государя, действительно трогательным»⁵.

Ссылка на юг была только началом сложных и весьма неприязненных личных отношений Пушкина с царем. Александра I поэт всегда не любил. «Отношение Пушкина к Александру I было устойчиво негативным и окрашенным в тона личной неприязни», — пишет исследователь⁶. Трудно сказать, чем это было вызвано: личными ли лицейскими впечатлениями, или рассказами людей, близко знавших царя, или участием Александра в убийстве отца⁷ — вероятнее всего, совокупностью всех этих и еще других причин. Во всяком случае, уже в юности Пушкин осыпал царя злыми и часто далеко не справедливыми эпитаграммами. Эти эпитаграммы должны были болезненно задевать злопамятного и мнительного самодержца, которого многолетнее пребывание при дворе Екатерины приучило к лицемерию. Показателен в этом отношении один эпизод.

В 1820 г. В. Н. Каразин подал Александру записку (донос), в котором сообщал об оде «Вольность» и эпитаграммах Пушкина. К великому огорчению доносчика, ни собственные его рассуждения, ни пушкинская ода не привлекли внимания царственного читателя. Он живо заинтересовался лишь эпитаграммами. В частности, в доносе фигурировала известная эпитаграмма на Стурдзу, в которой, как записывает Каразин, высочайшее лицо «названо весьма непристойно». Действительно, в эпитаграмме на Стурдзу Александр назван «венчанным солдатом». Кроме того, в «Дневнике» Каразина упоминается «кочующий деспот» из Пушкинского «Нюэля»⁸.

Можно думать, что Александр знал и другие злые и обидные эпиграммы на себя: и о двух Александрях Павловичах, и об Аракчееве, который царю «друг и брат», и «кочующего деспота», и пр. Дальнейшие события показали, что царь хорошо запомнил все эти личные оскорбления, нанесенные ему поэтом.

Историки дружно говорят о затаенной, сохранившейся на всю жизнь личной ненависти Александра к Наполеону. Французский император не побоялся нанести Александру страшное оскорбление и дорого заплатил за это. В ответ на протесты России по поводу вероломного похищения и расстрела герцога Энгиенского во французской официальной ноте, опубликованной газетами, Александр был обвинен в прямом попустительстве убийству отца, фактически в отцеубийстве: «Жалоба, предъявляемая ныне Россией, побуждает задать вопрос: если бы стало известным, что люди, подстрекаемые Англией, подготавливают убийство Павла и находятся на расстоянии одной мили от русской границы, разве не поспешили бы ими овладеть?»<sup>9</sup> Историк по этому поводу замечает: «...следует принять во внимание особенность характера императора Александра, отличавшегося памятозлобием и никогда в душе своей не прощавшего обид, хотя часто, из видов благоразумия и политики, скрывавшего и подавлявшего в себе это чувство. Он никогда не простил Наполеону содержание дерзкой ноты Талейрана...»<sup>10</sup>

Многочисленные примеры бытового царского «памятозлобия» можно найти в воспоминаниях умного и наблюдательного Н. И. Греча, который вполне справедливо писал, что Александр «был добр, но притом злопамятен; не казнил людей, а преследовал их медленно со всеми наружными знаками благоволения и милости...»<sup>11</sup>.

Особенно показательно отношение Александра к Карамзину, с которым венценосца связывали многолетние дружеские отношения. Для Александра щепетильная честность, высокая порядочность, полное бескорыстие Карамзина были вне подозрений. Однако даже Карамзин не избежал тягостных и неприятных проявлений противоречивого и скрытного характера императора. Так, познакомившись в 1811 году с «Запиской о древней и новой России» Карамзина, царь обиделся на историка. Потом помирился с ним. Однако, когда Карамзин приехал в Петербург с восемью томами «Истории», царь два месяца не принимал его, заставил нанести унижительный визит к Аракчееву. Потом, щедро наградив историкографа, не преминул заметить, что награда дается не за «Историю», а за ту самую «Записку о древней и новой России»<sup>12</sup>.

Отношения царя и историка очень точно охарактеризовал Ю. М. Лотман: «Личность Александра I была необычайно слож-

ной: он отличался и редкой терпимостью, и редкой злопамятностью. В отношении Карамзина проявилось и то и другое. <...> Император был мнителен, презирал людей вообще и царедворцев особенно, мучился неуверенностью в себе и подозревал всех в корыстных видах, но при этом он был самолюбив, злопамятен и жаждал признания. Он любил лесть, но презирал льстецов, не выносил чужой независимости, но мог уважать только людей независимых»<sup>13</sup>.

Если к Карамзину Александр I оборачивался обеими своими ипостасями, то к Пушкину он оборачивался только одной «памятозлой» своей стороной. Впрочем, справедливости ради следует заметить, что и поэт почти до конца своей жизни сохранял неприязнь даже к покойному царю.

С злопамятством царя Пушкину пришлось столкнуться в полной мере. Царю было что помнить и на что затаить обиду. Александр ждал четыре года.

В августе 1823 года Пушкин переехал из Кишинева в Одессу под начало графа М. С. Воронцова. Уже в марте следующего года отношения Воронцова и Пушкина сильно испортились. Дружья не без основания обвиняли в этой ссоре главным образом самого поэта. Биографы Пушкина обычно считают Воронцова главным виновником неожиданной и жестокой высылки Пушкина из Одессы в Михайловское<sup>14</sup>. Дело, однако, как кажется, обстоит сложнее.

Воронцов невлюбил Пушкина, испытывал к нему личную неприязнь, не ценил и не понимал его таланта. 6 марта 1824 г. Воронцов писал своему другу П. Д. Киселеву: «... он теперь очень благоразумен и сдержан; если бы было иначе, я отослал бы его и лично был бы в восторге от этого, так как я не люблю его манер и не такой уж поклонник его таланта, — нельзя быть истинным поэтом, не работая постоянно для расширения своих познаний, а их у него недостаточно»<sup>15</sup>.

28 марта Воронцов снова пишет Киселеву. Чувствуется, что пребывание Пушкина в Одессе раздражает могущественного начальника, но Воронцов сдерживает себя, хочет решить конфликт мирно и не навредить Пушкину: «<...> я напишу Нессельроде, чтобы просить его перевести Пушкина в другое место. Здесь слишком много народа и особенно людей, которые льстят его самолюбию, поощряя его глупостями, причиняющими ему много зла. Летом будет еще многолюднее, и Пушкин вместо того, чтобы учиться и работать, еще более собьется с пути. Так как мне не в чем его упрекнуть, кроме праздности, я дам о нем хороший отзыв Нессельроде и попрошу его быть к нему благосклонным. Но было бы лучше для самого Пушкина, я думаю, не оставаться в Одессе...»<sup>16</sup>

И в тот же день Воронцов пишет большое письмо к К. В. Нессельроде, где повторяет те же аргументы и высказывает свое мнение о характере Пушкина и о его творчестве: «Главный недостаток Пушкина — честолюбие. Он прожил здесь сезон морских купаний, и имеет уже множество льстецов, хвалящих его произведения; это поддерживает в нем вредное заблуждение и кружит ему голову тем, что он замечательный писатель, в то время, как он только слабый подражатель писателя, в пользу которого можно сказать очень мало (лорда Байрона)».

В то же время Воронцов старается уберечь Пушкина от служебных и административных неприятностей, что можно рассматривать как тот «хороший отзыв», о котором Воронцов писал Киселеву: «Удаление его отсюда будет лучшая услуга для него. <...> Ежели Пушкин будет жить в другой губернии, он найдет больше поощрений к занятиям и избежит здешнего опасного общества. Повторяю, граф, что я прошу этого только ради него самого; надеюсь, моя просьба не будет истолкована ему во вред, и вполне убежден, что, только согласившись со мною, ему можно будет дать более средств обработать его рождающийся талант, удалив его в то же время от того, что ему так вредно, от лести и столкновения с заблуждениями и опасными идеями»<sup>17</sup>.

Однако в устных своих высказываниях Воронцов был гораздо более резок и несдержан. В ответ на ходатайство Вигеля о Пушкине он «побледнел, губы его задрожали и он сказал <...>: “<...> не упоминайте мне никогда об этом мерзавце!”»<sup>18</sup>.

Все же, несмотря на все свое раздражение, Воронцов не опускается до мести. Он по-прежнему спокоен и старается быть беспристрастным. Таково письмо от 2 мая к Нессельроде: «<...> повторяю мою просьбу, — избавьте меня от Пушкина, это, может быть, превосходный малый и хороший поэт, но мне бы не хотелось иметь его дольше ни в Одессе, ни в Кишиневе»<sup>19</sup>.

Друзья понимают, что над поэтом собираются тучи. Незадолго до развязки А. И. Тургенев пишет Вяземскому (1 июля 1825): «Граф Воронцов прислал представление об увольнении Пушкина. Желая во что бы то ни стало оставить его при нем, я ездил к Нессельроде, но узнал от него, что это уже невозможно, что несколько уже раз, и давно, граф Воронцов представлял о сем, и поделом, что надобно искать другого мецената-начальника. Долго вчера толковал я о сем с Севериным, и мысль наша остановилась на Паулуччи, тем более, что Пушкин и псковский помещик. Винават один Пушкин. Графиня его отличала, отличает, как заслуживает талант его, но он рвется в беду свою. Больно и досадно! Куда с ним деваться?»<sup>20</sup>

Письмо чрезвычайно интересно. Из него явствует, что Тургенев возлагает основную вину за ссору на Пушкина, есть намеки на ревность Воронцова («Графиня его отличает»), но пока речь идет, кажется, лишь о переводе Пушкина на другое место службы, подыскиваются варианты. Переход на службу к северному генерал-губернатору Паулуччи представляется весьма возможным. Воронцов, наверное, был бы доволен таким исходом дела. Кажется, и Нессельроде не возражает против такого варианта.

Таким образом, явным преувеличением звучат слова Лотмана: «Он <Воронцов, — М. А.> окружил Пушкина шпионской сетью, распечатывал его письма и непрестанно настраивал против ссыльного поэта петербургское начальство»<sup>21</sup>. Гораздо более объективными представляются размышления П. В. Анненкова, который не только внимательно читал документы, но находился гораздо ближе к описываемой эпохе, чем мы, лучше ее понимал, общался с еще живыми современниками поэта. Анненков писал: «<...> в этом странном споре сторона, обладавшая властью и всеми средствами для уничтожения безрассудного сопротивления, показала умеренность, сдержанность и достоинство, стоящие вне всякого сомнения. <...> гр. Воронцов нисколько не думал о триумфе, а напротив, думал о том, чтобы расстаться с беспокойным подчиненным как можно мягче, благороднее и гуманнее»<sup>22</sup>.

Пушкин платил Воронцову полной взаимностью. Его ненависть к своему начальнику хорошо известна. Не будем напоминать читателю хорошо известную и вполне несправедливую эпиграмму («полу-милорд, полу-купец, полу-мудрец, полу-невежда»). Воронцов, герой Отечественной войны 1812 г., был прекрасно образованным и безукоризненно воспитанным человеком. Неприязненные и тоже несправедливые упоминания о Воронцове встречаются в письмах одесского периода («вандал», «придворный хам», «мелкий эгоист», XIII, 103) и пр. Вероятно, виноваты были обе стороны. Пушкин больше. Сыграли роль и ревность Воронцова, и интриги А. Н. Раевского, и многое другое.

Развязка стремительно приближалась. В судьбу Пушкина вмешалась сила более могущественная, чем генерал-губернатор. 16 мая Нессельроде пишет Воронцову: «Я представил Императору Ваше письмо о Пушкине. Он был вполне удовлетворен тем, как вы судите об этом молодом человеке, и дает мне приказание уведомить вас о том официально. Но что касается того, что окончательно предпринять по отношению к нему, *он оставил за собою дать свое повеление* <курсив мой, — М. А.> во время ближайшего моего доклада» (Летопись, 1, 398). Царь вполне одобряет недоброжелательные суж-



дения Воронцова, как видим, держит всю ситуацию под своим контролем и планирует сам распорядиться судьбой Пушкина. Вскоре он и делает это.

27 июня Нессельроде пишет Воронцову: «Государь решил и дело Пушкина: он не останется при вас; при этом Его Императорскому Величеству угодно просмотреть сообщение, которое я напишу вам по этому предмету, — что может состояться лишь на следующей неделе, по возвращении его из военных поселений» (Летопись, 1, 411—412).

Действительно, 6 июля царь просмотрел, возможно, поправил и одобрил письмо, которое 11 июля 1824 года было отправлено Воронцову. Еще до того, как письмо было отправлено, 8 июля Нессельроде написал уведомление «о высочайшем повелении находящегося в ведомстве государственной коллегии иностранных дел коллежского секретаря Пушкина уволить вовсе от службы»<sup>22</sup>.

Письмо от 11 июля, подписанное Нессельроде, ясно показывает, *кто* был истинным виновником обрушившегося на Пушкина удара. (Мы процитируем отрывки из этого письма чуть ниже.) О роли царя в судьбе Пушкина был осведомлен А. Тургенев. Он говорит об этом в письме к Вяземскому от 15 июля 1824 (видимо, еще не зная, что судьба Пушкина уже определена): «Решит, вероятно, сам государь; Нессельроде может только надоумить»<sup>24</sup>.

Как мы сейчас увидим, предлогом, поводом для расправы послужили несколько строк из письма, видимо, Вяземскому. Речь шла об атеизме, и строки были не столько сочувствующие этим философским взглядам, сколько пессимистические и печальные: «Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобная» (XIII, 92). По словам Анненкова: «Благодаря не совсем благоразумной гласности, которую сообщили ему <этому письму. — М. А.> приятели Пушкина и особенно покойный Александр Иванович Тургенев, как мы слышали, носившийся с ним по своим знакомым, письмо дошло до сведения администрации»<sup>25</sup>. Слова Анненкова подтверждаются письмом Нессельроде от 11 июля, где говорилось, что крамольное письмо «ходило из рук в руки и получило всеобщую известность»<sup>26</sup>.

Однако эти известные «крамольные» строки, распространенные болтливым Тургеневым, оказались лишь удобным и дополнительным поводом для расправы. Из письма от 11 июля становится ясным, что царь рассмотрел пушкинское дело пристрастно и недоброжелательно.

Прочтем внимательно послание Нессельроде. Мы видим, с какой готовностью Александр соглашается с просьбами Воронцова

удалить Пушкина из Одессы, добавляя к доводам Воронцова свои собственные. т. е. письмо об атеизме: «Его величество вполне согласился с вашим предложением об удалении его из Одессы после рассмотрения тех основательных доводов. на которых вы основываете ваши предположения, и подкрепленных в это время другими сведениями <т. е., по всей очевидности, письмом об атеизме. Другие материалы нам неизвестны, а они, скорее всего, отложились бы в архивных делах, — М. А.>, полученными Е. В. об этом молодом человеке».

По-видимому, царь не забыл и не простил поэту его петербургских эпиграмм. В остальном, кроме пресловутого письма, обвинить Пушкина было не в чем («Кинжал» и кощунственная «Гавриилиада» были неизвестны правительству): «Все доказывает, к несчастью, что он слишком проникся вредными началами, так пагубно выразившимися *при первом вступлении его на общественное поприще* <курсив мой, — М. А.>». Мы видим, что царь снова возвращается к петербургскому периоду жизни Пушкина, к стихам, за которые он сам вполне простил поэта, но, надо думать, держит в голове все те же злые, безжалостные эпиграммы. Теперь, наконец, настало время поквитаться со строптивым остроумцем.

Суд царя был строгим и несправедливым. Он не удовлетворился просьбами Воронцова о переводе Пушкина в другое место службы. Злорадство сквозит в словах самодержца, передаваемых Нессельроде: «<...> Е. В. в видах законного наказания приказал мне исключить его из списков чиновников Министерства иностранных дел за дурное поведение...»<sup>27</sup> Но этого царю кажется мало. Нессельроде продолжает излагать приказы царя: «<...> впрочем, его величество не соглашается оставить его совершенно без надзора, на том основании, что, пользуясь своим независимым положением, он будет, без сомнения, все более распространять те вредные идеи, которых он держится, и вынудит начальство употребить против него самые строгие меры. Чтобы отдалить, по возможности, такие последствия, император думает, что в этом случае нельзя ограничиться только его отставкою, но находит необходимым удалить его в имение родителей, в Псковскую губернию, под надзор местного начальства».

Итак, царь приказывает не только отставить поэта от службы (Воронцов, как мы помним, просил лишь перевести его в другое место), но и отдать его под надзор местной администрации. По существу Пушкина сажают под унижительный домашний арест. И все это будто бы за несколько полушутливых, «философических» строк в частном письме. Наказание явно превышает меру вины.

В соответствии с этими грозными царскими распоряжениями Псковский губернатор Адеркас позднее взял с Пушкина расписку «жить безотлучно в поместье родителя своего, вести себя благо- нравно, не заниматься никакими неприличными сочинениями и суждениями, предосудительными и вредными общественной жизни и не распространять оных никуда» (Летопись, 1, 436).

Неожиданное распоряжение властей, суровый приказ самого царя, исключение из службы, позорное клеймо на репутации («дурное поведение») — все это поразило Пушкина, тем более, что было для него совершенно неожиданным. Это была новая катастрофа, и гораздо более страшная, чем отъезд из Петербурга в 1820 году. О потрясении Пушкина живо вспоминала в известном разговоре с Бартевым княгиня Вяземская: «Когда решена была его высылка из Одессы, он прибежал впопыхах с дачи Воронцовых, весь растерянный, без шляпы и перчаток...»<sup>28</sup>

Вяземский считал, что поэту был нанесен «смертельный удар» (*coup de grace*). Свое негодование он в полной мере выразил в пространном письме к А. И. Тургеневу от 13 августа 1824: «Как можно такими крутыми мерами поддразнивать и вызывать отчаяние человека! Кто творец этого бесчеловечного убийства? Или не убийство — заточить пылкого, кипучего юношу в деревне русской? <...> да и что такое за наказание за вины, которые не подходят ни под какое право? <...> за необдуманное слово, за неосторожный стих предают человека на жертву. Да и постигают ли те, которые вовлекли власть в эту меру, что есть ссылка в деревне на Руси? Должно быть богатырем духовным, чтобы устоять против этой пытки. Страшусь за Пушкина!». Вяземский был уверен, что «если государю представить это дело в том виде, в каком я его вижу, то пленение Пушкина тотчас бы разрешилось»<sup>29</sup>. Он не подозревал, что государь сам вникал во все детали пушкинского дела и сам определял поэту меру наказания. Зато Пушкин отлично знал, кто являлся истинным виновником его ссылки. Можно думать, что отношение к царю в последующие почти десять лет определялось этим несоразмерно жестоким наказанием, практически произволом.

Приезд в Михайловское был печальным и тяжелым. Вскоре произошла жестокая ссора с отцом, после которой 31 октября 1824 Пушкин написал отчаянное письмо Жуковскому и просил «спасти» его хоть «крепостью», хоть «Соловецким монастырем» (XIII, 116, 400—401). В первых числах ноября Пушкин в письме к брату писал: «Поговори, заступник мой, с Жуковским и с Карамзиным. Я не прошу от правительства полу-милостей; это было бы полу-

мера, и самая жалкая. Пусть оставят меня так, пока царь не решит моей участи. Зная его твердость и, если угодно, упрямство, я бы не надеялся на перемену судьбы моей, но со мной он поступил не только строго, но и несправедливо. Не надеясь на его снисхождение — надеюсь на справедливость его» (XIII, 121).

Итак, Пушкин в ноябре 1824 надеялся, что царь *может* отменить свое «несправедливое» наказание и разрешит ему покинуть Михайловское.

Тогда-то Пушкин и написал в своей рабочей тетради (ПД, 835) достаточно странный текст, испещренный многочисленными зачеркиваниями и поправками. «Безумные проекты писем к императору Александру ... сочинение каких-то фантастических диалогов, где он сам становится доносчиком и судьей самого же себя...» — так называл эти сумбурные, с трудом поддающиеся прочтению заметки Анненков<sup>30</sup>. Этот странный текст начинался словами: «Когда б я был царь, то позвал бы Александра Пушкина...» (XI, 23—24, 294—298, 530). Позже при посмертных публикациях этого текста комментаторы обычно называют его «Воображаемый разговор с Александром I».

Можно было бы сказать, что в отличие от разговора наедине с Николаем I, мы, естественно, знаем все детали разговора, порожденного воображением Пушкина и зафиксированного на бумаге. Беда в том, что текст этого разговора невероятно сложен и запутан, имеет несколько последовательных то ли отменяющих друг друга, то ли дополняющих слоев. Так что с интерпретацией его нужно быть очень и очень осторожным.

О текстологии, чтении отдельных мест и истолковании этого интереснейшего текста споры продолжаются уже более столетия<sup>31</sup>. Для нас сейчас важно обратиться к этому тексту как к документу, свидетельствующему об отношении Пушкина к царю Александру I, от которого Пушкин *ждал* своего освобождения в этот трудный момент своей жизни.

Поскольку текст «Воображаемого разговора...» представляет собой черновик, невозможно считать окончательным ни один из вариантов некоторых фраз. Поэтому, не претендуя на точное установление «последнего слоя» меняющихся фраз — зачеркнутых или вписанных (как это делал Бонди<sup>32</sup>), предпочтем рассматривать *все варианты*, незачеркнутые и зачеркнутые. т. е. с одинаковым интересом относиться ко всей содержащейся в тексте информации.

Итак, свой воображаемый разговор с Александром I Пушкин начинает с некоторой шуточной метафоризации: «Когда б я был царь...» Далее излагаются несколько тем, точнее, мотивов, конеч-

но, не реально возможного, но как бы желанного диалога с царем (слова Пушкина набраны курсивом).

Мотив первый: ода «Свобода» («Вольность»).

Начинает царь:

1. писано сбивчиво, слегка обдуманно, молодо, зелено, вам ведь было 17 лет, но тут есть три строфы очень хорошие

2. Поступив очень неблагоразумно, вы однако ж не старались очернить меня в глазах народа распространением нелепой клеветы — это делает вам честь, благодарю вас

3. Вы можете иметь мнения неосновательные, но не шадя моих ближних, вы не уважили правду и личную честь даже в царе

Т. к. мы имеем своеобразный словесный «маскарад» и под царя говорит сам Пушкин, то, очевидно, Пушкин считал, что три строфы оды «Вольность» (6, 7 и 8) с описанием ужасов французской революции могли бы понравиться царю. Что касается строф об убийстве Павла (9, 10 и 11), то здесь Пушкин как бы подчеркивает царю, что никакой *нелепой клеветы*, т. е. никаких намеков на виновность Александра в этом деле у него в стихах нет, но он при этом готов признать, что не пощадил семейную честь царского дома и *личную честь* усопшего царя, написав об убийстве, хотя Павел, по официальному Манифесту, скончался от удара<sup>33</sup>. На эти похвалы и упреки по поводу стихотворения, которое инкриминировалось Пушкину и послужило причиной первой ссылки, Поэт хотел бы ответить: «*Это детская ода, читайте “Руслана и Людмилу”, “Бахчисарайский фонтан” и “Онегина”. 1 песнь печатается*»<sup>33а</sup>.

Мотив второй: обида царя на Пушкина.

Нужно вы все не перестаете писать на меня пасквили? Это не хорошо.

Если я вас и не отличал, еще дожидаясь случая, то вам все же жаловаться не на что, король гишпанский или император австрийский с вами не так бы поступили за все ваши проказы, вы жили в теплом климате, вы не должны на меня жаловаться.

Поскольку за царя говорит сам Пушкин, можно видеть некоторое признание поэта, что царь вправе был обидеться на пасквили и что Александр поступил с ним за это не очень строго, отправив его на службу в теплый край. На этот мотив Пушкин отвечает, что

*от дурных стихов не отказывается, что не опровергал их, не старался оправдаться, но не надо приписывать ему всякое противозаконное или возмутительное сочинение.*

Тут Пушкин отвечает воображаемому царю по существу проблемы. Он мог бы сам или через друзей-заступников так объяснить свои эпиграммы на царя и призывы к свободе.

Мотив третий: конфликт с Воронцовым.

Вопрос царя:

*Как это вы могли ужиться с Инзовым, а не ужились с графом Воронцовым?*

Поскольку конфликт с Воронцовым считался как бы главной причиной увольнения Пушкина со службы и удаления в ссылку, Пушкин довольно подробно и, скорее, иронически объясняет суть конфликта:

*Инзов — добрый, русский в душе, меня любил, не предпочитает первого английского шалопая своим соотечественникам, не боится насмешек, за всякую ссору с молдаванами объявлял мне комнатный арест, он уже не волочитя, вежлив, никогда не подвергается заслуженной колкости, доверяет благородству чувств, не опрометчив...*

Все эти хорошие качества Инзова перечислены для того, чтобы сказать, что у Воронцова таковых не было. О Воронцове Пушкин было начал саркастически: *знал русскую литературу как герцог Веллингтон*, но оборвал эту фразу, не желая жаловаться на *его сиятельство*. Так что суть конфликта с Воронцовым Пушкин излагать не захотел.

Мотив четвертый: обвинение в атеизме.

Царь обвиняет на основании перлюстрированного письма:

*Но вы же и афей? Вот что уж никуда не годится.*

Пушкин, оказывается, знал о перлюстрации письма из Одессы, в котором он писал, что *«берет уроки чистого афеизма и что Святой дух иногда ему не по сердцу»*. Знал он также, что царю было доложено об этом письме. Пушкин находит вполне приемлемое для оправдания объяснение крамольных фраз:

*как можно судить человека по письму, писанному товарищу, можно ли школьническую, дружескую шутку взвешивать как преступление, а две пустые фразы судить как всенародную проповедь?*

Кажется, что Пушкин всерьез готовился отвечать царю на это серьезное обвинение.

Мотив пятый: Пушкин упрекает царя за ссылку в Михайловское.

*Я всегда почитал и почитаю вас как лучшего из европейских нынешних властителей, но ваш последний поступок со мною, позвольте сказать, не похож ни на что, противоречит вашим правилам и, смело ссылаюсь на собственное ваше сердце, просвещенному образу мыслей*

Убрав некоторый оттенок раздражения (*Не похож ни на что*), Пушкин вполне мог реально сказать царю эти написанные слова, подправленные даже слегка льстивой вежливостью. Может быть, Пушкин набрасывал этот текст, готовясь к возможной аудиенции? Или он готовил его для своих «заступников», которые могли бы использовать его как программу для соответствующего разговора с царем?

Мотив шестой, заключительный:

Царь (после признания его *лучшим европейским властителем* и после вежливого упрека в несправедливости *последнего поступка* (ссылки в Михайловское):

*Признайтесь, вы всегда надеялись на мое великодушие?*

Пушкин, полагая, что такой оборот диалога мог бы привести к примирению с царем:

*Хоть бы то было и правда, ужели тем я оскорбил Ваше Величество?*

Никто не оскорбляется признанием великодушия. Пушкин, очевидно, написал весь этот «маскарадный» диалог, считая, что он мог бы договориться с царем, признав свои ошибки: оскорбление «фамилии Романовых» в «Вольности»<sup>336</sup>, «дурные стихи», «пасквили» на Александра, молчаливое признание своего некорректного

поведения в конфликте с Воронцовым. Обвинение в афеизме Пушкин не признавал: «школьническая шутка». Царь мог бы понять это и не настаивать. Может быть, Пушкин действительно надеялся на великодушие царя и прощение? Во всяком случае, в этом воображаемом диалоге был вполне допустимый первый финал:

*Я (т. е. царь) бы тут отпустил А. Пушкина*

Однако в рассматриваемом нами тексте имеется и другой финал.

Одна часть текста этого второго финала приписана сбоку под двумя крестиками, соединяющими приписку с последней репликой Пушкина: *это* (т. е. надежда на великодушие) *не было бы оскорбительно Вашему Величеству*. Другая часть, написанная после группы косых вертикальных штрихов, — продолжает основной текст после незачеркнутого первого финала: *Я бы тут отпустил Пушкина*.

приписка сбоку:

*Но вы видите, что я бы ошибся в своих расчетах*

Очевидно, это говорит Пушкин и, возможно, текст продолжен спустя некоторое время (штрихи). Может быть, была им получена какая-то информация о невеликодушии царя, а может быть, Пушкин просто передумал, решил, что великодушия все равно не будет. Среди фраз, обращенных к царю: *я всегда почитал вас ...* — мелькали зачеркнутые варианты: *увидим, однако, что будет*. Можно допустить, что Пушкин чего-то ждал. Может, и дождался неблагоприятных для себя сведений. Во всяком случае второй финал вдруг резко поворачивает весь ход воображаемого разговора в сторону полного непримирения сторон:

*Тут бы Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего, хоть отчасти и правды, я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму Ермак или Кочум...*

Текст, как видим, заканчивает царь, отказавшийся от ожидаемого от него великодушия. Но царь, или как бы царь, здесь не ведет разговор, а просто пересказывает события, которые могли бы быть (рассердились друг на друга) и которые он уж никак не мог сказать (Пушкин *написал бы поэму*).



Таким образом, если Пушкин начал свой воображаемый разговор с мистификации «*Когда б я был царь...*», то построил его как программу вполне допускаемого им реального диалога с царем. Однако в благополучный исход, т. е. в свое прощение от царя, он все-таки не очень верил, а может, и получил об этом какие-то неприятные известия. Поэтому он меняет финал своего воображаемого разговора и заканчивает его почти саркастическим аккордом.

Пушкин чувствовал, что со злопамятным царем, сохранившим на годы глубокую личную обиду, сладить невозможно, «зная его твердость и, если угодно, упрямство» (XIII, 121). Но и сам Пушкин, даже на бумаге, даже в воображении, не захотел простить царю его последний поступок: жестокую, несправедливую ссылку.

Не прошло и года, как Александр I умер. Когда весь о смерти дошла до Михайловского, Пушкин несколько не огорчился, хотя и выразил неизбежное по такому случаю соболезнование: «Как верный подданный, должен я, конечно, печалиться о смерти государя, но, как поэт, радуюсь восшествию на престол Константина I. В нем очень много романтизма; бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем напоминают Генриха V. — К тому же он умен, а с умными людьми все как-то лучше; словом, я надеюсь от него много хорошего» (XIII, 247). Более того, кажется, в тот же самый день в письме к Плетневу, называя Александра *тираном*, он радовался его *падению*, ссылаясь на свое стихотворение «*Андрею Шенье*» (XIII, 249), где предсказывал:

И час придет... и он уж недалек:  
Падешь тиран...

(II, 355)

Константин царем, однако, не стал, не захотел. А в Петербурге произошел кровавый бунт. На престол взошел Николай I, человек очень умный, но отнюдь не романтический, в отличие от Александра мало образованный, педантичный и властный. Его никогда не готовили к престолу, да и сам он никогда не думал, что станет царем, и не хотел этого. Начальник инженерного корпуса и командир гвардейской дивизии, он был мало кому известен. «Николая вовсе не знали до его воцарения; при Александре он ничего не значил и никого не занимал»<sup>34</sup>. Вигель в «Записках» отмечает: «Он был несообщителен и холоден, весь преданный чувству долга своего ... он совсем не был любим»<sup>35</sup>. Он не пользовался уважением у блестящих гвардейских офицеров. Его считали «весьма пристрастным к фрунту, строгим за все мелочи и нрава мстительного <...> скупым и злопамятным»<sup>36</sup>.

В 1821 у Николая произошло столкновение с офицерами, которые были недовольны его резкостью и требовательностью. Дело закончилось переводом нескольких офицеров из гвардии в армию<sup>37</sup>. Колоритный эпизод об отношениях Николая с подчиненными офицерами рассказывает Александр Герцен (правда, свидетель далеко не беспристрастный: он люто ненавидел Николая): «<...> гвардейские офицеры <...> его <Николая I, — М. А.> ненавидели за холодную жестокость, за мелочное педанство, за злопамятность. <...> Рассказывали, что как-то на ученье великий князь до того забылся, что хотел схватить за воротник офицера. Офицер ответил ему: “В. В., у меня шпага в руке”. Николай отступил назад, промолчал...»<sup>38</sup>. Можно думать, что Пушкину, у которого среди офицеров было много друзей, это отношение к Николаю было хорошо известно.

В то же время обстоятельства сильно и к худшему для поэта переменились после 14 декабря. Ранние стихи, за которые Пушкин уже поплатился и о которых искренне хотел забыть, снова и угрожающе зазвучали на следствии. Личные и очень дружеские и тесные связи поэта с заговорщиками были очевидны<sup>39</sup>. Хотя поэт справедливо писал: «<...> я заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связей политических не имел <...>». Однако не менее справедливой была и следующая фраза: «Все-таки я от жандарма еще не ушел, легко, может, уличат меня в политических разговорах с кем-нибудь из обвиненных. А между ими друзей моих довольно» (XIII, 257. Жуковскому). И позднее, в июле 1826, о том же Вяземскому: «Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда; но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков. Все возмутительные рукописи ходили под моим именем...» (XIII, 286).

У нового царя никаких личных отношений с поэтом не было. Но, изучая материалы мятежа, он постоянно натывался на имя Пушкина. Жуковский писал: «Ты ни в чем не замешан — то правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои» (XIII, 271). Пушкин *не действовал*, но восставших судили не только за дела, но очень многих только за мнения или за намерения. С этой точки зрения, Пушкина судить было за что. Хотя у нового императора не было с Пушкиным старых счетов, как у Александра, но возмутительные сочинения были налицо.

8 сентября 1826 года Пушкин был привезен в Москву. В четыре часа или несколько позднее он был принят царем. Разговор продолжался довольно долго, от часа до двух. Встреча с царем не сулила ничего хорошего. Она вполне могла обернуться еще хуже, чем «Воображаемый разговор...». И, кажется, Пушкин был к этому готов.

Стоя перед молодым царем, почти ровесником (Николай родился в 1796 году), в кабинете кремлевского дворца, Пушкин повторил и обострил ситуацию, описанную в воображаемом разговоре. Если Александру он просто «наговорил лишнего», то Николаю прямо сказал, что был бы на площади в день мятежа. Однако же встреча с Николаем закончилась вполне благополучно. Царь и поэт нашли общий язык. Пушкин был прощен, перед ним открывались широкие перспективы деятельности. Поэт вышел из дворца со многими радужными надеждами (не все из них оправдались)<sup>40</sup>.

## II

Чтобы писать, поэт должен прежде всего уверить самого себя в истинности и справедливости тех идей, о которых он пишет. Пушкин поверил в способность молодого царя управлять Россией лучше и успешнее, чем это делал его предшественник. Новые политические взгляды и идеи нашли отражение в творчестве Пушкина последнего десятилетия.

В результате разговора с царем уже в декабре 1826 было написано знаменитое стихотворение «Стансы». Текстуально в нем фигурируют два персонажа: Петр I и молодой царь, который, по мысли поэта, должен подражать своему великому предку. Ю. М. Лотман даже предполагал, что именно Пушкин подсказал Николаю эту важнейшую идеологему будущего царствования: ориентацию на деяния Петра Великого<sup>41</sup>.

Однако это не так. Сопоставление нового царя с Петром началось уже в самые первые дни царствования Николая и скоро стало общим местом. Об этом говорил, как о всеобщей молве, в письме императору уже 8 июня 1826 года Ф. П. Толстой: «Государь! говорят, вы хотите идти по следам Петра Великого»<sup>42</sup>. Близкая Николаю I и восхищавшаяся им А. О. Смирнова на основании личных впечатлений писала: «Государь знал все 20 томов Голикова наизусть и питал чувство некоторого обожания к Петру»<sup>43</sup>.

В то же время в стихотворении «Стансы», кроме Петра Великого и молодого монарха, все время присутствует еще один персонаж: недавно почивший император. Везде, где у Пушкина говорится о Петре (а его имя появляется уже в первой строфе) как о некоем идеальном эталоне будущего царствования, намечается противопоставление положительного начала отрицательному опыту предшествующей эпохи. Если положительное начало маркировано деятельностью Петра (а подразумевается будущая деятельность Нико-

лая I), то тем самым подразумевается отрицательное отношение к предшествующему Александровскому царствованию<sup>44</sup>. Это противопоставление намечается уже в самой предлагаемой ориентации нового царя на Петра I.

В надежде славы и добра  
Гляжу вперед я без боязни:  
Начало славных дней Петра  
Мрачили мятежи и казни.  
(III, 40)

Александр, вступая на престол, писал в Манифесте, что мыслит свое будущее направление по образцу Екатерины II, цивилизованной, просвещенной и образованной монархини: «...восприемлем... обязанность управлять Богом нам врученный народ по законам и по сердцу в Бозе почивающей Августейшей Бабки нашей, Государыни Императрицы Екатерины Великия коея память нам и всему отечеству вечно пребудет любезна, да, по ее премудрым намерениям шествуя, достигнем вознести Россию на верх славы и доставить нерушимое блаженство всем верным подданным нашим...»<sup>45</sup>

Слова Манифеста были подхвачены поэтами в одах на восшествие на престол Александра:

Екатерина воскреситя  
Знать Александра в временах;  
Так, так! она во внуке будет  
Над нами царствовать вовек.  
(Державин)<sup>46</sup>

Как ангел Божий ты сияешь  
И благостью и красотой  
И с первым словом обещаешь  
Екатеринин век златой. ...  
Воспитанник Екатерины!  
Тебя Господь России дал.  
(Карамзин)<sup>47</sup>

О ветвь, о кровь Екатерины!..  
Тебе душа ее дана!  
(Дмитриев)<sup>48</sup>

Таким образом, с момента воцарения сопоставление Александр — Екатерина стало обычным для восприятия молодого императора. Для Пушкина это сопоставление только добавляло отрицательные коннотации к образу Александра. Еще в 1822 году Пушкин («Заметки по русской истории XVIII века») противопоставлял Петра — Екатерине. Первый был «сильным человеком», «северным исполни-

ном» (XII, 14), а вторая — «развратной государыней», «Тартюфом в юпке и короне» (XI, 16, 17). В 1824 г. в стихах «Мне жаль великия жены» о Екатерине говорилось с сарказмом и насмешкой:

Старушка милая жила  
Приятно и немного блудно,  
Вольтеру первый друг была,  
Наказ писала, флоты жгла,  
И умерла, садясь на судно.

(II, 1, 341)

В годы, когда были написаны «Стансы», начиналось постоянное творческое обращение Пушкина к образу Петра I, продолжавшееся до конца жизни: «Полтава», «Арап Петра Великого», «История Петра», «Медный всадник», «Пир Петра Великого». С точки зрения Пушкина, для Николая образцом должен был стать Петр, а лицемер Александр был ориентирован на «Тартюфа в юпке». Может быть, устойчиво отрицательное отношение молодого Пушкина к Екатерине в какой-то степени объяснялось привычным официальным сопоставлением Александра I с его царственной бабкой.

Петр у Пушкина: «...правдой привлек сердца». Царствование Александра началось со лжи. О совершенном с его молчаливого одобрения убийстве отца и законного монарха в Манифесте было сказано, что Государь «скоропостижно скончался апоплексическим ударом»<sup>49</sup>. Это очень похоже на «геморроидальную колику» задушенного в пьяной драке законного мужа «Августейшей бабки» царя Александра: «В седьмой день после принятия нашего престола всероссийского <...> бывший император Петр III обыкновенным прежде часто случавшимся ему припадком геморроидическим впал в престокоую колику. <...> он волею Всевышнего Бога скончался»<sup>50</sup>.

Непонятым молчанием, странной таинственностью было окружено распоряжение скрытного Александра о наследовании престола. Да и сам вызванный этим лживым молчанием бунт («мятежи» — в первой строфе пушкинского стихотворения) начался с обмана. Я не говорю о романтических побуждениях, мечтах о свободе офицеров и поэтов, но солдат обманом вывели на площадь защищать отвергшего корону Константина, обещая какие-то неслыханные льготы именем добровольно отрекшегося претендента.

Николай, вступая на престол, действовал «по правде» (как Петр), строго по закону: сначала присягнул законному наследнику престола, потом очень неохотно, вынужденно согласился принять следующую ему по праву корону, о чем и оповестил подданных, при-

вода их ко вторичной присяге. Современник (П. М. Дараган) отмечает, что еще в молодые годы «выдающаяся черта характера великого князя Николая была любовь к правде и неодобрение всего поддельного, напускного»<sup>51</sup>.

Третья строфа «Стансов» — центральная:

Самодержавною рукою  
Он смело сеял просвещение...

Уже упоминавшиеся «Заметки по русской истории XVIII века» содержат весьма скептические размышления Пушкина о просветительской деятельности Екатерины II. Она, унижая духовенство, «нанесла сильный удар просвещению народному». «Наказ» и созданную для его обсуждения Комиссию Пушкин назвал «непристойною» «фарсою». И с большой иронией писал: «Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первый лучи его, перешел из рук Шешковского (домашнего палача кроткой Екатерины) в темницу...» Подобная же участь, по Пушкину, постигла Радищева и Княжнина (XI, 16, 17).

Деятельности Екатерины противопоставлена в тех же «Заметках» просветительская деятельность Петра, который был прав, даже насильственно («самодержавною рукою») насаждая просвещение: «<...> не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу». На этом пути Петр добился некоторых положительных результатов: «Новое поколение, воспитанное под влиянием европейским, час от часу более привыкало к выгодам просвещения».

Деятельность Александра была, с точки зрения Пушкина, еще менее продуктивной, чем деятельность его бабки. Об этом Пушкин писал 15 ноября 1826 г. в составленной по поручению царя записке «О народном воспитании» (XI, 43—47), где отмечает «недостаток просвещения и нравственности» в людях Александровской эпохи. Эпоха эта, с точки зрения Пушкина, отличалась легковесностью (либеральные идеи считались признаком хорошего тона) и пустой болтовней (политическими разговорами), литература же превратилась «в песни». Все это привело к заговорам, появлению тайных обществ и к «замыслам более или менее кровавым и безумным».

Позднее мистически настроенный Александр вовсе отвернулся от просветительских идей. Последние годы его царствования отмечены полным разгромом Петербургского и Казанского университетов, что было осуществлено Магницким и Руничем. Таким образом, обращение к новому царю с призывом следовать просвети-

тельской политике Петра, а не предшествующего царствования, было вполне уместным, с точки зрения Пушкина.

И политика Николая в общем соответствовала этим пожеланиям. 6 мая 1826 г. Магницкий был отставлен от дел Казанского университета, а в ноябре был выслан в Ревель. 25 июня 1826 года был отставлен и отдан под суд Рунич<sup>52</sup>. Дальнейшая деятельность Николая в области просвещения соответствовала прагматизму петровской эпохи. Он открывал инженерные, технические, военные учебные заведения: Институт корпуса горных инженеров (1834), Технологический институт (1831), Константиновский межевой институт (1835), Лесной и межевой институт (1836), Училище правоведения (1835), Военную академию, позднее Академия генерального штаба (1830)<sup>53</sup>. Не любя университетов, считая всякие познания, выходящие за пределы практических навыков ненужными и вредными (в этом Николай действительно походил на Петра), Николай стремился людей, особенно нижних состояний, обогащать лишь «теми сведениями, кои по образу жизни их, нуждам и упражнениям могут быть им истинно полезны»<sup>54</sup>.

Далее Петр у Пушкина:

Не презирал страны родной,  
Он знал ее предназначенье.

Частица «не» здесь явно означает некоторое противопоставление: если Петр не презирал, следовательно, кто-то, а в данном случае, несомненно, усопший царь Александр I, — презирал. Действительно, настроенные скептически современники, недовольные началом деятельности Александра, еще при вступлении на престол упрекали его в незнании своей страны, пренебрежении ее нравами и обычаями. Винили в этом иноземное воспитание и прежде всего швейцарца Лагарпа. Так, адмирал Шишков считал, что Александр и его молодые друзья «отвращают глаза и сердце свое от одежды, от языка, от нравов и, словом, от всего русского»<sup>55</sup>. В 1811 г. Крылов напечатал басню «Воспитание Льва». В ней он осмеял воспитание царя-львенка, которого неудачно выбранный воспитатель научил «вить гнезды», тогда как:

<...> пользы нет большой тому знать птичий быт,  
Кого зверьми владеть поставила природа,  
<...> важнейшая наука для царей:  
Знать свойство своего народа  
И выгоды земли своей.<sup>56</sup>

Об этом же писал в своих воспоминаниях Ф. Ф. Вигель: «Его <Александра I, — М. А.> воспитание было одной из великих ошибок Екатерины. Образование его ума поручила она женевицу Лагарпу, который, оставляя Россию, столь же мало знал ее, как и в день своего приезда, и который карманную республику свою поставил образцом правления будущему самодержцу величайшей империи в мире. Идеями, которые едва могут развиваться и созреть в голове двадцатилетнего юноши, начинили мозг ребенка, которого женили ранее шестнадцати лет»<sup>57</sup>. Может быть, те же мысли имел в виду Крылов и в басне «Бочка», напечатанной в 1815 году. В ней говорилось о печальных последствиях «вредных учений», впитанных «с юных дней»<sup>58</sup>.

Склонность к либеральным идеям Александр отчетливо проявлял в 1813—1815 гг. Возобновилась переписка с Лагарпом, который был награжден орденом Андрея Первозванного. Александр готовил и вводил конституцию в Польше, оставив нерушимым крепостное право в России<sup>59</sup>.

Воспитанный по-европейски, с детских лет вовлеченный во вражду бабушки с его отцом, причастный к отцеубийству, Александр тяготился Россией. Так, посещая Москву в 1816 г., он почти демонстративно избегал посещения мест, памятных победами русского оружия (Бородино, Тарутино и др.). В то же время он специально ездил в Ваграм и Ватерлоо. Царь даже не отслужил в Москве панихиды по убиенным солдатам<sup>60</sup>.

Еще в юности Александр мечтал оставить Россию и поселиться как частное лицо за границей. Этими мечтами он делился с Лагарпом и не только с ним. «Вам уже давно известны мои мысли, клонившиеся к тому, чтобы покинуть свою родину», — писал он Лагарпу в письме от 27 сентября 1797 г., отправленном с оказией: его привез царскому воспитателю Н. Н. Новосильцеву<sup>61</sup>. В письме В. П. Кочубею от 10 мая 1796 г. Александр писал: «Я сознаю, что вовсе не гожусь для того звания, которое занимаю теперь, и еще менее для предназначенного для меня в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим способом <...> Мой план состоит в том, чтобы по отречении от этого неприглядного звания (я не могу еще положительно назначить время такого отречения) поселиться с женою на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком»<sup>62</sup>.

Эти настроения царя стали особенно хорошо известны после смерти Александра. О письме к Лагарпу знал Жуковский и рассказал о нем в своем дневнике, упоминал о нем в письме к брату А. И. Тургеневу<sup>63</sup>. Пушкин, очевидно, ссылается на какие-то письма и разговоры, когда в «Дневнике» (21 мая, 1834) пишет: «Он



<Александр I, — М. А.> писал однажды Лагарпу, что, дав свободу и конституцию земле своей, он отречется от трона и удалится в Америку» (XII, 330). Записи Тургенева, Жуковского, Пушкина относятся к более позднему времени, чем «Стансы», однако нет сомнения, что разговоры и слухи подобного рода давно циркулировали в кругах фрондирующей интеллигенции.

Напомню, что в одной из так называемых «агитационных песен» Рылеев и Бестужев писали:

Царь наш — немец русский —  
Носит мундир узкий.

Ай да царь, ай да царь,  
Православный государь.<sup>64</sup>

Кстати, здесь же осмеивается увлечение Александра фрунтом, строевыми учениями, и он назван «врагом просвещения». Замечания об отчуждении Александра I от России можно было бы во много раз умножить, но и сказанного достаточно, чтобы показать правомочность противопоставления Петра (и Николая) как патриотов недавно усопшему царю-«немцу» Александру.

Следующая строфа «Стансов» целиком посвящена образу Петра-труженика:

То академик, то герой,  
То мореплаватель, то плотник,  
Он всеобъемлющей душой  
На троне вечный был работник.

В отличие от Петра I и Николая I, Александр отнюдь не был тружеником. Еще в юные годы его воспитатель А. Я. Протасов отмечал у своего воспитанника лень, праздность, неумение и нежелание сосредоточиться на серьезных занятиях: «<...> А. П. отстал нечувствительно от всякого рода упражнений, пребывание его у невесты и забавы отвлекли его высочество от всякого прочного умствования...» У биографа Александра I находим следующую характеристику будущего императора со ссылкой на его воспитателя: «Замечается в Александре Павловиче много остроумия и способностей, но и совершенная лень и нерадение узнавать о вещах, и не только чтоб желать ведать о внутреннем положении дел, кои бы требовали некоторого посилия в познании, но даже удаление читать публичные ведомости и знать о происходящем в Европе. То есть действует в нем одно желание веселиться и быть в покое и праздности! Дурное положение для человека его состояния»<sup>65</sup>.

И позднее, на троне, рабочий день Александра не был насыщен трудами. Он вставал около восьми часов, много гулял, не очень долго по утрам работал с министрами<sup>66</sup>. В последние годы Александр постоянно путешествовал, за границей и по России. Во время путешествий государственная работа, естественно, отходила на второй план. Лень царя отмечали и декабристы в уже упоминавшихся агитационных песнях. России противопоставляется Утопия,

Где с зари до зари  
Не играют цари  
В фанты.

Пушкин наблюдал царя еще в Лицее, много слышал о нем, и упоминание о лени царя встречается в его сатирических стихах:

Я ел и пил и обещал —  
И делом не замучен.  
(II, 1, 69)

В «Воображаемом разговоре» Александр говорит «Пушкину»: «Помилуйте Александр Сергеевич. Наше царское правило: дело не делай, от дела не бегай» (XI, 23). Наконец, в строфах так называемой X главы мы находим необычайно резкое:

Плешивый щеголь, враг труда (VI, 521)

Николай был в этом отношении полной противоположностью брату. Вставал он, правда, не очень рано: в семь часов утра. Утренние часы проводил за внимательным и тщательным чтением бумаг. В течение дня много работал с министрами и руководителями ведомств, принимал посетителей. Неожиданно посещал различные учреждения или учебные заведения. Работал Николай и после обеда, и по ночам после ужина и вечерней прогулки или посещения театра, оставаясь в кабинете до двух-трех часов ночи. От переутомления мог заснуть перед киотом за молитвой. Образ жизни он вел совершенно спартанский: не курил, не пил ничего, кроме воды, за ужином часто ограничивался куском черного хлеба с солью<sup>67</sup>.

Учитывая это различие в характерах братьев-царей, можно видеть в тексте Пушкина отчетливое противопоставление: Николай — «работник на троне», Александр — «враг труда».

Последняя строфа продолжает сопоставление Николая с Петром I. Лени, безволию, уклончивости предыдущего императора противопоставляются свойственная Петру I энергия и целеустремленность, работоспособность:

Во всем будь пращуру подобен:  
Как он, неутомим и тверд...

Особое значение имеет последняя строка:

И памятью, как он, незлобен.

Здесь начинается разработка важнейшей для творчества Пушкина последнего десятилетия темы. Без малого десять лет назад в оде «Вольность» молодой поэт сформулировал примат закона, права в человеческих отношениях, в отношениях владыки и подданного. Он говорил царям:

Склонитесь первые главой  
Под сень надежную Закона... (II, 45)

Только при бездействии закона («Где дремлет меч закона...») допускал молодой поэт насилие («Кинжал», II, 1, 173).

Спустя десять лет, с точки зрения поэта, доминантой отношений между властью и личностью становится не право, а гуманизм правителя, «милость». Об этом Пушкин будет говорить в стихотворении «Во глубине сибирских руд...», в «Сказках», в поэме «Анджело», в «Капитанской дочке», в последних стихотворениях: «Пир Петра Первого», «Памятник»<sup>68</sup>.

В «Стансах» Пушкин противопоставляет нынешнего царя старшему брату: будь «памятью незлобен». Как уже говорилось, Александр был очень злопамятен, и Пушкин слишком хорошо помнил свой собственный опыт.

С точки зрения законов, по которым судили декабристов, Пушкин был виновен и понимал это: он писал вольнодумные стихи, он был близок к заговорщикам. И он получил полное помилование только потому, что новый царь был милостив к нему. Но другие виновные были строжайше наказаны позорной смертью или страдали «во глубине сибирских руд». Пушкин призывает к милости и для них.

### III

«Стансы» были программным произведением. От него расходятся идеи и темы ко многим последующим стихам. Прежде всего, к стихотворению «Во глубине сибирских руд», написанному практически одновременно со «Стансами». Академическое изда-

ние датирует «Стансы» 22 декабря 1826, а «Во глубине...» — концом декабря (III, 2, 1134, 1139).

Давно уже и вполне убедительно доказано, что никаких революционных призывов эти стихи не содержат. В 1984—1985 годах на страницах журнала «Вопросы литературы» разгорелась полемика между В. Непомнящим, Б. Бяликом и Г. Макогоненко<sup>69</sup>. Ортодоксальный Бялик с пеной у рта защищал революционное звучание хрестоматийных стихов. Его оппоненты убедительно показали и доказали, что революционных мотивов в стихах Пушкина нет. Это, впрочем, ясно было и старшему поколению пушкинистов: Б. В. Томашевскому, Д. Д. Благому и др. Конечно, стихи пронизаны глубоким сочувствием к страданиям заключенных, но отнюдь не к их делу.

Переключка «Во глубине сибирских руд...» со «Стансами» очевидна. «Стансы» начинаются со слова *надежда* («В надежде славы и добра»). Оно же становится ключевым в послании в Сибирь: *надежда* поможет дожидаться свободы («Разбудит бодрость и веселье»). Поэт призывает заключенных «в мрачном подземелье», «во глубине сибирских руд» — к терпению, а отнюдь не к каким-то действиям. Освобождение должно прийти к страдальцам извне как результат терпения. Свобода пришла к поэту по милости царя. Так же придет свобода и к узникам. И тогда «темницы рухнут». Меч, который будет вручен узникам в заключительной строфе, это, конечно, не оружие революционной борьбы, а тот символ чести и дворянского достоинства (шпага), который был сломан над головами осужденных во время позорной церемонии. Братья, друзья, которые продолжают любить их, вернут этот символ получившим прощение узникам. Так надеялся поэт<sup>70</sup>.

Другое дело, что утешительные строфы были восприняты декабристами совсем по-другому. Прошло меньше двух лет с рокового дня, и смиряться они пока еще не собирались. Свидетельство тому — хрестоматийный ответ Одоевского. Г. Макогоненко считал его вполне адекватным содержанию пушкинского стихотворения, которое «вдохновляло узников, способствовало росту их самосознания — что и было выражено в ответе Одоевского». Однако еще в 1976 году, правда, очень бегло, М. Альтшуллер и И. Мартынов говорили о полемике Одоевского с Пушкиным и о том, что именно стихи Одоевского внесли в пушкинские стихи тот несвойственный им радикализм, с которым они воспринимались последующими поколениями<sup>71</sup>.

Действительно, стихи Одоевского полемичны по отношению к пушкинскому тексту. Конечно, оба стихотворения проникнуты взаимным уважением. В первой половине XIX века в России еще су-

ществовала привычка с уважением относиться к точке зрения оппонента. Для Пушкина деятельность декабристов — это «дум высокое стремление» и важный, хотя и «скорбный», «труд» на путях улучшения жизни в России. Этот труд, эти размышления, по мысли Пушкина, не должны пропасть втуне. Недаром ведь и Николай внимательно читал мнения и записки декабристов, о чем Пушкин знал, а может быть, и услышал от самого царя во время их знаменательной встречи. Для Одоевского Пушкин — гениальный поэт, обладатель «вещих струн», носитель «пламенных звуков». Но на этом точки соприкосновения двух поэтов кончаются.

Декабристы-революционеры у Одоевского отнюдь не склонны к терпению. Они не собираются ждать, пока братья «отдадут» или даже «подадут» (во многих авторитетных списках, — III, 1, 590) им мечи. Они сами скуют их из цепей, зажгут «огонь свободы», грянут на царей и пр. Недаром позднее Ленин радостно подхватил разрушительные лозунги Одоевского, взял из них название своей газеты «Искра», а эпиграфом газеты сделал строку: «Из искры возгорится пламя».

Пушкин не мог не понять полемичности ответа, пришедшего из-за тюремной решетки. (Невозможно допустить, что такие стихи остались ему неизвестны.) И это должно было усилить то состояние морального одиночества, в котором он ощущал себя в первой половине 1827 года: отношения с правительством ухудшились, а друзья (А. И. Тургенев, Катенин, Чаадаев, даже Вяземский) готовы были осудить его за сервиллизм<sup>72</sup>.

Одинокий, чудом спасшийся поэт становится героем стихотворения «Арион» (16 июля 1827). В основе стихотворения, как хорошо известно, лежит античный миф, сохраненный Геродотом в его «Истории» (кн. 1, 23—24), о певце, спасенном и вынесенном на берег дельфином. Стихотворение это, наряду с «Во глубине сибирских руд...» много лет рассматривалось советскими ортодоксами как доказательство декабристских, чуть ли не революционных симпатий Пушкина. В качестве курьеза напомним, что в «кормщике умном» видели то Рылеева, то Пестеля<sup>73</sup>. Недавно с тем же основанием, переставив идеологические знаки, сменив плюсы на минусы и наоборот, увидели в «умном кормщике» — Александра I<sup>74</sup>. Упомянутая выше недавняя содержательная статья И. В. Немировского, обобщив и собрав весь имеющийся материал, в том числе и черновики поэта, убедительно показала полную несостоятельность подобных суждений.

Главное в античном мифе — спасение певца Дельфином. В печатном тексте этот мотив отсутствует, хотя строка «Спасен Дельфином, я пою» — настойчиво повторяется в рукописи (III, 1, 593—

594). Вполне вероятно, что поэт убрал ее, опасаясь слишком явно-го намека на облегчение своей участи царем. «Вихрь шумный», «гроза» — несомненно, символы страшного общественного потрясения 1825 года (ср. «мятежи и казни» в «Стансах»). Поэту не только удалось уцелеть в этом катаклизме, но и освободиться от прежних политических гонений. Таким образом, основная тема «Ариона» — образ поэта, «таинственного певца», чье место в новом, послегроз-овом мире еще нужно определить: «Гимн избавления пою» (III, 1, 593) или, проще: «Песни прежние пою» (III, 1, 593). Это значит толь-ко, что поэт по-прежнему пишет стихи, но вовсе не обязательно по-добные оде «Вольность» или посланию «К Чаадаеву».

В то же время Пушкину нужно было определиться, какого рода «гимны», или «песни» он будет теперь писать. Ясно было, что пре-жние времена ушли безвозвратно. Изменилось и положение поэта в окружающем его мире. Романтическая маска одинокого, вдох-новенного пророка, величественного, отвергающего мирскую суету, или политического трибуна, никак не связанного с властью пре-державшими («Вольность», «Кинжал»), теперь не могла удовлетво-рить Пушкина. Разговор с царем налагал, как считал поэт, на него определенные обязанности и перед обществом, и перед царем: он должен был говорить серьезно и обдуманно на политические темы, но, конечно, только то, что считал нужным и правильным. Здесь опыт русской поэзии XVIII века с ее ярко выраженной политичес-кой ориентацией, уроками царям (Ломоносов, Державин), каза-лось, мог пригодиться.

И вот в черновиках Пушкина появляется так и не законченное стихотворение, обращенное к Н. С. Мордвинову («Под хладом старости...»), которое было написано почти одновременно с по-сланием в Сибирь и «Арионом», может быть, параллельно с ними. Тематически стихотворение тоже связано со «Стансами». В цар-ствование Петра всеильному монарху не боялся противостоять князь Долгорукий, публично разодравший царский указ. Этого честного и независимого государственного деятеля вспомнил Пуш-кин в «Стансах», противопоставив его «буйным стрельцам». Для Пушкина Мордвинов становится «новым Долгоруким» (III, 1, 46). Независимость мнений этого известного либерального вельможи, честного государственного деятеля очень крупного масштаба, про-явилась во время процесса декабристов. Все члены Верховного уго-ловного суда высказались за смертную казнь, даже либеральный Сперанский<sup>75</sup>. Добрый А. С. Шишков пустился в сложные арифме-тические подсчеты, чтобы смягчить участь осужденных<sup>76</sup>. Только Н. С. Мордвинов решительно высказался против смертного приго-

вора: «По древним российским узаконениям заслуживают смертную казнь. Но сообразуясь с указами императрицы Елисаветы 1753 апреля 29; 1754 года сентября 30, также с наказом императрицы Екатерины Великия, и с указом императора Павла 1799 года, апреля 20, я полагаю: лиша чинов и дворянского достоинства и положив голову на плаху, сослать в каторжную работу. Н. Мордвинов»<sup>77</sup>. Не случайно, если идентификация современного исследователя справедлива, портрет Мордвинова появляется среди рисунков виселиц с повешенными декабристами. Пушкину, очевидно, была известна благородная роль Мордвинова на суде, его призыв к милосердию. Этот рисунок приблизительно относится к тому же времени, когда писались «Стансы»: ноябрь 1826<sup>78</sup>. Таким образом, Мордвинов становился проводником идеи «милости», которая прозвучала в «Стансах» и «Во глубине сибирских руд...», а упоминание имени Долгорукого включало стихотворение в единый цикл со «Стансами», делало его как бы продолжением этих стихов.

В то же время в стихотворении «Н. С. Мордвинову» зазвучала тема, о которой шла речь в «Арионе»: каково вообще место поэта в политической жизни, а для себя конкретно Пушкин думал о той государственной системе, которая складывается с воцарением Николая. Мордвинов появляется лишь во второй половине стихотворения. Сначала Пушкин говорит о Василии Петрове (1736—1799), прославленном лирике Екатерининской эпохи. Пушкин уважительно упомянул его еще в юношеских «Воспоминаниях в Царском Селе»:

Державин и Петров героям песнь бряцали  
Струнами громозвучных лир

Петров на старости лет (1796) написал оду молодому Мордвинову, где были в частности такие тяжеловесные, но выразительные строки:

Ты крила распростира усердия широко,  
Чтоб кинуть на множайших тень,  
Паришь, куда тех душ не досягает око,  
Одебелила коих лень.<sup>79</sup>

Намеренно архаическими стихами, используя образы оды к Мордвинову, как бы подхватывая лиру Петрова, описывает Пушкин, обращаясь к Мордвинову, поэтические вдохновения стареющего поэта, воспевшего государственного деятеля в начале его поприща:

Он <Петров. — М. А.> поднял к небесам и крылья и зеницы  
И с шумной радостью выгнал и полетел  
Во сретенье твоей денницы. (III, 46)

Только с четвертой строфы начинается описание деятельности Мордвинова, т. е. половина написанного стихотворного текста уделена Петрову и половина — адресату стихов. Стихотворение, таким образом, прославляет не только государственного деятеля, но и поэта, воспевающего личность, достойную похвалы, достойную поэтических песнопений. В этом отношении оно представляет заметную веху в размышлениях Пушкина о назначении поэта, о роли поэтического творчества в общественной жизни. Петров воспел Мордвинова. Сам Пушкин только что, в «Стансах», хвалил Николая.

От стихотворения «Н. С. Мордвинову», возможно, какие-то нити тянутся к более позднему стихотворению «К вельможе» (1830), где Пушкин с почтительным восхищением писал о Н. Б. Юсупове, и к загадочному наброску почти того же времени «Блажен в златом кругу вельмож // Пиит, внимаемый царями...» (III, 75, 613, 1150). В последнем речь идет о положении поэта в обществе, об отношении к нему властей и народа. В академическом издании набросок датируется августом — началом октября 1827 (III, 2, 1150).

Позволю себе напомнить читателям текст этого маленького, незаконченного, необработанного стихотворения:

Блажен в златом кругу вельмож  
Пиит, внимаемый царями.  
Владея смехом и слезами,  
Приправя горькой правдой ложь,  
Он вкус притупленный щекотит  
И к славе спесь бояр охотит,  
Он украшает их пиры,  
И внемлет умные хвалы.  
Меж тем за тяжкими <?> дверями,  
Теснясь у черного <?> крыльца,  
Народ [гоняемый] слугами,  
Поодаль слушает певца. (III, 1, 75)

Некоторые лексемы этого наброска, кажется, ведут к XVIII веку, т. е. к поэтике Петрова, Ломоносова, Державина: пиит, пиры, бояре, вельможи. В первой части стихотворения поэта слушают цари и вельможи (бояре). Этот поэт украшает пиры, прославляет героические деяния: «...к славе спесь бояр охотит». Он талантлив: «владеет смехом и слезами». Он даже говорит правду: «приправя (в черновике: сливая с...) горькой правдой ложь». (Это очень похоже на Державина: «И истину царям с улыбкой говорить».)<sup>80</sup>

Слушатели высшего круга знают цену поэту: он «внемлет умные хвалы». Таким образом, роль поэта представляется вполне respectable и даже заслуживающей уважения, хотя и не без некото-



рого оттенка снисходительности к поэту-развлекателю: «Он вкус притупленный шекотит». Он даже получает вполне приличную плату за свой труд: «Приемлет царские дары» (III, 1, 613). Такой поэт явно похож на Петрова, только что описанного в стихотворении «Н. С. Мордвинову» и вообще на поэтов XVIII века: Ломоносова, Сумарокова и прежде всего, конечно, на Державина.

Однако последняя строфа вводит в стихотворение совсем иных слушателей — народ, который слушает певца из-за тяжелых дверей, которого гонят слуги, место которого на задворках, у черного крыльца. В начальном варианте эта новая группа слушателей еще более определенно противопоставлялась царям и вельможам: это был «простой народ». А умные хвалы образованных и холодных ценителей противопоставлены (в вариантах) непосредственному и явно более живому, активному, сочувственному восприятию неискушенных слушателей:

С (почтеньем) слушает певца  
Прилежно (?) слушает певца (III, 1, 613—614)

Так в стихотворении появляются как бы два взгляда на деятельность поэта: вельможи/цари и народ (простой народ). При этом умные и просвещенные цари/вельможи противопоставлены простому, т. е. необразованному, народу. И, насколько можно судить, непосредственное, интуитивное восприятие поэзии простыми людьми представляется автору (в черновиках) более предпочтительным.

Написав «Стансы» и «Н. С. Мордвинову», «Арион» и «Во глубине сибирских руд», Пушкин непосредственно и активно включался в современную общественную жизнь. набросок «Блажен в златом кругу вельмож...» представляет собою размышления о возможном выборе поэта: образованные верхи или простой народ. Размышления сложные, в конце жизни отразившиеся в «Памятнике».

Пока же (как раз в это самое время: август — начало октября 1827) Пушкин создает первый набросок стихотворения «Поэт и толпа», где ясно видна позиция поэта, его отношение к толпе, т. е. к аудитории, требующей от поэта стихов и оценивающей эти стихи:

Толпа надменная (вариант: холодная) поэта окружала  
И равнодушные хвалы ему жужжала —  
Но равнодушно он в молчаньи ей внимал  
И сладкой (вариант: звучной) лирою рассеянно бряцал. (III, 707)

Надменная или холодная толпа с ее равнодушными хвалами явно соотносится с теми царями и вельможами, которые обращали к

поэту свои «умные хвалы». Только здесь эти хвалы равнодушные. Но и сам поэт здесь другой. Если там он был «блажен» потому, что ему «внимали цари и вельможи» (может быть, еще блаженнее, потому что его «с почтением», «прилежно», слушали простые люди), то в этом наброске отношение поэта к слушателям совсем другое: он «не блажен», а внимает похвалам вполне равнодушно.

Спустя год в стихотворении «Чернь» (первоначальный вариант заглавия) Пушкин окончательно сформулирует свою позицию. Толпа останется «холодной» и «надменной», но теперь она будет называться «народом», соединив в себе «царей и вельмож» и «простой народ» из стихотворения «Блажен в златом кругу вельмож...». А сам поэт, носитель вдохновения, уже не внемлет толпе, хотя бы равнодушно, но вообще не обращает внимания на непосвященных:

Поэт на лире вдохновенной  
Рукой рассеянной бряцал.  
Он пел — а хладный и надменный  
Кругом народ непосвященный  
Ему бессмысленно внимал. (III, 141)

Чернь навязывает поэту свои требования и вкусы. Независимый, вдохновенный певец гневно отвергает эти покушения на свободу своего творчества. Таким образом, и в новых условиях, при новых отношениях с властями и благожелательным монархом поэт должен руководствоваться не общественными требованиями, не интересами властей или народа (все они объединяются в понятие *чернь*), а только своими собственными идеями и чувствами. Поэт сам себе царь, сам решает о чем, как и когда писать. Чуть позднее (1830) Пушкин сформулирует эту мысль в стихотворении «Поэту»:

Ты царь: живи один. Дорогою свободной  
Иди, куда влечет тебя свободный ум... (III, 223).

Очевидно, что Пушкин считал и свои политические воззрения, и свою общественную позицию результатом свободного выбора, а не давления оказываемого на него властями. Многие друзья поэта думали иначе. Не к ним ли и обращался он в первую очередь, говоря о «черни», о «толпе», навязывающей поэту свои вкусы, либеральные или консервативно-монархические?

С этой точки зрения следует подойти и к стихотворению «Друзьям» (1828). В отличие от «Стансов», это не политическая программа, а выражение личного отношения поэта к царю. Пушкин хорошо понимал, что подобные стихи могут вызвать обвинение в сервиллизме, но поступал так, как велел ему внутренний поэтический импульс. Поэтому так много места в стихотворении занимает личное начало, выраженное местоимением «я»: «Я не льстец», «Его я ... полюбил», «...я ль, в сердечном умиленье, // Ему хвалы не воспою?» и пр. При этом Пушкин с самого начала подчеркивает свою независимость от общественного мнения — его стихи есть результат свободного внутреннего импульса:

Я смело чувства выражаю,  
Языком сердца говорю. (III, 89).

Следует заметить, что первоначальный вариант содержит противопоставление рабства свободе, т. е. свободного выбора — угодливому сервиллизму: «Хвалу свободную слагаю — // Я правды (мнений) рабски не скрываю...» (III, 643). Такой поэт похож на В. Петрова из пушкинского стихотворения «Мордвинову». Он сродни и Поэту из стихотворения «Поэт и толпа», который вскоре смело бросит «черни» обвинения: «бессмысленный народ», «раб нужды, забот», «червь земли». В самом конце стихотворения «Друзьям» поэт назван: «небом избранный певец» (III, 90). А несколько месяцев спустя Пушкин почти дословно повторит эту формулу в стихотворении «Поэт и толпа»: «небес избранный».

И в то же время в стихах «Друзьям» поэт оправдывался. Мы уже говорили, что друзья и единомышленники настороженно отнеслись к его восторгам и восхищению новым царем. В числе этих друзей был и самый близкий друг князь Вяземский, в 1828—1830 гг. конфликтовавший с Николаем<sup>81</sup>. Позднее Вяземский без комментариев и опровержения вспомнил статью Мицкевича, где польский поэт говорил об охлаждении к Пушкину его либеральных друзей после встречи поэта с царем: «Либералы, однако же, смотрели с неудовольствием на сближение двух potentатов. Начали обвинять Пушкина в измене делу патриотическому; а как лета и опытность возродили в Пушкине обязанность быть воздержнее в речах своих и осторожнее в действиях, то начали приписывать перемену эту расчетам честолюбия»<sup>82</sup>. В той или иной форме Пушкина упрекали и осуждали А. И. Тургенев, Чаадаев, Катенин<sup>83</sup>. Показательно, что, ознакомившись со стихами «Друзьям», Н. Язы-

ков сказал, что они «просто дрянь; этими стихами никого не вывалишь, никому не польстишь»<sup>84</sup>.

Нужно сказать, что стихи действительно не очень удались Пушкину. Они невыгодно отличаются от «Стансов» прежде всего многообразием (относительным, конечно): почти вдвое длиннее (восемь строф вместо пяти), неточностью и даже вялостью формулировок. Несмотря на всю искренность поэта, непосредственный поэтический импульс плохо укладывался в форму панегирика живому носителю неограниченной власти. Это не могло не привести к явным художественным просчетам. Но для нас сейчас эти проблемы не существенны.

Стихи «Друзьям» говорят о настоящем, они менее обращены в прошлое, чем «Стансы», целиком построенные на сравнении нынешнего царя с Петром. Главная их тема — теперешние отношения поэта с царем. Поэтому и главный герой их уже не Петр I, а молодой государь.

Он бодро, честно правит нами;  
Россию вдруг он оживил  
Войной, надеждами, трудами.

«Надеждой» начиналось стихотворение «Стансы». О «надежде» поэт говорил в стихах, обращенных к декабристам («Несчастью верная сестра, // Надежда...»). С точки зрения Пушкина, за два года эти надежды окрепли. В то самое время, когда Пушкин писал «Стансы», победоносная война с Персией закончилась выгодным для России Туркманчайским миром (10 февраля 1828). Вскоре был отменен (22 апреля 1828) «чугунный» цензурный устав, подписанный было новым царем 10 июня 1826<sup>85</sup>. Как говорилось, был отставлен Аракчеев, отставлен, а затем арестован и сослан Магницкий, отставлен его верный клевет Рунич. Даже осужденным декабристам были сделаны некоторые, не очень значительные послабления: уменьшены сроки каторги, крепостных работ, поселений, некоторым дозволено поступить рядовыми в полки Кавказского корпуса до «отличной выслуги». Правда, бывшим каторжникам и после 40 лет не разрешено было возвращение: «Они остаются политически умершими для России»<sup>86</sup>. Об этой специальной приписке Николая (рукою Бенкендорфа) Пушкин, вполне возможно, не знал.

Характеристика «бодро», «честно» вполне соответствует общественному мнению 1826—1827 гг. о Николае. Наблюдательный Булгарин в записке «Взгляд на общее мнение в России от вступления на престол императора Николая I до сего времени» писал, что

в Николае видят «любовь к порядку», «твердость», «хладнокровное мужество»<sup>87</sup>. Н. Языков в 1826 г. сравнивал Николая с Петром, отмечал его «волю крепкую и истинное расположение к добру»<sup>88</sup>. Современники отмечали скромность и бережливость царя в личных расходах: он сократил издержки дворцового бюджета по некоторым статьям в несколько десятков раз<sup>89</sup>.

В стихотворении «Друзьям» окончательно закрепилось то личное отношение к царю, которое Пушкин сохранял в целом до конца жизни и которое в общем совпадало с общественным мнением, но отнюдь не разделялось многими интеллектуалами из окружения поэта. Отношения с царем, конечно, далеко не были такими восторженно-идиллическими, как об этом пишут некоторые современные биографы. И, разумеется, не такими затаенно-враждебными, как пытались сконструировать их в советское время<sup>90</sup>.

При всех естественных осложнениях, которые не могли не возникнуть между двумя столь разными людьми, Пушкин всегда, даже когда он сердился, отдавал должное личным качествам царя, столь не похожего на своего брата Александра: «... лично я сердечно привязан к государю...» (Письмо к Чаадаеву, 1836 — XVI, 393, 172); «Долго на него сердиться не умею; хоть и он не прав», — пишет поэт жене 11 июля 1834 (XV, 178).

Пожалование в камер-пажи (1833) было, как известно, одной из важнейших причин недовольства поэта царем («холопом и шутком не буду и у Царя Небесного» — XII, 329). Однако даже об этом событии он записывает в «Дневнике»: «<...> государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным <...>» (XII, 318), а жене пишет: «<Николай> хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого <царя> не желаю; от добра добра не ищут» (XV, 130).

Возмущаясь вторжением в свою личную переписку, негодуя на безнравственность правительства, Пушкин в то же время говорит о царе: «Человек благовоспитанный и честный» (XII, 329). Хорошо известна уничижительная фраза о Николае в «Дневнике»: «В нем много от прапорщика и не много от Петра Великого». Возможно, она не принадлежит Пушкину, т. к. сопровождается ремаркой: «Кто-то сказал». При этом в этой раздраженной фразе все-таки содержится, пусть слабое, но сопоставление Николая с Петром I: что-то (*un peu*) от Петра Великого, все же в царе было (XII, 330). В другом месте «Дневника» Пушкин отмечает рыцарское начало в натуре государя (XII, 315). Поэтому естественны были и слова личной преданности царю, произнесенные на смертном одре: «<...> мне жаль умереть; был бы весь его»<sup>91</sup>.

В таком контексте автор стихотворения «Друзьям» меньше вспоминает о предшественнике нынешнего царя, Александре I, который поэта «не жаловал» (XII, 130). Однако некоторые отзвуки того противопоставления, которое имело место в «Стансах», чувствуются в скрытом виде и здесь. Николай «честно, бодро правит нами». Александр, в конце своего царствования, замученный угрызениями совести, утомленный, разочарованный — разительно контрастировал с новым царем. Эпитет «честно» противопоставлял искреннего Николая скрытному и лукавому Александру.

Иногда говорят, что тема «льстеца», в трех последних строфах стихотворения, содержит намек на Бенкендорфа<sup>93</sup>. В этом можно усомниться. Бенкендорф, при всей его ограниченности, глухоте к искусству, сложности отношений с Пушкиным, все же не заслуживал от поэта названий «раба» и «льстеца», хотя, конечно, не исключено, что некоторые аллюзии на Бенкендорфа могли возникать. В частности, в строках:

Он <льстец, — М. А.> скажет: просвещенья плод —  
Разврат и некий дух мятежный, —

можно, кажется, увидеть недвусмысленный ответ Бенкендорфу, который, ссылаясь на мнение царя, но, возможно, утрируя его, писал Пушкину по поводу записки «О народном воспитании»: «Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному» (XIII, 315)<sup>93а</sup>.

В то же время в строках:

Бедя стране, где раб и льстец  
Одни приближены к престолу... —

скорее можно видеть намек на предшествующее царствование. Всем был хорошо известен всесильный, зловещий льстец, игравший огромную роль в последние годы Александровского царствования — граф Алексей Андреевич Аракчеев. Очевидно, имея в виду именно Аракчеева, Пушкин продолжает:

..... льстец лукав:  
Он горе на царя накличет,  
Он из его державных прав  
Одну лишь милость ограничит.

Опираясь на богатый опыт современников Аракчеева, новейший историк вполне подтверждает это поэтическое обобщение

именно по отношению к всесильному временщику: «Аракчеев болезненно воспринимал милости императора к кому-либо. Такой человек становился его врагом, и он всегда искал случая ему насолить...»<sup>94</sup>. Излишне напоминать, что для Пушкина Аракчеев был льстец, «преданный без лести» адресат известной эпитафии, в которой, кстати, подчеркивалась близость временщика-льстеца к нелюбимому императору:

А царю он — друг и брат (II, 116)

Заканчиваются стихи «Друзьям» противопоставлением временщика-льстеца прошлого царствования независимому поэту, который должен был занять свое место у трона в общей государственной системе.

Беда стране, где раб и льстец  
Одни приближены к престолу,  
А небом избранный певец  
Молчит, потупя очи долу.

Может быть, Пушкин здесь не только возвышал роль поэта в государственной структуре, но имел в виду и конкретное лицо. В 1810-х гг. Жуковский после «Певца во стане русских воинов», «Певца в Кремле» и особенно послания к «Императору Александру» фактически получил статус «государственного поэта». Однако уже к концу 1810-х гг., когда популярность Александра I сильно пошатнулась, Жуковский больше не пишет похвал Александру. В это время он фактически перестает быть «государственным поэтом», уходит в своем творчестве от активной общественной жизни<sup>95</sup>.

Можно предположить, что, по мысли Пушкина, именно Василий Андреевич Жуковский был «молчащим» поэтом его стихотворения в последние годы царствования Александра. В письме от января 1826 г. Пушкин писал Жуковскому: «Говорят, ты написал стихи на смерть Александра — предмет богатый! — Но в теченье десяти лет его царствования лира твоя молчала. Это лучший упрек ему. Никто более тебя не имел права сказать: глас лиры, глас народа» (XIII, 258). Действительно, в ноябре 1814 Жуковский написал знаменитое послание «Императору Александру» (напечатано в 1815) и после этого только в 1826 году он написал, правда, не стихи на смерть Александра, а «Хор девиц Екатерининского института на последнем экзамене по случаю выпуска их, 1826 года февраля 20 дня», где были строфы, посвященные недавно почившему императору:

Был у нас другой хранитель,  
Честь земли, земли краса, —  
Он уж взят на небеса,  
Небеса его обитель и пр.<sup>96</sup>

Современный исследователь недавно показал интересное соотношение стихов «Друзьям», «Н. С. Мордвинову», «Стансы», «Во глубине...» и др. с посланием «Императору Александру»<sup>97</sup>. Все это делает вполне правдоподобным предположение, что, говоря о небом избранном певце, Пушкин имел прежде всего в виду Жуковского. Но, возможно, не только его, но и самого себя.

Противопоставляя прошлую ситуацию нынешней, Пушкин размышлял о своей собственной роли в новой государственной системе. Стихами «Стансы», «Друзьям» и др. он делал для себя выбор, включаясь в какой-то форме в сферу государственной деятельности и политики. Выбор этот далеко не был одобрен и многими друзьями, и интеллигенцией последующего поколения. Чувство разочарования отразилось даже в знаменитых стихах Лермонтова, написанных сразу после трагической гибели поэта:

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной  
Вступил он в этот свет завистливый и душный...

Белинский, который в середине 1830-х гг. неоднократно позволял себе иронические оценки творчества Пушкина («Андже-ло», «Сказки» и др.), несомненно, учитывал в этих отрицательных отзывах и новую политическую ориентацию Пушкина. Изменив в 1840-е гг. свое ироническое отношение к творчеству Пушкина на в целом апологетическое (известные 11 статей), он тем не менее в не предназначавшемся для печати «Письме к Гоголю» сурово осудил поэта за сервилизм: «... <Пушкину> стоило написать только два-три верноподданнических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви»<sup>98</sup>.

Упрекали Пушкина за «приветствия» Николаю Герцен («О развитии революционных идей в России», 1851)<sup>99</sup> и Огарев. Последний писал в предисловии к сборнику «Русская потаенная литература» (1861): «Неужто Пушкин увлекся Николаем Павловичем? Странно сказать — а это правда. ... В 31 году он дошел до оды «Клеветникам России». Обидно, что граждански общество и поэт падали быстро»<sup>100</sup>. Эти споры о Пушкине продолжаются до сих пор.

Сам Пушкин, четко сформулировавший для себя идею собственной поэтической независимости, хорошо понимал, что на ампула придворного поэта, какими были Петров и даже Державин, он аб-



солютно не годился. Свои политические, идеологические и общечеловеческие позиции он излагал в стихах, ни от чьих мнений не завися. В то же время он с охотой принял на себя роль историографа. Он писал не только Историю Петра; «История Пугачевского бунта», одобренная царем, тоже была частью его исторической, государственной работы. Как сложились бы в дальнейшем отношения поэта с царем и государством, мы можем только гадать.

В этой главе речь пойдет об изображении двух царей в поэме «Медный всадник». Однако прежде чем перейти к разговору о тексте, написанном в 1833 году, продолжим сначала наш рассказ об отношении Пушкина к Александру I и Николаю I в период между 1828 и 1833 гг.

### I

Отрицательное отношение Пушкина к Александру за это время почти не изменилось. Порой его оценки даже становились еще более резкими.

В одном маленьком стихотворении Пушкин, кажется, сводит с царем личные счеты, помяная ему события собственной биографии. Это стихотворение «К бюсту завоевателя»<sup>1</sup>.

Остановимся на нем несколько подробнее. В декабре 1828 г. (если эта датировка справедлива, см. XII, 451) Пушкин, услышал, неизвестно от кого, заинтересовавший его рассказ и записал его:

«Торвальдсен, делая бюст известного человека, удивлялся странному разделению лица, впрочем прекрасного — верх нахмуренный, грозный, низ, выражающий всегдашнюю улыбку. Это не нравилось Торвальдсену:

*Questa e una brutta figura*<sup>2</sup>».

Вскоре после этой заметки Пушкин написал стихотворение<sup>3</sup>:

К бюсту завоевателя

Напрасно видишь тут ошибку:  
Рука искусства навела  
На мрамор этих уст улыбку,  
А гнев на хладный лоск чела.

Недаром лик сей двуязычен.  
Таков и был сей властелин:  
К противочувствиям привычен,  
В лице и в жизни Арлекин.

При жизни Пушкина оно напечатано не было. Впервые опубликовано П. В. Анненковым, который отнес его к сентябрю 1829 г.<sup>4</sup>

Заметка и стихотворение, по всей очевидности, относятся к Александру I, чей бюст был изваян в Варшаве Торвальдсеном в 1820 году. Пушкин намеревался опубликовать стихотворение. В автографе мы видим, как он перебирает варианты названия, пытаясь замаскировать истинного адресата: «Кумир Наполеона», «Бюст завоевателя», «К бюсту завоевателя» (III, 801). К Наполеону стихи не могли иметь отношения, т. к. в прозаической записи лицо оригинала было названо «прекрасным». Наполеон, как известно, красотой не отличался, тогда как Александра I все современники называли красавцем.

Под названием «К портрету завоевателя» Пушкин включил этот текст в оглавление готовившейся к изданию третьей части «Стихотворений Александра Пушкина» (вышла в 1832), но уже во втором варианте оглавления отказался от этой мысли (XVII, 194, 196, 198). Возможно, он опасался, что все-таки истинный адресат может быть угадан. Кстати, Анненков, очевидно, знал, к кому обращены стихи. Он сопроводил публикацию лишь глухим и невнятным комментарием: «По сю сторону Кавказа, он встречает где-то бюст Завоевателя — пишет к нему: “Напрасно видишь тут ошибку...”»<sup>5</sup>.

Нужно сказать, что бюст Александра (авторская копия его находится в Эрмитаже<sup>6</sup>, такая же авторская копия находится в музее Торвальдсена в Копенгагене, где с ней познакомился автор настоящей работы) действительно производит достаточно мрачное впечатление. Концы губ, опущенные книзу, образуют какую-то мрачную улыбку. Глаза смотрят на зрителя прямо и строго. Лоб с громадными залысинами действительно показывает «хладный лоск» или, как в черновике, «хладный блеск» чела. Лицо действительно «грубое». Можно думать, что итальянская реплика о лице оригинала принадлежала (Пушкин записал итальянские слова) самому Торвальдсену.

Двуличие царя, как мы помним (см. главу «От “Стансов” к “Друзьям”» в настоящем издании) Пушкин ощутил на себе. Царь был поистине «двуязычен», «к противочувствиям привычен». Сперва, сделав вид, что проявляет великодушие, ограничился легким и милостивым и, как считали, коротким наказанием в 1820 г., затем

четыре года держал в ссылке, и наконец неожиданно обрушил на поэта свою неутихшую месть и злопамятство в 1824. Пушкин это наказание считал «неправым гоненьем», не мог простить его царю и не мог забыть. В 1824 году «воображаемый разговор» закончился ссорой и новой ссылкой. Теперь Пушкин снова вспомнил царское двуличие и удар исподтишка.

Максимальной неприязни эти уничижительные отзывы о покойном царе достигают в так называемой X главе «Онегина», написанной, кажется, тоже в 1830 году. В этих строках со злобным сарказмом Пушкин снова подчеркивает пороки Александра: лень, ложь, уклончивость, слабоволие, и даже отказывает ему в исторической значительности — он нечаянно стал победителем Наполеона:

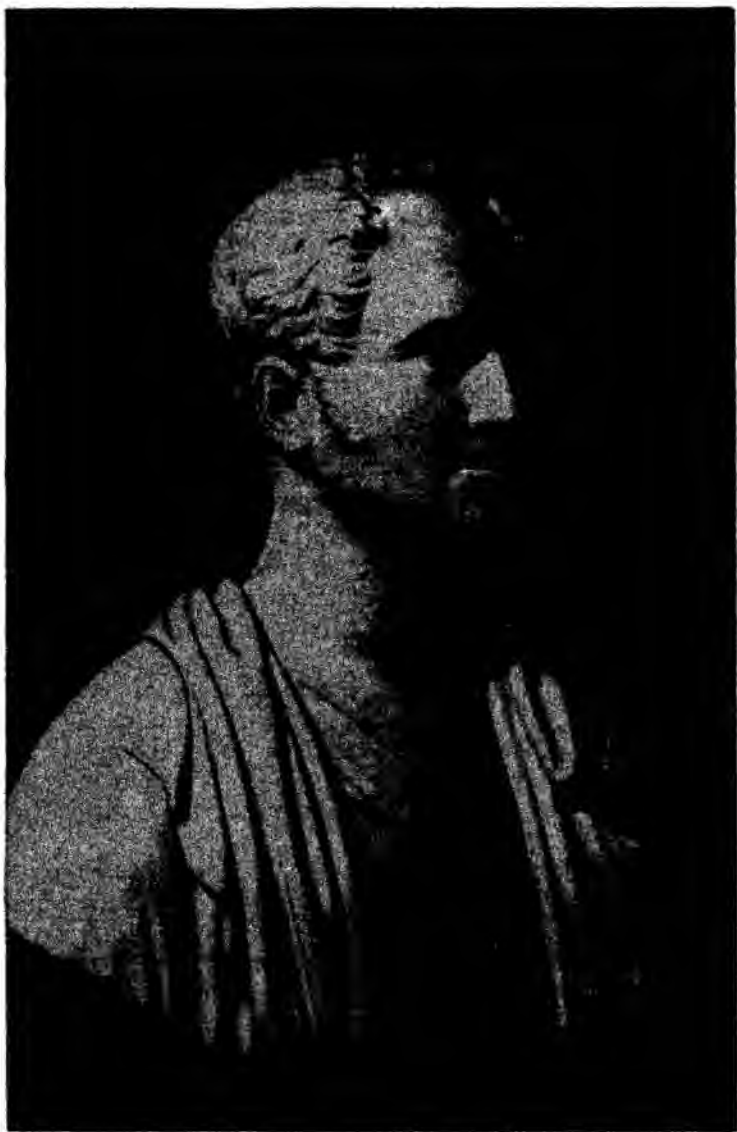
Властитель слабый и лукавый,  
Плешивый шеголь, враг труда,  
Нечаянно пригретый славой... (VI, 521)

Такое отрицательное отношение к Александру, возможно, не очень раздражало Николая. Младший брат имел свои счеты с Александром, который скрыл от него завещание и тем самым спровоцировал междуцарствие. Александр бездействовал перед лицом заговорщиков, и преемник его был вынужден пролить кровь в первый день восшествия на престол.

Возможно, Николай читал «Десятую главу». Об этом упоминает в одном из вариантов своих воспоминаний А. О. Смирнова-Россет («... я отдала ему <царю, — М. А.> конверт, содержащий 10 главу “Онегина”...»<sup>6а</sup>). Слова Смирновой получили подтверждение после сенсационной находки А. И. Гербстмана, обнаружившего в архиве Аксакова конверт, на котором была помета Смирновой, что в этом конверте Николай передал ей для Пушкина главу «Евгения Онегина»<sup>6б</sup>.

В то же время деятельность Николая по-прежнему вызывает полное одобрение Пушкина. Он прославляет имперскую политику царя. Так, стихотворение «Олегов щит» (1829), написанное в связи с Адрианопольским миром, состоит из двух строф. Первая повествует о ратном подвиге Олега, который «пригвоздил свой меч булатный // На цареградских воротах» (III, 166). Во второй, кажется, звучит некоторое сожаление, что русские не взяли Константинополь. Тем не менее нынешняя грозная рать вполне поддержала славу своего воинственного предка.

...мы вновь со славой  
К Стамбулу грозно притекли.



Бюст Александра I работы Б. Торвальдсена. Эрмитаж.  
(Пушкин. Исследования и материалы. Т. II. М.; Л., 1958. С. 324)



В наброске, написанном почти тогда же и по тому же поводу, поэт снова восхищается военной мощью Российской державы, ее завоеваниями и территориальными приобретениями:

Опять увенчаны мы славой.  
Опять могучий враг сражен...  
И [дале] двинулась Россия  
И юг державно облегла  
И пол-Эвксина вовлекла  
[В свои объятия тугие]. (III, 168)

С таким же патриотическим пафосом Пушкин писал о подавлении польского восстания, падении Варшавы. В 1831 г. были напечатаны в брошюре «На взятие Варшавы» вместе со стихами Жуковского два больших стихотворения Пушкина: «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». В этих стихах прославлялись и грандиозные размеры России («От финских хладных скал до пламенной Колхиды // От потрясенного Кремля // До стен недвижного Китая»), и ее воинские победы («... на развалинах пылающей Москвы // Мы не признали наглой воли // Того, под кем дрожали вы»), и любимец Николая главнокомандующий Паскевич («Могучий мститель злых обид, // Кто покорил вершины Тавра, // Пред кем смирилась Эривань...»).

Имперско-государственная позиция Пушкина, как мы уже отмечали, не нравилась его либеральным друзьям, особенно Вяземскому. По поводу «географической фанфаронады» он остроумно заметил: «Что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим в растяжку, что у нас от мысли до мысли пять тысяч верст»<sup>7</sup>.

Восхищался Пушкин и личным мужеством царя, особенно проявившемся в сентябре 1830 г. Между 19 и 31 октября было написано стихотворение «Герой». Николай не любил печатных славословий, а сам Пушкин не хотел, видимо, подавать друзьям повода для новых упреков. Поэтому стихотворение было напечатано анонимно. Более того, посылая стихи, поэт категорически потребовал от Погодина: «Напечатайте, где хотите... но прошу вас и требую именем нашей дружбы не объявлять *никому* моего имени» (XIV, 121—122).

«Герой» появился в «Телескопе» в 1831 г. с пометой: «29 сентября 1830. Москва». Сам Пушкин в этот день, как известно, находился в Болдино. Но именно 29 сентября в охваченную эпидемией холеры Москву прибыл Николай I. Его подвиг и прославил Пушкин<sup>8</sup>.

В этом стихотворении речь идет о Наполеоне. И автор считает главным деянием прославленного полководца не воинские победы и воинское бесстрашие (Итальянский поход, Аркольский мост, битва у пирамид и пр.), а подвиг человеколюбия: Наполеон посещает чумной госпиталь в Яффе и пожимает руки умирающим:

Одров я вижу длинный строй,  
Лежит на каждом труп живой,  
Клейменный мощною чумою,  
Царицею болезней... Он,  
Не бранной смертью окружен,  
Нахмурясь, ходит меж одрами  
И хладно руку жмет чуме,  
И в погибающем уме  
Рождает бодрость... (III, 1, 252)

Сходное описание этого эпизода имеется, например, у Вальтера Скотта: «*Buonoparte ...went into the hospital in person, and while exposing himself, without hesitation, to the infection, diminished the terror of the disease in the opinion of the soldiers generally, and even of the patients themselves, who were thus enabled to keep up their spirits, and gained by doing so the fairest chance of recovery*»<sup>9</sup>. Мемуары будто бы опровергают красивую наполеоновскую легенду<sup>10</sup>. Однако эта легенда, по мысли пушкинского стихотворения, возрождается в России. Подвиг общения с больными холерой совершает русский царь: «Государь ежедневно посещал общественные учреждения, презирая опасность ... провел там <в Москве, — М. А.> десять дней в неутомимой, непрерывной деятельности; он лично наблюдал, как по его приказаниям устраивались больницы в разных частях город ... беспрестанно позывался на улицах; посещал холерные палаты в госпиталях...»<sup>11</sup>

В стихотворении Пушкина царь прямо не назван. Просто стихи, опровергающие красивую легенду о Наполеоне, заканчиваются строкой: «Утешься...» и указанием на дату и место совершения подвига Николаем.

В Николае, «мужественном и сильном духом» (XII, 200), Пушкина привлекают человеческие качества, которые отсутствовали у прежнего царя. Он искал их у нового, «благовоспитанного и честного» (XII, 329), и в «Герое» вновь прославил милосердие, которого не было у Александра, и которого он искал в Николае.

Таким образом, в 1830 году противопоставление двух братьев-императоров достигает в сознании Пушкина своего апогея. Слабому и двуличному Александру противостоит честный и прямодушный герой — Николай I. После 1830 года отношение к Александру начинает меняться.



Наступила вторая Болдинская осень. В октябре 1833 года Пушкин заканчивает поэму «Анджело», переделку шекспировской трагедии «Мера за меру». Ю. М. Лотман с достаточной степенью убедительности показал, что эта поэма отражает политические события русской жизни второй половины 1820-х гг. Сюжет ее соотносится с внезапной смертью Александра I, которая породила слухи о его уходе, тайном спасении от дворян (декабристов), хотевших его убить и пр.<sup>12</sup> Герой поэмы Дук (Vicentio, Duke of Vienna у Шекспира), человек добрый, но слабый и слишком мягкий в исполнении законов, оставляет свое царство волевому, энергичному Анджело.

Слабость, неумение и нежелание руководить страной, неисполнение законов, всеобщий разброд, нежелание принимать меры против заговорщиков — все это неоднократно вменялось в вину Александру. Хорошо известна запись Пушкина в «Дневнике» 1834 года: «...покойный государь окружен был убийцами его отца. Вот причина, почему при жизни его никогда не было бы суда над молодыми заговорщиками, погибшими 14 декабря. Он услышал бы слишком жестокие истины. ... Государь, ныне царствующий, первый у нас имел право и возможность казнить цареубийц или помышления о цареубийстве; его предшественники принуждены были терпеть и прощать» (XII, 322).

Оппозиция Александру I и его реформам очень была сильна и при жизни царя. Александра I резко порицал, например, Державин. В трагедии «Пожарский» (1806) он осуждал царя за его реформы:

Он начал послаблять господствующую власть  
И черни попустил с земель сбродить свободу...

В трагедии «Темный» (1808) стареющий поэт сурово осудил в молодом царе те самые недостатки, о которых позднее будет говорить Пушкин: слабоволие, лень, нерешительность:

Чрез меру кроткий царь царем быть неспособен.  
Пороки попустя он доблестей был враг;  
Заботлив в малостях, медлителен в делах;  
На старых слаб путях, сбивался и на новых...<sup>13</sup>

Но в 1833 году в поэме Пушкина появляется совсем другая нота в отношении к царю. Несмотря на то, что Дук слабый правитель, в поэме он обрисован с несомненной человеческой симпатией, с которой Пушкин прежде никогда не говорил об Александре. Дук не только добр, но и является носителем любимой для Пушкина в эти годы идеи милосердия. У Шекспира прощение

Анджело является лишь эпизодом в серии других прощений, знаменующих обычное карнавальное окончание комедии. У Пушкина прощение Анджело является единственным. И важнейшими для идейного замысла всей поэмы становятся графически вынесенные в отдельную строку слова: «И Дук его простил...»<sup>14</sup>

## II

Тогда же, когда и поэму «Анджело», там же в Болдино в 1833 году Пушкин пишет и поэму «Медный всадник». Мы будем рассматривать в основном политический аспект этой поэмы, что, разумеется, ни в коей мере не отрицает возможности многочисленных других подходов к одному из самых значительных текстов русской культуры<sup>15</sup>. Главными героями нашего анализа будут русские цари, играющие в сюжете и идейном замысле «Медного всадника» очень важную, может быть, основную роль.

Идейным протагонистом пушкинской поэмы, несомненно, является царь Петр (или его памятник)<sup>16</sup>. Недаром поэма и называется «Медный всадник». Петр Великий возникает уже во второй ее строке. Сначала автор так и называл его: Великий Петр, Великий Царь, Царь. Потом Пушкин понял, что достаточно обозначить Петра просто местоимением Он, написанным с большой буквы. Так писалась в XIX веке титулатура царя и все ее заменители. Пушкин подчеркивает, что *Он* есть Демиург, Творец, покоритель стихий, воплощение Бога на земле. Но этот земной бог отнюдь не благ. Он покоряет стихии, закладывая город *здесь*, т. е. в том месте, где, по словам Герцена, город построить нельзя<sup>17</sup>. Место это противопоставлено всякому культурному строительству: мшистые, топкие берега (в черновике: болота), лес, никогда не освещаемый солнцем. Это место, где могут плавать лишь бедные (смирненные) челны, а строиться только избы, «приют убогого чухонца» (V, 135, 436).

Закладка города, строительство флота именно *здесь* объясняется тем, что именно отсюда, *отсель*, злое, жестокое, имперское начало распространится в мир. Город будет построен, воздвигнут, чтобы *грозить...*, *назло...* (V, 135). Мысль Пушкина с самого начала была сосредоточена на угрозе окружающему миру, исходящей от Петра. В черновиках последовательно отменялись слова: *стеречь шведа, грозный сосед, пушки заторчат*, а окно в Европу в одном из вариантов должно было принести несчастье западным соседям: *и вам... и вскоре... и ...горе, горе* (V, 436—437)<sup>18</sup>. И вот город воздвигнут.

«Вступление» к поэме в общем справедливо рассматривается как апофеоза имперского величия и прославления Петра, конечно, опровергаемая всем дальнейшим содержанием повести. Следует особо отметить, что уже в последней строфе «Вступления» возникает серьезная угроза всему только что описанному блестящему великолепию воздвигнутой «из топи блат» столицы. Сначала, в черновиках, автор отметил, что победа над покоренной природой остается далеко не полной:

...побежденная стихия  
Врагов доселе видит в нас.  
И волны финские не раз —  
На грозный приступ шли, бунтуя,  
И потрясали, негодуя,  
Гранит подножия Петра! (V, 440)

Здесь же снова, в отброшенных вариантах, возникает тема жестокого, страшного, противоестественного подавления стихийных сил природы: *державная, ужасная воля Петра, Петра железная рука* (V, 440).

В окончательном тексте эти размышления превращаются в заклинание: пусть содеянное Петром зло забудется и не отразится на судьбе будущих поколений, пусть, вместо вражды и злобы, наступит мир (курсив мой, — М. А.):

*Да усмирится же с тобой  
И побежденная стихия;  
Вражду и плен старинный свой  
Пусть волны финские забудут...* (V, 137)

Заклинания эти, однако, не помогают и помочь не могут: содеянное зло возвращается в этот мир сторицей. Об этом и написана поэма. И сразу же после тщетной попытки заклания, там же, во «Вступлении», а не в основном тексте поэмы, после холодного великолепия блестящих строк возникает одна зловещая строка, перечеркивающая все ранее сказанное: «Была ужасная пора». На мгновение, в одном из вариантов черновика, возникло совсем страшное, апокалиптическое видение. От мира не осталось ничего, ни времени, ни пространства, только ощущение безмерного страха: «Был ужас» (V, 137, 440).

Однако картины этого апокалипсиса раскроются перед ними позднее. Пока поэт еще оставляет нас во времени, хотя и вполне катастрофическом:

Была ужасная пора,  
Об ней свежо воспоминашь...  
Печален будет мой рассказ.

Блеск, пышность, великолепие, звучные одические строфы «Вступления» закончились. Первая часть «Петербургской повести» описывает победу стихии над всеми попытками человека ее победить. Подчеркивается внезапность появления, непредсказуемость этих бушующих сил: «...как *зверь* остервенясь», «Воды *вдруг* втекли...», «Осада! приступ! *злые волны, как воры, лезут...*». Недаром происходящее воспринимается как апокалипсис, наказание, ниспосланное свыше, за нарушение законов природы:

Народ  
Зрит Божий гнев и казни ждет.

Давно уже было справедливо отмечено, что в конце первой части поэмы над «возмущенною Невою» остаются два всадника. Один живой, другой — бронзовый. Живой снабжен всеми человеческими атрибутами. Он вызывает в нас искреннее сочувствие. Он бледен, без шляпы и, главное, в отличие от бронзового истукана, он думает о других людях, готов отдать жизнь за свою Парашу: «Он страшился, бедный, не за себя»<sup>19</sup>.

Бронзовый всадник нависает зловещим призраком над «возмущенною Невою». Именно ему мстят стихии за нарушение законов природы, за покушение на гармонию мира. Они разрушают творение его рук, оставляя Петра наедине с теми силами, которые он мечтал покорить: «Будем грозить», «пушки заторчат» и пр.

Однако Петр и в виде бронзового кумира, в страшной символической ипостаси, не подчиняется этим силам. Он стоит в *неколебимой вышине* и, более того, продолжает угрожать стихиям. Это особенно хорошо прослеживается в черновой записи, где скала уже затоплена, но в описании *кумира* снова появляются слова *гроза* и *ужас*:

Над потопленною скалою —  
Кумир на бронзовом коне  
Неве мятежной — в тишине  
Грозя недвижною рукою. (V, 476)

(Варианты: *в грозной тишине, в ужасной тишине, Грозит простертою рукою*).

В поэме «Полтава», этом апофеозе русского самодержца, Петр тоже имел эпитет *ужасный* и появлялся как *Божия гроза*:

Лик его ужасен.  
Движенья быстры. Он прекрасен,  
Он весь, как Божия гроза. (V, 56)

Тогда это была высшая похвала, которую восхищенный поэт мог создать великому императору. Петр наводил ужас на врагов. Был Божиим наказанием для них, создавал могучее государство. Теперь в «Медном всаднике», пять лет спустя, приоритеты меняются. На первый план выступает не государство, а людские судьбы. Теперь слова *гроза и ужас* вызывают совсем иные коннотации. Петр грозит не только стихиям, которые сам же и вызвал к жизни, но и своим подданным, русским людям, которые из-за него становятся жертвами этих стихий. В беловой текст слова *Мятежной Неве* ... *грозя* не попали, соответствующие строки были переделаны, потому что достаточно было *неколебимой вышины* и *бронзового коня*, чтобы подчеркнуть претензию могучего самодержца подчинить себе не только людей, но самую природу. Однако отмеченные варианты достаточно отчетливо показывают движение пушкинской мысли.

И снова мы видим Петра уже в конце поэмы. Грозный монумент вступает в непосредственное общение с человеком, своей жертвой. Внимательно вчитываясь в строки, с самого детства знакомые наизусть, мы видим, что поэт отнюдь не восхищается своим героем. Снова вернемся на минуту к «Полтаве»:

В гражданстве северной державы,  
В ее воинственной судьбе,  
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,  
Огромный памятник себе. (V, 63)

Здесь Петр тоже не человек, а памятник самому себе. Но, в отличие от «Медного всадника», в «Полтаве» он — творец, создатель. В черновиках отчетливо видно, как окончательные строки вылились именно из этой мысли: *Создатель северной державы, Творец единственной державы*, V, 305).

В заключительных стихах Петербургской поэмы Петр *мощный властелин судьбы*, который

... над самой бездной  
На высоте уздой железной  
Россию поднял на дыбы. (V, 147)

Ничего хорошего для бедной России в этой процедуре нет. В одном месте черновика можно увидеть, как поэт пытается сформулировать опасность подобной операции:

Оппозиция верха и низа приобретает в этой строке катастрофическое звучание. Подняв, вздернув Россию на высоту, т. е. прославив ее, сделав могучей державой, Петр поставил ее над бездной, привел на край гибели (отсюда *но* во второй части черновой строки).

Сама эта метафора принадлежит Вяземскому, который задолго до Пушкина, в 1818 году, в стихотворении «Петербург» размышлял о создании Петербурга, о врагах, их злобе, о прыжке Медного коня со скалы на врагов. Изображение Петра у молодого западника Вяземского тогда было окрашено только в положительные тона:

Я вижу град Петров чудесный, величавый,  
По манию Петра воздвигшийся из блат...  
Се Петр, еще живой в меди красноречивой!..  
Пускай враги дерзнут, вооружаясь адом,  
Нести к твоим брегам кровавый меч войны,  
Герой! Ты отразишь их неподвижным взглядом,  
Готовый пасть на них с отважной крутизны.<sup>20</sup>

Позднее восторженные оценки изменились. Перечитывая «Медного всадника» в 1870-х гг., Вяземский против слов *Россию поднял на дыбы* отметил: «Мое выражение, сказанное Мицкевичу и Пушкину, когда мы проходили мимо памятника. Я сказал, что это памятник символический. Петр скорее поднял Россию на дыбы, чем погнался вперед»<sup>21</sup>.

Поднять Россию *на дыбы* звучит почти как поднять на дыбу (обычный судебный термин пыточной процедуры)<sup>22</sup>. К тому же, это вообще слова одного корня. (В словаре Даля *дыбиться* объяснено как становиться дыбом, на дыбы, вздыматься на концы пальцев, на задние ноги, если речь идет о животном). Не может быть, чтобы Пушкин с его необычайной чуткостью к слову не почувствовал мрачного трагизма этого словосочетания. Недаром конь под Петром скачет неизвестно куда («куда ты скачешь, гордый конь»), и не известно, куда прискачет, и где остановится («где опустишь ты копыта»), и неясно, что будет с самим седоком.

И здесь самое время вспомнить о знаменитом загадочном рисунке Пушкина, сделанном еще в 1829 г. в рукописях поэмы «Тазит» (XVIII, 220)<sup>23</sup>. На нем нарисован бронзовый конь без всадника.

Совершенно очевидно, что рисунок этот как-то связан с замыслом поэмы «Медный всадник». Он изображает знаменитую скалу, на которой стоит конь, присев на задние ноги гораздо ниже, чем на самом памятнике, передние копыта вытянуты вперед гораздо дальше, выпрямлены сильнее, чем у бронзовой лошади мону-

мента. Конь на рисунке, таким образом, находится над обрывом в более опасной позиции, чем на памятнике: он вот-вот соскользнет или спрыгнет в пропасть. К коню позднее пририсована узда с мундштучными поводьями. Они прорисованы очень тщательно, двойными линиями (на памятнике поводья одинарные) тянутся от морды коня к седлу. Они подчеркивают, как сильно и грубо был взнуздан конь, который, видимо, только что сбросил седока.

А. Эфрос предположил, что всадник соскочил с коня, чтобы пешком бежать за Евгением, как командор пешком отправился к донне Анне<sup>24</sup>. При всем остроумии этой догадки трудно представить себе бронзового великана, слезающего с лошади, чтобы отправиться вослед бунтующему безумцу. Тем более, что скачущий Петр появляется уже в самых ранних черновиках поэмы.

Скорее всего, на рисунке Пушкина изображен конь, символ России, поднятый на дыбы могучим всадником и сбросивший своего седока<sup>25</sup>. В этом отношении любопытно обратиться еще к двум рисункам Пушкина на рукописи «Езерского», поэмы, как известно, непосредственно предшествовавшей «Медному всаднику». Рисунки сделаны в 1833 году в Болдино, когда шла работа над «Медным всадником». На первом рисунке изображен конь без всадника, вставший на дыбы и низко присевший на задние ноги. Переднее копыто выброшено вперед, как на рисунке Фальконетова коня. Второй рисунок на обороте того же листа изображает, возможно, того же коня в прыжке сверху вниз, может быть, со скалы в пропасть, передние и задние ноги вытянуты, отчетливо видны копыта передних ног, голова и шея наклонены вниз (XVIII, 382, 384). Хотя никаких атрибутов культуры: седло, уздечка — на конях не видно, но появление таких прыгающих коней на полях «Езерского» позволяет предположить связь этих рисунков с идеями «Медного всадника».

Рисунок коня, сбросившего «Медного всадника», видимо, обозначает графические размышления поэта о трагических судьбах России. Почти десять лет назад Пушкин написал в «Годунове»: «Конь иногда сбивает седока» (VII, 87). О трагедии взбунтовавшегося народа, впавшего в убийства, грабежи и дикую жестокость, Пушкин пишет в «Истории Пугачевского бунта» в те самые дни, когда работает над «Медным всадником».

Вообще сравнение всадника с царем, а России (и вообще государства) с конем были хорошо известны в русской поэтической традиции<sup>26</sup>. Здесь следует прежде всего назвать «Колесницу» Державина (1793—1804). В этом стихотворении изображена гибель Франции, поверженной в хаос революцией, и содержатся намеки на пагубность либеральных реформ Александра I:

Рвут сбрую в злобном своевольстве  
И, цели своя не зная,  
Крушат подножье, ось, колеса:  
Возница падает под них...  
Отсюды слышен вопль и стон:  
Кровавы реки протекают;  
По стогам мертвых миллион!<sup>27</sup>

Может быть, эта впечатляющая картина как-то ассоциировалась у Пушкина с буйством стихий в «Медном всаднике» и с конем, сбросившим седока. Эти ассоциации могли подкрепляться поэмой А. Буниной «Фаэтон» (1811), написанной под влиянием Державина. В этой поэме дрожащий, испуганный Фаэтон теряет управление конями Гелиоса, погибает сам и едва не сжигает в космической катастрофе самое Землю:

Несутся в небеса без цели наугад:  
Вертят кругом, вперед и взад,  
Цепляют звезды неподвижны...  
Все рощи, все луга горят;  
Все реки в берегах кипят.<sup>28</sup>

О том же, о гибели коня, сбросившего всадника, писал и Крылов в известной басне «Конь и Всадник»:

Напрасно на него несчастный Всадник мой  
Дрожащею рукой  
Узду накинуть покушался:  
Конь боле лишь серчал и рвался,  
И сбросил, наконец, с себя его долой;  
А сам, как бурный вихрь пустился,  
Не взвидя света, ни дорог,  
Поколь, в овраг со всех минувши ног,  
До-смерти не убился.<sup>29</sup>

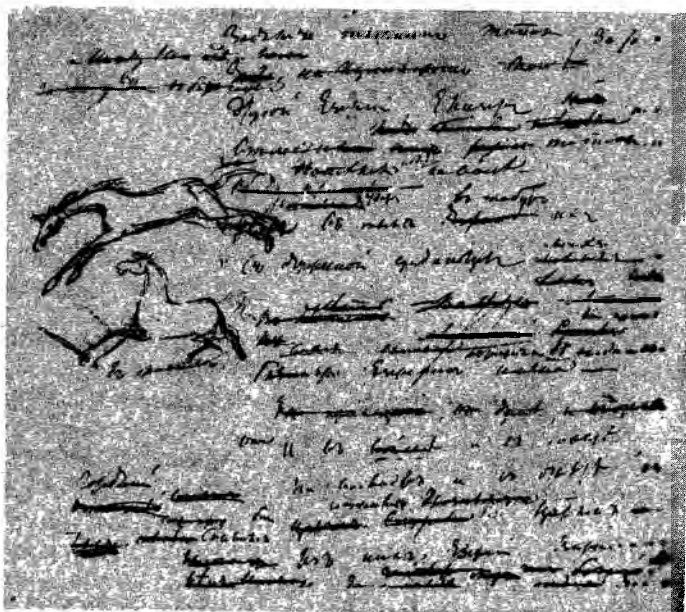
Оба текста, Буниной и Крылова, тематически связаны с Державинской «Колесницей». Может быть, они как-то отразились в процитированной выше реплике Бориса про коня и седока, а затем вновь отозвалась в рисунке Пушкина и в его поэтических размышлениях о роли Великого Самодержца в судьбах России.

В эти же самые дни поэтические раздумья другого поэта стимулируют размышления Пушкина. Хорошо известно, что как раз в пору работы над петербургской поэмой Пушкин знакомится со стихами Мицкевича на ту же тему. Вернувшийся из-за границы 22 июня 1833 г. С. А. Соболевский привез Пушкину четвертый том сочинений Мицкевича. Этот том никогда не мог продаваться в России,





Конь без всадника. — XVIII. С. 220



ибо содержал совершенно недопустимые в цензурном отношении антирусские и антиправительственные стихи. Все четыре тома этого собрания сохранились в библиотеке Пушкина, но лишь четвертый том разрезан, на внутренней стороне обложки сохранилась шутливая дарственная надпись: «А. С. Пушкину, за прилежание, успехи и благонаравие С. Соболевский»<sup>30</sup>. Пушкин взял с собой этот том, когда уехал из Петербурга в 1833 г., и внимательно читал его, путешествуя по Оренбургской губернии и во время второй Болдинской осени.

Иначе и быть не могло, потому что в стихах польского поэта отразились встречи и разговоры Мицкевича с Пушкиным и Вяземским во время пребывания ссыльного поляка в Москве и Петербурге. Пушкин и Мицкевич встречались постоянно в 1826—1829 гг.<sup>31</sup> Однажды, а может быть и не однажды, они, стоя у памятника Петру Великому, обсуждали судьбы России и роль русского самодержца.

Три стихотворения на русскую тему из тома, подаренного Соболевским («Олешкевич», «Русским друзьям» и «Памятник Петра Великого») Пушкин переписал (последнее только до середины) (XVII, 508—523). То ли он собирался переводить их (лишь для себя, разумеется), то ли делал это, чтобы лучше понять текст (по-польски Пушкин знал плохо).

Нас сейчас в первую очередь интересует стихотворение «Памятник Петра Великого». Оно имеет самое непосредственное отношение к петербургской поэме, над которой Пушкин работает в те самые дни, когда читает Мицкевича. У двух этих текстов общий главный герой — Фальконетов памятник Петру. А суд над деяниями Петра у Мицкевича произносит «русский поэт, прославленный на севере своими песнями» (XVII, 520), т. е. сам Пушкин.

Мицкевический «Пушкин» так описывает памятник Петру:

... leci car miedziany,  
Car knutowładny w todze Rzymianina.  
Wskakuje rumak na granitu ściany,  
Staje na brzegu i v gore się wspina.<sup>32</sup>

т. е.: «...летит медный царь, // Царь-кнутодержец в тоге римлянина; // Конь вскакивает на стену гранита, // Останавливается на самом краю и поднимается на дыбы» (Перевод Н. К. Гудзия: XVII, 521).

Далее «Пушкин» у Мицкевича сравнивает памятник Петру с бронзовым монументом Марка Аврелия на Капитолийском холме в Риме. На этом сопоставлении стоит остановиться несколько подробнее.

Памятники эти разительно отличаются друг от друга. Царь-депутат мчится в никуда. Он на мгновение застыл в стремительном полете, чтобы затем то ли броситься в бездну, то ли растоптать, уничтожить все, что может помешать стремительному прыжку. Здесь все на нервах, все находится в состоянии предельного напряжения. Об этом свидетельствует простертая вперед могучая рука императора, как будто указующая какие-то неведомые цели.

Петру противопоставлен Римский император. Бронзовый конь, спокойно идет вперед (одна нога приподнята). Марк Аврелий сидит на нем в спокойной, величественной позе. Рука приподнята в благославляющем жесте. Император-философ правит народом, размышляя, спокойно, взвешенно, благоразумно.

Памятник Марку Аврелию, единственный уцелевший бронзовый памятник римской эпохи, является величайшим произведением искусства. Особенно высокой репутацией пользовался он в XVIII веке, когда его считали лучшим образцом конной статуи<sup>31а</sup>. Однако Фальконе решительно отказался от подражания прославленному монументу. В мае 1770 г., когда памятник Петру еще не был воздвигнут, но проект был почти закончен, он написал книгу «Observations sur la statue de Marc-Aurèlie...». В этой книге он подверг статую Марка Аврелия жесточайшей критике. Особенно досталось коню, которого он считает безобразным и в целом, и в деталях: скульптор не обращает внимания на реальных коней, не понимает, как они двигаются, ...если бы этот конь двинулся, статуя бы рухнула, потому что скульптор не понимает, что ноги у бронзового коня поставлены неестественно и пр.<sup>31б</sup>

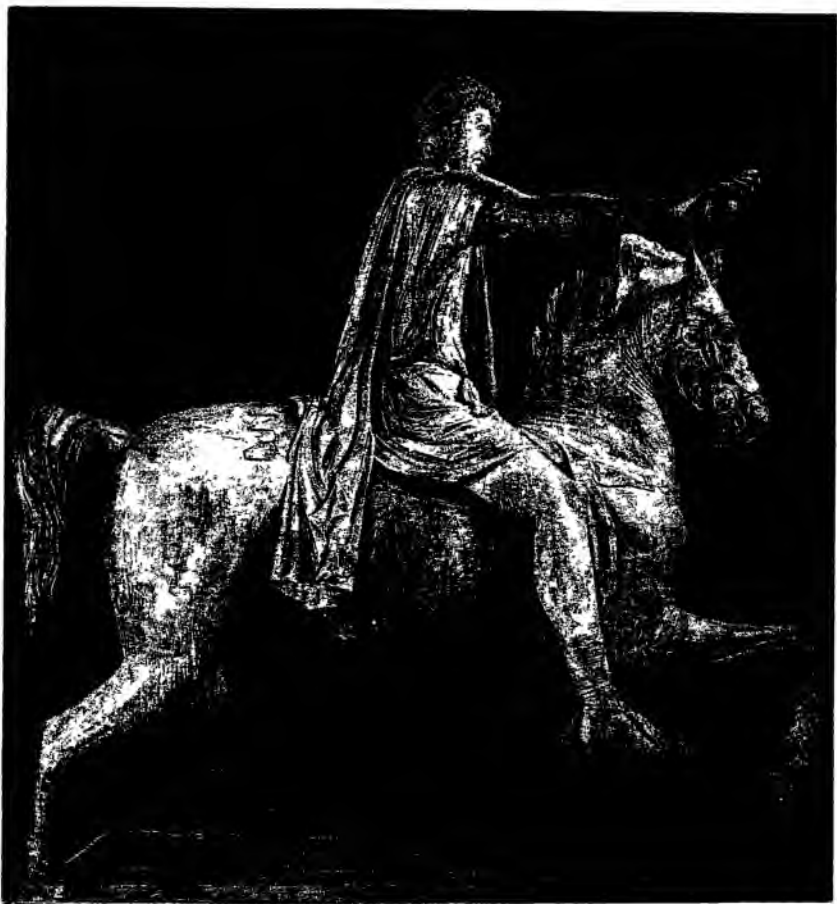
Это был настоящий эстетический скандал. Оценки Фальконе вызвали ожесточенную полемику. Не согласились с Фальконе Дидро (его близкий друг, рекомендовавший Фальконе Екатерине II) и Гете. А 28 сентября 1827 года Стендаль с пренебрежением отозвался о скульпторе в своих «Путешествиях по Италии». Стоя перед статуей Марка Аврелия, Стендаль вспомнил, что Фальконе написал целую книгу против этой статуи, а Дидро (сравнивший Фальконе с Фидием) предсказывал ему бессмертие. «Это случилось шестьдесят лет назад. Слыхали ли вы когда-нибудь о господине Фальконе?» — с издевкой спрашивает Стендаль своих читателей<sup>31а</sup>.

Можно думать, что эстетический нигилизм Фальконе и спор вокруг его шокирующих оценок был известен Мицкевичу. Однако польского поэта интересовало не эстетическое, а идеологическое, политическое противопоставление двух императоров. Именно по этим параметрам «Пушкин» у Мицкевича явно предпочитает римского императора Петру I:



**Медный всадник**

*lib.pushkinskijdom.ru*



Марк Аврелий

Nie v tej postawie świeci w starom Rzymie  
Kochanek lidów, ów Marek Aureli...  
Piękne, szlachetne, łagodne ma czolo,  
Na czole błyszczcy myśl o szczęściu państwa;  
Rekę powaznie wznosił, jak gdeby wkolo  
Miał błogosłavic tłum swego poddaństwa...<sup>33</sup>

(т. е.: Не так выгядит в старом Риме // Любимец народа извест-  
ный Марк Аврелий... // У него прекрасное, благородное, спокой-  
ное чело, // На котором светится мысль о благе отечества. // Руку  
торжественно поднял, как будто // Желая благословить своих под-  
данных...).

Противопоставление Петра (в исторической перспективе Ни-  
колая I) Марку Аврелию явно имело и для настоящего Пушкина  
свой глубокий смысл: Александра I часто сравнивали с Марком  
Аврелием. Так, Жуковский писал: «Я ... подумываю иногда о по-  
слании к нашему Марку Аврелию. Какой прелестный характер»<sup>33а</sup>.

Считается, что Пушкин никак не согласился с трактовкой Миц-  
кевича, тем более, что в другом стихотворении этого же цикла и сам  
он, очевидно, обвинялся в измене прежним идеалам. Тот «Пуш-  
кин», который у Мицкевича прежде называл Петра «кнутодержцем»,  
теперь, по словам Мицкевича, «Свободную душу продал за царскую  
ласку // И теперь у его порога отбивает поклоны» (XVII, 519)<sup>34</sup>.

На это обвинение Пушкин ответил стихотворением «Он между  
нами жил...», которое начал писать, вероятно, в начале октября  
1833, сразу же, как прочитал стихи Мицкевича<sup>35</sup>. Спокойно, сдер-  
жанно возражает Пушкин гениальному, «одаренному свыше»  
польскому поэту, который теперь стал «злобным» и «ядом стихи  
свои, в угоду черни буйной... напоят» (III, 1, 331). Он зачеркивает,  
убирает наиболее злые и обидные выражения: «торгаш», «собачий  
лай» (III, 1, 944)<sup>36</sup>.

В то же время Пушкин не мог не задуматься и над размышлени-  
ями Мицкевича о Петре. Не случайно в «Истории Петра» (вероят-  
но, 1835 г., см.: X, 416) он позднее записывает известные слова:  
«Достойна удивления разность между государственными учрежде-  
ниями Петра Великого и временными его указами. Первые суть  
плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудро-  
сти, вторые жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом» (X,  
221)<sup>37</sup>. Слова эти были важны для Пушкина. С отметкой Н. В. и в  
скобках он замечает: «Это внести в историю Петра, обдумав». Мо-  
жет быть, строки Мицкевича о царе «*кнотовладном*» как-то отклик-  
нулись в этой пушкинской записи. Тогда же (1833) Пушкин гово-  
рит о «крутом и кровавом перевороте» Петра (XI, 497). Для Пуш-

кина Петр — революционер. Недаром, думая в первую очередь о Петре, называл он всех Романовых «революционерами и уравнилелями» (XII, 335).

С изображением Петра в «Медном всаднике» дело обстояло сложнее. Пушкин не мог не учитывать, хотя бы психологически, внутренне, ту характеристику Петра, которую вложил в его уста Мицкевич. Можно считать ответом-возражением апофеозу Петра во «Вступлении» к поэме. Однако даже там, как мы видели, просвечивало в облике могучего властелина злобное, угрожающее начало.

Еще отчетливее оно проступает в основном тексте петербургской поэмы. Торжествующая стихия напрочь смела все культурные достижения Петра. На месте воздвигнутой им великолепной столицы, «парадиза», как сам Петр любил называть свое детище, бушует ветер и гуляют волны. Блистательный Петербург исчез. Недаром первым пунктом плана второй части поэмы было: *Пустое место* (V, 467). Очевидно, так представлял себе Пушкин северную столицу после потопа. Тогда и проступает в русском самодержце его антигуманизм и злоба. В ответ на справедливые упреки Петр, который не смог справиться со стихией, обращает свой гнев на протестующую личность:

...грозного царя,  
Мгновенно гневом возгоря,  
Лицо... (V, 148).

Бесчеловечность властелина была еще виднее в черновиках, до того, как изображение Петра-памятника получило окончательное, по-пушкински сдержанное воплощение. Здесь от грозного монумента веет могильным холодом: Какой (недвижный), грозный хлад // Ужасен неподвижным взгляд // Как хладен неподвижный взгляд // Недвижен взгляд его во мгле и пр. (V, 478).

Петру противопоставлен даже его конь: «...в сем коне какой огонь», — но конь этот уже взнуздан и поднят на дыбы, и Петр обрушивает на Евгения всю его бронзовую, многопудовую мощь (всю махину государственной машины):

Бежит и слышит за собой  
Как будто грома грохотанье —  
Тяжело-звонкое скаканье... (V, 148).

Таким образом, резкого спора с Мицкевичем в поэме нет. Естественно, не соглашаясь с польским поэтом в его отношении к русской государственности, Пушкин, кажется, не очень спорит с обвинениями Петра в антигуманизме, бесчеловечности. Мицкевич



писал об основании Санкт Петербурга, что Петр меньше всего думал о судьбах людей, когда создавал свою новую столицу. Он заложил: Nie miasto ludziom, lecz sobie stolice... (т. е.: не город для людей, а столицу для себя)<sup>38</sup>. И эта позиция Мицкевича оказалась достаточно близкой Пушкину.

Н. Я. Эйдельман, умно и тонко анализируя литературные отношения двух великих поэтов, говорил, что это был спор-согласие<sup>39</sup>. Может быть, согласия было больше, чем спора.

Закончив поэму, Пушкин передал ее Николаю. Царь очень внимательно и вдумчиво прочитал ее. Однако взаимопонимания с этим читателем у Пушкина не произошло.

Царь оставил на полях рукописи девять помет. Полную транслитерацию их опубликовала Т. Зенгер<sup>40</sup>.

Первая помета касается противопоставления Москвы Петербургу. Царь накрест перечеркнул четверостишие о соперничестве двух столиц:

И перед младшею Столицей  
Померкла старая Москва  
Как перед новою Царицей  
Порфиноносная вдова.

Причины исключения понятны: Николаю показались неуместными рассуждения о царском семействе. Кроме того, русские правители, включая большевиков, вообще не любили рассуждений о различиях и сравнительных достоинствах обеих столиц. Следует заметить, что в посмертной публикации «Медного всадника» это четверостишие было напечатано Жуковским, не встретив никаких цензурных препятствий.

Все остальные пометы (*nota bene* и отчеркивания) относятся к изображению Петра I. С момента воцарения Николая ведущая формула всех панегириков новому царю включала обязательное сопоставление молодого монарха с Петром I. Великолепный образец такого панегирика одним из первых создал Пушкин в знаменитых «Стансах». Николай очень благосклонно принимал подобные сопоставления.

В то же время царь хорошо знал и внимательно изучал деяния Петра Великого. Близкая к царю и восхищавшаяся им А. О. Смирнова на основании личных впечатлений писала в своих «Записках» (аутентичных, а не отредактированных дочерью): «Государь знал все двадцать томов Голикова наизусть и питал чувство некоторого обожания к Петру»<sup>41</sup>. По поводу драмы Погодина о Петре I Николай собственноручно написал: «Лице императора Петра Великого

должно быть для каждого русского предметом благоговения и любви...»<sup>42</sup> Николай очень внимательно и даже ревниво относился ко всем изучениям об эпохе Петра и об его личности. Он сам взялся преподавать русскую историю наследнику престола, сказав учителю: «До Петра вы, а с Петра я»<sup>43</sup>.

Естественно, что царь очень внимательно отнесся к сочинению Пушкина, много сделавшего для упрочения петровско-николаевского мифа. Из анализа царских помет явствует, что Николая в сущности не интересовал философско-исторический аспект гениальной поэмы. Человек умный и наблюдательный, но совершенно равнодушный к художественной литературе, он сосредоточил свое внимание на изображении Петра, справедливо, и ранее многих литературоведов, увидев в этом персонаже главного героя поэмы.

Вглядываясь в пометы Николая, мы можем заметить, что царь тщательно подчеркнул практически все описания Петра в поэме (кроме торжественного вступления):

Кумир на бронзовом коне.

Кумир с простертою рукою  
... на бронзовом коне.

... возвышался  
Во мраке медною главой,  
<Тот> чьей волей роковой...  
..... над самой бездной,  
На высоте, уздой железной  
Россию поднял на дыбы.

Горделивый истукан.

Строитель чудотворный.

Эти определения Петра выстраиваются в достаточно зловещий ряд. И можно думать, что Николай в общем объективно оценил намерения автора, который создавал отнюдь не апологетический образ великого государя. *Кумир, истукан с медной главой и роковой волей*, подымающий страну *на дыбы*... В этом контексте и характеристика *строитель чудотворный* начинала звучать какой-то страшной, зловещей иронией. Недаром вложена она была в уста врага. Не подчеркнутыми царем остались лишь две характеристики Петра:

Державец полумира.

Грозный царь.

Возможно, они показались царю достаточно нейтральными, однако они хорошо вписываются в общую систему изобразительных средств, рисующих Петра, и добавляют зловещие черты к этому и без того страшному облику. В ту же систему органически входят и тяжеловесные сложные эпитеты, которыми Пушкин описывает страшного, сверхъестественного монстра, преследующего человека:

... грома грохотанье,  
Тяжело-звонкое скаканье...

...на звонко-скачущем коне...

...с тяжелым топотом...

Это место поэмы Николай отчеркнул на полях.

Обычно считается, что Николай, отчеркивая знаменитые строки заключительной сцены «Медного всадника», был недоволен изображением бунта подданного против идеи власти. Так трактовали эту сцену и современники. Вот отрывок из записок Н. М. Смирнова: «Я видел сию рукопись; Пушкин заставляет говорить одного сумасшедшего, грозя монументу: «Я уж тебя, истукан»; государь не пропускает сие место вследствие и очень справедливого рассуждения: книга печатается для всех, и многие найдут неприличным, что Пушкин заставляет проходящего грозить изображению Петра Великого, и за что, за основание <города> на месте подверженном наводнениям»<sup>44</sup>.

Можно, однако, предполагать и иное: Николаю не понравилась сама трактовка образа Петра, неадекватность и жестокость его реакции, страшный гнев в ответ на справедливые упреки маленького, сокрушенного своим несчастьем человека. Такой Петр меньше всего похож на великого государя, отца отечества и своих подданных, а именно на эту роль претендовал сам Николай.

Можно думать, что именно со времени «Медного всадника» у Николая сложилось мнение, что Пушкин недостаточно высоко, неправильно оценивает роль его великого пращура. От царя это мнение, наверное, распространилось и на все августейшее семейство. Сохранилось интереснейшее свидетельство разговора Андрея Карамзина с Великим князем Михаилом, который, как это явствует из беседы, выражал взгляды всей царской семьи, т. е. очевидно, и Николая, и даже в первую очередь именно Николая, внимательно штудировавшего «Медного всадника». 10 декабря 1836 г. (т. е. еще при жизни Пушкина) Карамзин писал С. Н. Карамзиной: «Я рассказал ему <т. е. Михаилу Павловичу. — М. А.> историю

Чедаева, она привела нас к цензуре, оттуда — к Пушкину и наконец к Петру Великому. Вы знаете, что это для них всех <т. е. для царской семьи. — М. А.> божество, что же касается меня, то я обратного мнения. Он утверждал, что Пушкин недостаточно воздаст должное Петру Великому, что его точка зрения ложна, что он рассматривает его скорее как сильного человека, чем как творческого гения; и тут, со свойственной ему легкостью речи, он начал ему панегирик, а когда я приводил в параллель императрицу Екатерину II, он посылал меня подальше»<sup>45</sup>.

Возможно, что Михаил (и царская семья в целом) были недовольны также и изображением Петра в стихотворении «Пир Петра Первого». Оно было опубликовано за несколько месяцев до разговора (апрель 1836, цензурное разрешение 31 марта) в первом номере пушкинского «Современника». Здесь Петр действительно изображен как личность, а не как государственный деятель. Он пирует за праздничным столом. Характерно, что и назван он Петром Первым, а не Петром Великим.

Можно думать, что Николаю не понравилась основная идея стихотворения: Петр празднует прощение, милосердие: «виноватому вину отпуская, веселится...» (III, 409). Стихи, приуроченные к десятилетию начала царствования Николая, звучали как призыв к прощению декабристов, что не могло понравиться злопамятному Николаю. О таком восприятии стихов свидетельствует современник: «Это урок, преподанный им <Пушкиным. — М. А.> нашему дорогому и августейшему владыке...»<sup>46</sup>.

В то же время в реакции Великого князя на попытку противопоставления Петра Екатерине чувствуется отрицательное отношение сыновей Павла к своей бабушке. В «Дневнике» Пушкина рассказывается эпизод, подчеркивающий глубокую неприязнь внуков к императрице: «Константин уверял, что он в Таврическом дворце застал однажды свою старую бабку с графом Зубовым» (XII, 329).

Николай, высоко ценя деяния Петра, подражая ему, не любил Екатерину. Современный исследователь, ссылаясь на неопубликованные записки Бартенева, пишет: «Именно идея «равновеликости» Петра и Екатерины была враждебна сознанию Николая I, который от своих родителей — Павла I и императрицы Марии Федоровны — воспринял глубокую неприязнь к бабке. Это не было тайной для подданных. «При Николае, — вспоминал позднее П. И. Бартнев, — похвала ей чуть не возбуждала цензурных преследований, и современные портреты, изображающие сцены ее возведения на престол, были нарочно вынесены в заднее помещение одного из петербургских зданий»<sup>47</sup>.

Характерно в этом отношении устойчиво отрицательное отношение к Екатерине А. О. Смирновой-Россет, которая разделяла все привязанности и антипатии царской семьи и, прежде всего, конечно, Николая I. Ее «Записки», надо полагать, вполне адекватно отражают настроения царя и его ближайшего окружения. В этих «Записках» Смирнова наделяет императрицу весьма не лестными характеристиками: «О Екатерина, Екатерина! Сколько зла ты разлила по земле русской!»; «вредная женщина»; «страшная распущенность царствования Екатерины» и пр. (количество примеров можно значительно умножить)<sup>48</sup>.

Не мог нравиться Николаю и знаменитый памятник, установление которого в сознании общества прочно было связано с именем Екатерины. А дополнительное раздражение должна была вызывать надпись, как бы уравнивавшая двух великих монархов. Равенство подчеркивалось тем, что буквы в именах обоих были одинакового размера:

PETRO primo  
CATHARINA secunda

и соответственно на другой стороне памятника:

ПЕТРУ первому  
ЕКАТЕРИНА вторая

Может быть, эта нелюбовь к памятнику привлекла недоброжелательное внимание Николая к знаменитым строкам поэмы:

... над самой бездной  
На высоте уздой железной  
Россию поднял на дыбы.

Памятник здесь описан гениально точно. В монументе есть всё, о чем написал Пушкин: и бездна, и железная узда, и вздернутый на дыбы конь. Но Николаю совсем не хотелось видеть своего пращура, а следовательно, и себя самого жестоким и самовластным правителем, вовсе не отцом России, а жестоко, уздой железной, подымающим ее то ли на дыбы, то ли на дыбу.

По справедливому размышлению исследователя, в целом николаевский миф отличался от петровского. Появляясь перед народом, Николай, несомненно, подражал Петру, который во все вмешивался и во всем сам принимал участие. Однако Николай не терроризировал своих подданных, как Петр с его сверхчеловеческой

энергией, не принимал собственноручного участия в казнях и наказаниях. Его появления пред простыми людьми должны были символизировать единение власти и народа<sup>49</sup>.

Поэтому цитированная строка о железной узде была отчеркнута на полях царственной рукой с выразительным *nota bene*, а строка: «Россию поднял на дыбы» — подчеркнута.

Мы уже говорили (см. в настоящем издании «От “Стансов” к “Друзьям”») о противопоставлении в «Стансах» положительной парадигмы Петр I / Николай I — отрицательной Екатерина II / Александр I. Та же парадигма возникает и в «Медном всаднике». Только акценты здесь расставлены совсем по-другому.

Грозному монументу Петра Великого противопоставлен в поэме другой царь. Бронзе противостоит человек во плоти — император Александр I. Он был еще жив в момент наводнения и находился в Петербурге. Образу Александра в поэме не повезло. Величественный бронзовый монумент затмил живого царя. Исследователи обычно не обращают внимания на противопоставление двух царей и не рассматривают изображения Александра в поэме<sup>50</sup>. Если же обращают, то чаще всего для того, чтобы уничижительно противопоставить несчастного и слабого, не любимого Пушкиным самодержца великому пращур<sup>51</sup>.

Все это не соответствует действительности. Пушкин говорит об Александре серьезно, спокойно, сочувственно:

В тот грозный год  
Покойный царь еще Россией  
Со славою правил. На балкон  
Печален, смутен, вышел он  
И молвил: «С Божией стихией  
Царям не совладать». Он сел  
И в думе скорбными очами  
На злое бедствие глядел. (V, 141).

Бесчувственный «кумир» Петра Великого не боится «возмущенной» стихии, он стоит «в неколебимой вышине» с величественно «простертою рукою». К людям, к несчастному Евгению он повернулся «спиною».

Александр «печален» и «смутен». Оба точных эпитета Пушкин нашел сразу, уже в первых черновиках, и они сохранились до окончательного варианта (V, 455—456). Эпитеты важны, потому что они противопоставляют неколебимой, роковой воле Петра человеческое начало в Александре. Император именно *по-человечески* смиряется перед Божией волей. Выражение с *Божией стихией царям не совладать*, кажется, восходит к действительным словам Александр-

ра в письме к Карамзину от 10 ноября 1824: «Вы знаете уже о печальных происшествиях 7 ноября! Мой долг быть на месте: всякое удаление почту себе в вину. Вам не трудно представить себе грусть мою. Воля Божия: нам остается преклонить голову перед нею»<sup>52</sup>. Слова эти, как полагает Вацура, вполне могли быть в той или иной форме известны Пушкину<sup>53</sup>. В то же время это скорее общая формула, которая подчеркивает, что даже самодержец не бог и божественные функции ему не доступны. Эта формула могла, в сознании Пушкина накладываясь на подлинные слова самого царя, восходить, например, и к «Буре» Шекспира: «What care these roarers for the name of king? ... if you can command these elements to silence, and work the peace of the present ... use your authority»<sup>54</sup>.

Как бы то ни было, слова Александра в поэме — речь человека, а не «кумира», «горделивого истукана», идола.

В этих стихах Александр уже не «Властитель слабый и лукавый // Плешивый шеголь, враг труда // Нечаянно пригретый славой», а «Россией со славой правит». Эпитеты «печален», «смутен», «скорбные» (очи) исполнены симпатии.

Этот Александр похож на героя послания В. Жуковского «Императору Александру». Это знаменитое послание Пушкин всегда помнил и восхищался им. Так, в известном письме к А. А. Бестужеву от 1825 г. он писал: «Наши таланты благородны, независимы. ... Прочти послание Александру <Жуковского в 1815 году. — М. А.>. Вот как русский поэт говорит русскому царю» (ХІІІ, 179). Жуковский, исчисляя победоносные деяния Александра, все время подчеркивал скромность и смирение русского императора, склоняющегося перед волей Провидения:

И Ты средь плесков сих — не гордый победитель,  
Но воли Промысла смиренный совершитель —  
Шел тихий, благостью великость украшал...<sup>55</sup>

Те же мысли об Александре почти одновременно с Жуковским в 1814 году высказывал и Н. М. Карамзин в стихотворении «Освобождение Европы и слава Александра I»:

России царь благочестивый,  
Герой в душе миролюбивый!  
Он долго брани не хотел;  
Спасал от бурь свою державу:  
Отец чад-подданных жалел  
И ненавидел крови славу;  
Когда ж меч правды обнажил,  
Рек: с нами Бог! и победил.<sup>56</sup>

Стихи Карамзина пользовались известностью и высоко ценились современниками. Так, П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу в мае 1814: «Николай Михайлович написал превосходное стихотворение на настоящие происшествия ... сильные стихи, богатые и мыслью, и выражением»<sup>57</sup>. Пушкину они, несомненно, были хорошо известны. Теперь Пушкин мог в них увидеть подтверждение своего нового взгляда на покойного императора. Александр не хочет войны, прежде всего не желая проливать людскую кровь. У Карамзина он появляется перед подданными таким же, как в стихотворении Жуковского: «с лицом умильным и смиренным» (Ср. У Жуковского: «...смиренный вождь царей»)<sup>58</sup>, совсем не похожим на Петра, несущего грозу и ужас окружающему миру.

Таким образом, именно в сопоставлении с Александром его великий предок превращается у Пушкина в бесчеловечного «горделивого» «истукана». Как неподвижный памятник самому себе он был изображен уже во «Вступлении» к поэме. В ее дальнейшем тексте возникает не только противопоставление Евгения грозному бронзовому кумиру, но и противопоставление скромного, человеческого Александра Петру I.

Такое противопоставление подкрепляется известным анекдотом, который, по-видимому, Пушкин знал. Этот анекдот, относящийся к 1812 году, считается одним из источников «Медного всадника». Александру сообщают странный сон майора Батурина: «Батурин видит себя на Сенатской площади. Лик Петра поворачивается. Всадник съезжает со скалы своей и направляется по петербургским улицам к Каменному острову, где жил тогда Александр Павлович. Батурин, влекомый какою-то чудною силой, несется за ним и слышит топот меди по мостовой. Всадник въезжает на двор Каменноостровского дворца, из которого выходит к нему навстречу задумчивый и озабоченный государь. «Молодой человек, до чего довел ты мою Россию?» — говорит ему Петр Великий. — «Но покамест я на месте, моему городу нечего опасаться!». Затем всадник поворачивает назад, и снова раздается тяжело-звонкое скакание»<sup>59</sup>. Рассказ дошел до нас в поздней передаче, на его форму и лексику вполне мог повлиять «Медный всадник». Однако очевидно, что в основе его лежит противопоставление могучего, бронзового Петра и «задумчивого и озабоченного» Александра, пускай слабого, но более человеческого.

Кажется, можно говорить о противопоставлении в поэме двух мифов. Один миф — о Петре, строителе государства, который нимало не озабочен смертью и страданиями людей, употребленных для достижения высшей цели. Царствование Александра положи-



ло начало другой мифологеме — о царе добром, сострадательном, испытывающем чувство вины, проливающим слезы над участью подданных<sup>60</sup>. Этой мифологеме ранее Пушкин не принимал. В «Медном всаднике» впервые он противопоставил петровскому мифу — александровский и, по-видимому, отдал предпочтение второму.

Александровский миф начал твориться в первый же день царствования юного императора соединением его имени с именем Екатерины Великой. Черновики «Медного всадника» показывают, что идея преемственной связи Александра с его царственной бабушкой продолжала занимать Пушкина (в «Стансах», как мы помним, эта связь была глухо отмечена резко отрицательной коннотацией). В основном черновике есть строки, продолжающие только что цитированные размышления Александра о могуществе Божией стихии, не подвластной царям. Эти испещренные многочисленными поправками строки отсылают читателя к страшному наводнению 10 сентября 1777 года, которое предшествовало рождению Александра (12 декабря 1777), и к воспоминаниям о царице-бабушке:

Такого  
Давно не ведал град Петров  
От лета семьдесят седьмого.  
Тогда еще Екатерина...  
Была жива — и Павлу сына  
В тот год Всевышний даровал,  
Порфирородного младенца.  
И гимн младенцу  
Бряцал Державин. (V, 456)<sup>61</sup>

Пушкин ссылается на знаменитое стихотворение Державина «На рождение в Севере порфирородного отрока» (1779). В этом стихотворении Державин прорицал в будущем царе его доброту и гуманизм:

Будь страстей своих владетель,  
Будь на троне человек...  
Будет подданным отец!<sup>62</sup>

Здесь отмечены как раз те черты Александра, которые, как хорошо было известно Пушкину, напроочь отсутствовали в нравственном облике Петра. Возможно, что это противопоставление и породило в творческом сознании поэта воспоминание о державинской оде, которую он, как и все современники, знал наизусть. Стихи не вошли в окончательный текст, однако маркировали то направление, в котором двигалась мысль Пушкина в процессе работы.

Преемственную связь Александра и Екатерины II утверждали и стихи Карамзина по случаю восшествия на престол Александра:

Как ангел Божий ты сияешь  
И благостью и красотой  
И с первым словом обещаешь  
Екатеринин век золотой...  
Воспитанник Екатерины!  
Тебя Господь России дал.<sup>63</sup>

Как ранее Державин, Карамзин подчеркивает в новом императоре гуманизм и человечность. То, что Державин формулировал как пожелание, по Карамзину, уже осуществилось в новом императоре. Клио радостно восклицает:

У вас на троне человек!  
Премудрый Александр...<sup>64</sup>

Мы уже говорили, что в отличие от Медного всадника всадник-Евгений думает не о себе, а о погибающей от наводнения Параше. Так же, как Евгений, беспокоится о людях, о своих подданных человек-император Александр I:

Царь молвил — из конца в конец,  
По ближним улицам и дальным  
В опасный путь средь бурных вод  
Его пустились генералы  
Спасать и страхом обуялый  
И дома тонуший народ. (V, 141)

Черновики показывают (прежде, чем было найдено одно лаконичное слово, передающее царское веление: *молвил*), как Пушкин тщательно искал нужные формулы, чтобы подчеркнуть человеколюбие, озабоченность царя: *Спасая, шлет генералов он своих; Он генералов шлет своих; Своих он генералов шлет; Послушны вельню царскому вожди; Несчастных (людей) спасая // ... средь вод // Он генералов в бурю шлет* и пр. (V, 457—458).

Далее в основном черновике и вариантах белой редакции рассказывался анекдот о сенаторе, который, увидя под окном в лодке генерала (военного губернатора), решил, что сошел с ума (V, 457—458, 491). Этот анекдот был неуместен в трагическом рассказе о спасении людей по повелению царя и поэтому, вероятно, не попал в основной текст.

Таким образом, в «Медном всаднике», по сравнению со «Стансами», отношение к Александру претерпело существенные изме-

нения. Оно стало почти сочувственным. В поэме печальный и беспомощный Александр, посылающий своих генералов «спасать и страхом обуялый // И дома тонущий народ», похож на слабого, но доброго и милосердного Дука из «Анджело»<sup>65</sup>. А бронзовый Петр, который с «тяжелым топотом» мчится за погубленным им несчастным Евгением, скорее соотносится с безжалостным героем этой шекспировской повести. Ведь Анджело объясняет гибель Клавдио государственной необходимостью. И теми же потребностями государства, утверждением величия страны, обосновывает Петр свое решение воздвигнуть на болоте столицу великого государства («Здесь будет город заложен // Назло надменному соседу») и, следственно, неизбежность и обоснованность гибели одного маленького человека.

Испытание стихией ведет, по-видимому, к переоценке деятельности и личности Петра. Вместе с этим происходит и заметное изменение постоянно отрицательного отношения поэта к Александру I. Соответственно меняются и характеристики двух братьев, Александра и Николая, при их сопоставлении. Это сопоставление становится более глубоким и гораздо менее односторонним.

Процесс этот, хотя и остался незавершенным, явственно отразился в одном из самых последних стихотворений Пушкина «Была пора...».

---

---

## ПРОБЛЕМА ДЕМОКРАТИИ

(«Джон Теннер»)

---

---

Прежде чем перейти к анализу стихотворения «Была пора...», где речь снова пойдет о сопоставлении двух самодержцев — Николая и Александра, остановимся на одной мало изученной статье Пушкина. Она была написана в последний год жизни поэта, как и стихотворение «Была пора...», и содержит некоторые существенные для Пушкина идеи, защиту которых он увидел в законодательной практике Николая I.

Статья-реферат «Джон Теннер», опубликованная в третьем номере «Современника» (1836), относительно мало привлекала внимание исследователей<sup>1</sup>. Чаще всего она цитировалась советскими литературоведами, чтобы показать, что Пушкин прозорливо увидел еще в XIX столетии, как отвратительна американская демократия, и достойно осудил ее. Странная эта статья до сих пор вызывает у читателя и исследователя недоуменные вопросы, которые мы попытаемся сформулировать и предложить свои варианты ответов:

1. Зачем Пушкин написал такую большую с подробным пересказом содержания статью о «Записках» Джона Теннера, отдав этой статье более 50 (стр. 205—256) страниц из 332, т. е. приблизительно одну шестую, в третьей книге «Современника»?

2. Зачем, начиная статью о Джоне Теннере, Пушкин пишет целый абзац, гневно осуждающий современное ему американское общество и американскую государственную систему?

3. Как эти грозные инвективы связаны с содержанием «Записок» Теннера?

В 1830 году в Нью-Йорке была опубликована уникальная книга «A Narrative of the Captivity and Adventures of John Tanner During Thirty Years Residence Among the Indians». Она, как явствует из названия, повествует о жизни автора среди американских индейцев. Захваченный в плен еще в детстве, Теннер провел среди индейцев

около 30 лет, разделяя их жизнь, труды и невзгоды. Его безыскусный рассказ был записан и издан врачом и путешественником Эдвином Джеймсом.

Книга имела большой успех. Французский перевод ее вышел в 1835 с предисловием Блоссвиля, которое Пушкин использовал в своей работе: «*Mémoires de John Tanner, ou trente années dans les déserts de l'Amérique du Nord, traduits sur l'édition original, publiée à New York, par M. Ernest de Blossville., Paris, 1835*». Пушкин приобрел это издание 29 августа 1836 года<sup>2</sup>. Книга сохранилась в библиотеке Пушкина<sup>3</sup>.

26 августа министр просвещения С. С. Уваров запретил печатать в третьем номере «Современника» большую статью Пушкина «Александр Радищев»<sup>4</sup>. Нужна была срочная замена, и Пушкин, видимо, решил написать о заинтересовавших его «Записках» Теннера. Он напряженно работал над этой статьей. П. В. Анненков в «Материалах для биографии Пушкина» писал: «Один из друзей <возможно, П. А. Плетнев. — М. А.>, посетив его в Воскресенье <вероятно, это было 6 сентября. — М. А.>, застал его за статьей: Джон Теннер. Поэт работал над ней уже целое утро и, встречая приятеля, сказал ему, потягиваясь, полу-шутливо, полу-грустно: “Плохо наше ремесло, братец. Для всякого человека есть праздник, а для журналиста никогда”»<sup>5</sup>.

Может быть, спешной работой и необходимостью срочно восполнить образовавшуюся в журнале лагуну объясняются громадные цитаты, слишком подробный пересказ «Записок», некоторые нестыковки собственно Пушкинских абзацев с пересказываемым текстом в начале и конце статьи. Тем не менее книга Теннера, как увидим, действительно очень заинтересовала Пушкина. Вопросы, возникавшие в связи с ней, были для поэта весьма актуальными, и статья его представляет исключительный интерес для изучения пушкинских политических взглядов в последний год его жизни.

Уникальность рассказа Джона Теннера заключается в том, что он показывает жизнь дикого племени не глазами ученого-этнографа, а *изнутри* племенного, первобытного сознания. Этим она особенно интересна, т. к. с рассмотрения жизни дикарей, диких племен, дикого, т. е. нецивилизованного, образа жизни естественно начинается всякая попытка проследить историю человеческого общества.

С появлением исторического мышления, по крайней мере у древних греков, возникли две концепции этой истории. Одна, можно назвать ее «прогрессивной», рассматривает историю человечества как развитие и усовершенствование от дикости к цивилизации. Другая, «регрессивная», видит в истории людей утрату первона-

чальных высоких душевных качеств, возрастание пороков, зла и насилия. Первая концепция находит отражение в «Прометее» Эсхила:

...Раньше люди...  
...в каких-то грезах сонных  
Влачили жизнь...  
... без мысли  
Свершали все...

Позднее, благодаря Прометею, они научились наукам и искусствам<sup>6</sup>.

Вторая концепция изложена в знаменитом пространном рассказе Гесиода о нравственном упадке от людей золотого века, «со спокойной и ясной душой» к железному веку, когда «наглецу и злодею станет почет воздаваться»<sup>7</sup>.

Обе концепции начинают историю человечества с «дикаря». В первом случае это дикарь — слабый и жалкий, во втором — наделенный лучшими душевными качествами, которые он постепенно теряет.

В эпоху Просвещения с ее историческим оптимизмом прогрессивная теория явно преобладала. Ее кратко, сжато и четко сформулировал Кондорсе. Уже одно заглавие его наиболее известного труда содержит выразительную характеристику этой теории: «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» (*Esquisse d'un tableau historique des progress de l'esprit human*, 1794). Кондорсе считал, что человеческий род на первой стадии цивилизации обладал лишь примитивными искусствами и небольшим числом моральных идей. Однако способность человека к совершенствованию велика и безгранична: нет предела в развитии человеческих способностей, успехи в совершенствовании имеют своей границей только длительность существования нашей планеты<sup>8</sup>.

Теории Руссо не вписывались полностью в идеологию Просвещения. Трактаты Руссо («Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?» и «Рассуждение о происхождении неравенства») представляют собой настоящую апологию дикаря. В основе идеологии руссоизма лежит постулат об изначально доброй, хорошей, нравственной природе человека. Первобытные люди были «невинны и добродетельны», дикарь был физически совершеннее современного человека: он был силен и ловок, ломал рукой крепкие ветви, легко влезал на деревья, был быстр в беге, обладал прекрасным здоровьем, был сильным и мужественным. В первобытном, естественном состоянии каждый был свободен от ярма,

и закон более сильного не действовал<sup>9</sup>. Развитие цивилизации привело к тому, что человек попал в условия, искажающие его нравственную и физическую природу.

Идеи Руссо отозвались у его давнего и постоянного противника Вольтера в знаменитой повести «Простодушный» (L'Ingenu). В свойственной ему саркастической манере Вольтер посмеивается и над современным обществом, и над Руссо с его теориями. Дикий американский индеец (сын белых, воспитанный в индейском племени, как Джон Теннер) попадает во Францию. Здесь он крестился, совершил военный подвиг, попал в тюрьму, прочел много книг, стал образованным человеком, не смог жениться на любимой девушке, т. к. в первые дни его появления во Франции она стала его крестной матерью. Возлюбленная умерла, соблазненная иезуитом. Дикарь глубоко разочаровался в цивилизации.

Дикие у Вольтера «грубы, но добродетельны». Правда, они при случае не прочь съесть побежденного соплеменника<sup>10</sup>. Однако все-таки простодушный и талантливый Гурон, положительный герой его повествования, оказывается гораздо лучше и достойнее цивилизованных людей, общественные институты которых нелепы и жестоки с точки зрения естественного человека.

Совсем другую точку зрения на примитивные, первобытные общества и их роль в развитии цивилизации высказал Жозеф де Местр (1753—1821). Де Местр был убежденным противником просвещения, революции, прогресса. Он презирал Руссо и ненавидел Вольтера. Суть его идеологии была четко сформулирована Исайей Берлиным, который считал Де Местра предшественником фашизма (и тоталитаризма вообще), отдавая должное его блестящему литературному таланту и тонкому уму: «Вместо идеалов прогресса, свободы и способности человека к совершенствованию он проповедовал спасение при помощи веры и *традиций* <курсив мой. — М. А.>. Он подчеркивал, что человек по природе своей безнадежно дурен и развращен, а значит, необходимы власть, иерархия, послушание и подчинение»<sup>11</sup>.

Отсюда следует абсолютная значимость, самодовлеющая сила государства, его авторитет и абсолютность для людей. «В иерархии ценностей де Местра власть всегда располагается выше всего, ибо власть — это божественный закон, правящий миром <...> Не бывает общества без государства, государства без верховной власти»<sup>12</sup>. Не обсуждать следует «Общественный договор» между властью и обществом, как делает Руссо, а слепо подчиняться этой власти<sup>13</sup>.

В этой системе (точнее, иерархии, ибо для де Местра вся система человеческого общества строго иерархична) нет места придуманному

манному Руссо естественному человеку. «Дикарь» оказывается лишенным всего того, что изначально является признаком цивилизации. Никакой эволюции человеческого сознания для де Местра не было. Дикарь просто выпадает из цивилизации.

Опровергая Руссо, де Местр уделяет проблеме «дикаря» достаточно много внимания. С точки зрения де Местра, Руссо «всегда принимал дикаря за первобытного человека, между тем дикарь не является и не может являться ничем иным, кроме как потомком того человека, который вследствие некоего преступления оторвался от великого древа цивилизации. <...> И какое мне сейчас дело <...> — восклицает де Местр, — в какую именно эпоху та или иная ветвь отделилась от общего древа? <...> нет сомнений в самом факте порчи <...> эта порча, все более отягощая потомков, превращает их в конце концов в то, что мы называем *дикарями*. А то, что Руссо и ему подобные именуют *естественным состоянием*, есть уже последняя степень отупения и скотства. <...> источник ложных суждений об индейцах находим мы в философии прошлого века <т. е. XVIII. — М. А.>, воспользовавшейся дикарями для того, чтобы подкрепить свои пустые и злокозненные декламации против существующего порядка»<sup>14</sup>.

И далее де Местр рисует ужасающий, отвратительный портрет дикаря, беспомощного, слабого, обреченного, неспособного приблизиться к цивилизации. Читатель не посетует на длинную цитату. Она понадобится для наших дальнейших рассуждений: «Это уродливый ребенок, рослый и свирепый, в котором пламя разума дает лишь тусклые, прерывистые отблески. Грозная десница, отягощенная над этой отверженной породой, стерла в ней два отличительных признака нашего величия: предвидение и способность к совершенствованию. Чтобы собрать плоды, дикарь рубит дерево; он выпрягает быка, которого ему только что привели миссионеры, и поджаривает его на огне, обратив в дрова плуг. Вот уже более трех столетий смотрит он на нас, но так и не пожелал за это время что-либо у нас позаимствовать, — кроме пороха, чтобы убивать самих себя. А поскольку даже самое гнусное и отвратительное все еще сохраняет способность к дальнейшему вырождению, то и свойственные всему человечеству пороки в дикаре усугубляются еще более ... дикарь вырывает окровавленные волосы у еще живого врага, раздирает его на части, поджаривает их и пожирает, распевая при этом песни. Попадутся ли ему крепкие напитки — дикарь напивается до полнейшего опьянения, до горячки, почти до смерти, равно лишенный разума, управляющего человеком посредством страха, и инстинкта, способного остановить животное с помощью отвращения»<sup>15</sup>.



Пушкин был хорошо знаком еще с Лицея с системой взглядов Руссо<sup>16</sup>. Идеи руссоизма отчетливо прослеживаются в поэме «Цыганы» (1824)<sup>17</sup>. Однако с годами отношение Пушкина к просветительской идеологии сильно изменилось. Вместо «закона», «общественного договора» («Склонитесь первые главой под сень надежную Закона...» — (II, 45), на котором, по Руссо, должно строиться государство, Пушкин уповает теперь на монархическую систему и на государя, чья личность служит гарантом системы в целом и чье личное милосердие выправляет недостатки механического выполнения законов. Тогда переоценки заслуживает и роль естественной личности, дикаря в развитии мировой истории. Идеи де Местра могли теперь заинтересовать Пушкина.

Со взглядами де Местра Пушкин, несомненно, был знаком. Он интересовался его произведениями. В конце 1834 года он просил А. И. Тургенева прислать книгу де Местра «О папе» (XV, 202) и, кажется, внимательно читал ее. Книга сохранилась в библиотеке Пушкина. В ней «многие места отчеркнуты и подчеркнуты карандашом»<sup>18</sup>. В библиотеке Пушкина сохранились еще два произведения философа: «Рассуждения о Франции» и «Санкт-Петербургские вечера». Они тоже разрезаны, т. е., видимо, прочитаны или, по крайней мере, просмотрены<sup>19</sup>. «Петербургские вечера» представлены в библиотеке изданием 1831 года, так что Пушкин читал или перечитывал их уже в 1830-е, т. е. близко к тому времени, о котором речь идет в этой главе. В 1830 Пушкин вспоминает «поэтическую и страшную» страницу из «Петербургских вечеров», имея в виду знаменитое рассуждение де Местра о роли палача в государстве (XI, 94).

Таким образом, мы можем быть почти уверены, что Пушкин читал в «Петербургских вечерах» рассуждения де Местра о дикарях, которые мы цитировали выше. Быть может, «Записки» Теннера заинтересовали его еще и потому, что они конкретным материалом, казалось, подкрепляли философские рассуждения де Местра.

Был у Пушкина и личный опыт знакомства с жизнью примитивного племени. Можно считать достоверным, что Пушкин какое-то время, вероятно, около двух недель, кочевал в Молдавии вместе с цыганским табором<sup>20</sup>.

Тогда он и получил необходимые впечатления для своей романтической поэмы. Однако при цепкости Пушкинского взгляда, остроте понимания окружающего мира он, наверное, увидел в цыганской жизни не только романтические красоты. При чтении «Записок» Джона Теннера, он мог вспомнить и те черты повседневной

жизни цыганского табора, которые не очень отличались от выразительных и достаточно отталкивающих картин, описанных Джоном Теннером.

Теперь Пушкин противопоставляет правду Теннеровских описаний красочным вымыслам писателей-романтиков, среди которых некогда находился и он сам: «Нравы северо-американских дикарей знакомы нам по описанию знаменитых романистов. Но Шатобриан и Купер оба представили нам индейцев с их поэтической стороны, и закрасили истину красками своего воображения. “Дикари, выставленные в романах, — пишет Вашингтон Ирвинг, — так же похожи на настоящих дикарей, как идиллические пастухи на пастухов обыкновенных”» (XII, 105)<sup>21</sup>.

Начиная свою статью, Пушкин отверг идеи Руссо о врожденных высоких моральных качествах «естественной личности», т. е. дикаря. Книга Теннера, по словам Пушкина, одна из тех, которые «разливают истинный свет на то, что некоторые философы называют *естественным состоянием человека...* <курсив мой. — М. А.>» (XII, 105).

Обратившись к «Запискам» Джона Теннера и особенно к выпискам и пересказу Пушкина, мы действительно увидим, что в этих «Записках» Пушкин мог найти подтверждение безжалостным обличениям де Местра. Это, разумеется, не значит, что Пушкин ищет в рецензируемой книге подтверждения идеям французского философа. Мы хотим только показать, что взгляды обоих авторов сближаются или даже совпадают и полемичны идеям Руссо и других просветителей.

Де Местр пишет о жестокости и свирепости дикарей. Джон Теннер рассказывает, как индеец, которого захваченный в плен мальчик чем-то рассердил «схватил свой томагук (дубину) и знаками велел мне глядеть вверх. Я понял, что он мне приказывал в последний раз взглянуть на небо, потому что готовился меня убить» (XII, 106). Спустя некоторое время его приемный отец, застав однажды мальчика спящим, «ударил его по голове своим *томагук*ом и бросил запросто в кусты. Возвратясь в табор, старик сказал жене своей: “Старуха! мальчик, которого я тебе привел, ни к чему не годен; я его убил”» (XII, 109). Приемная мать сумела выходить мальчика.

Де Местр говорит, что в дикарях «пламя разума дает лишь тусклые, прерывистые отблески». Пушкин пишет о «Записках» Теннера: «В них есть какое-то однообразие, какая-то сонная бессвязность и отсутствие мысли, дающие некоторое понятие о жизни американских дикарей» (XII, 110).

Следствием отсутствия мыслей является и неспособность к совершенствованию (о чем говорит де Местр). Иначе говоря, у индейцев отсутствует какое бы то ни было обучение, нет передачи опыта от старших к младшим. Из «Записок» мы узнаем, что никто никогда не учил маленького приемыша каким бы то ни было навыкам примитивных ремесел или охоты. Никто не показал мальчику, как нужно стрелять, не предупредил о мерах предосторожности. «Я отроду еще не стрелял. Мать моя только что купила бочонок пороху. <N. В. вспомним замечание де Местра, что дикари ничего не позаимствовали у цивилизации, кроме водки и пороха. — М. А.> ... Мне дали заряженный пистолет... Я взвел курок и поднял пистолет почти к самому носу; прицелился и выстрелил. В то же время мне послышалось жужжание, подобное свисту брошенного камня; пистолет полетел через мою голову, а голубь лежал под деревом, на котором я сидел. Не заботясь о моем израненном лице, я побежал в табор с застреленным голубем» (XII, 111).

Многие авторы, и вполне справедливо, обвиняли белых торговцев в спаивании туземных охотников. Де Местр, как мы видели, склонен прежде всего винить самих дикарей, лишенных человеческого разума, неспособных оценивать и планировать свои поступки, в этой отвратительной склонности. Напомним: «Попадутся ли ему крепкие напитки — дикарь напивается до полного опьянения, до горячки, почти до смерти, равно лишенный разума, управляющего человеком посредством страха, и инстинкта, способного остановить животное с помощью отвращения».

Похожий вывод делает и Пушкин из «Записок» Теннера: «Выменяв часть товаров на ром и водку, бедные индейцы отдают и остальное за бесценок; за продолжительным пьянством следует голод и нищета, и несчастные дикари принуждены вскоре опять обратиться к скудной и бедственной своей промышленности (XII, 115).

Пушкин находит в «Записках» Теннера многие примеры того, что де Местр называет «отупением и скотством» (стр. 75) и что сам он называет «скотскими оргиями» (XII, 110): «... старуха <примемная мать рассказчика, — М. А.> так была пьяна, что не могла удержаться на ногах. <...> в пять минут все было выпито <...> жена <одного из индейцев, — М. А.> лежала перед огнем в полном бесчувствии <...> Мы сели пить. <...> весь табор шумел и пьянствовал <...> пьяный старик схватил брата за волосы и откусил ему нос» (XII, 115, 117) и т. д. и т. п.

С точки зрения Пушкина, не столько белые торговцы, которые, на то они и купцы, естественно, пользуются «простотой» индей-

цев, их «склонностью к спиртным напиткам», сколько сами бедные дикари обрекают себя на вымирание из-за внутренней слабости индивидуумов, составляющих племя. Они не умеют преодолеть искушения, не в состоянии планировать даже ближайшее будущее. Поэтому бедные индейцы обречены, и Пушкин констатирует эту историческую неизбежность:

«... так или иначе, через меч и огонь, или от рома и ябеды, или средствами более нравственными, но дикость должна исчезнуть при приближении цивилизации. Таков неизбежный закон. Остатки древних обитателей Америки скоро совершенно истребятся; и пространные степи, необозримые реки, на которых сетями и стрелами добывали они себе пищу, обратятся в обработанные поля, усеянные деревьями, и в торговые гавани, где задымятся пироскафы и развевается флаг американский» (XII, 104—105)<sup>21а</sup>.

Вместе с тем, статья о Джоне Теннере начинается с удивительно резкой, даже злобной инвективы против Американских Соединенных Штатов, тогда еще совсем молодого государства, американского образа жизни, рабства и ханжества. Вот эти гневные строки, столь любимые советской пропагандой в годы холодной войны:

«... несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возобновили снова вопросы, которые полагались уже давно решенными. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родовые гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобиострастие; талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой: такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами» (XII, 104).

«Несколько глубоких умов», о которых говорит Пушкин, — это прежде всего Алексис Токвиль с его книгой «О демократии в Америке»<sup>22</sup>. Об этой книге в начале 1836 года писал друзьям в Петербург А. И. Тургенев. Письмо Тургенева было напечатано Пушкиным в первом номере «Современника». Там были такие строки: «Я <...> провел вечер в чтении Токевиля о демократии (в Америке). Талейран называет его книгу умнейшею и примечательней-

шею книгою нашего времени, а он знает Америку, и сам аристократ, так, как и Токевиль...»<sup>23</sup> А далее шел исключенный по цензурным соображениям абзац, в котором Тургенев излагал взгляды Токвиля, считавшего, что «в новом и старом мире — главный фактор — это демократия, идущая к власти, и необходимый результат оного — уравнение в классах общественных»<sup>24</sup>. Этого, как увидим, более всего опасался Пушкин.

А. И. Тургенев послал в Петербург и самую книгу Токвиля. В письме от 29 февраля 1826 года из Парижа он опять хвалил молодого автора (Токвиль родился в 1805, а Тургенев думал, что он на пять лет моложе, и назвал его *двадцатипятилетним Монтестье XIX столетия*). Он настоятельно рекомендовал друзьям прочесть эту книгу. Тургенев писал «прочтите», хотя с Вяземским они были на ты. Стало быть, книга посылалась не одному адресату, а целому кружку друзей<sup>25</sup> (непосредственно она предназначалась А. Н. Татаринову, двоюродному племяннику А. И. Тургенева<sup>26</sup>) Таким образом, вполне вероятно, что Пушкин сумел познакомиться с книгой Токвиля уже в марте-апреле 1836 года, когда она прибыла в Петербург, а 2 июля он уже купил оба тома «Демократии в Америке»<sup>27</sup>.

Книга Токвиля произвела на Пушкина глубокое впечатление, ибо оказалась связанной с его заветными историософскими рассуждениями о государственных системах в целом и об исторических судьбах России в особенности. Пушкин считал, что прочная монархическая государственная система должна опираться на аристократию, т. е. на сословие, обладающее неотъемлемыми наследственными правами, «награжденное большими преимуществами касательно собственности и частной свободы» (XII, 205). В России аристократия была подорвана отменой местничества, а затем уничтожена петровской «Табелью о рангах», когда доступ в дворянское сословие оказался открытым для каждого служащего человека.

Манифестом 10 февраля 1832 года был введен институт «почетного потомственного гражданства», открывавший образованным людям преимущественно из купечества возможность перехода в сословие, свободное от телесных наказаний, рекрутчины, подушной подати. Пушкин вполне одобрил эту попытку Николая введением почетного гражданства ограничить доступ простолюдинов в привилегированное дворянское сословие.

Хорошо известна запись Пушкина в его дневнике о разговоре с великим князем Михаилом Павловичем: «Потом разговорились о дворянстве. Великий князь был против постановления о почетном гражданстве: зачем преграждать заслугам высшую цель честолю-

бия? ... Я заметил, что или дворянство не нужно в государстве, или должно быть ограждено и не доступно иначе, как по собственной воле Государя. Если во дворянство можно будет поступать из других сословий, как из чина в чин, не по исключительной воле Государя, а по порядку службы, то вскоре дворянство не будет существовать или (что все равно) все будет дворянством» (XII, 334—335). Этого Пушкин боялся больше всего. Франция, по мнению Пушкина, уже (после революции 1830) пришла к тому, что там «народ властвует со всей отвратительной властью демократии» (XII, 66).

Пушкину казалось, что и Россия с ее отсутствием (или слабостью) аристократического сословия, может тоже рухнуть во «власть демократии», подобной американской. Об этом он с ужасом писал, ссылаясь на Токвиля, в черновике неотправленного письма к Чаадаеву (оригинал по-французски), снова с одобрением вспоминая манифест о «почетном гражданстве»: «<Петр> [уничтожил] укротил дворянство, опубликовав *Табель о рангах*... Вот уже 140 лет Табель сметает дворянство; и нынешний император первый воздвиг плотину (очень слабую еще) против наводнения демократией, худшей, чем в Америке. Читали ли Вы Токвиля? [Он напугал меня] Я еще под горячим впечатлением его книги и совсем напуган ею» (XVI, 421).

Об этом американском ужасе Пушкин и написал во вступительных абзацах к «Джону Теннеру». Он опирался на Токвиля, но к взвешенному, сбалансированному мнению французского литератора он добавил свое темпераментное неприятие всех демократических институтов. Томас Шоу в своей уже упоминавшейся работе совершенно справедливо писал: «Pushkin's passage is full of sharp negative generalizations with little or no supporting detail and without mention of counterbalancing qualities which Tocqueville — Pushkin's main source — gives and with an indignant tone and emotional rhetorical phrase totally foreign to Tocqueville»<sup>28</sup>. Действительно, Токвиль никогда не употребляет такую терминологию и такие эпитеты, как *отвратительный цинизм, жестокие предрассудки, нестерпимое тиранство*<sup>29</sup>.

И все-таки, почему этим антидемократическим абзацем предвзвешивается подробный и обстоятельный рассказ об образе жизни американских индейцев? Можно думать, если судить по пересказу книги Теннера, что Пушкин увидел в описании быта, нравов и образа жизни американских индейцев подобие нравам американского демократического общества. Жестокие дефиниции де Местра о деградации и примитивизме дикарей оказались вполне приемлемыми для описания американской демократии.

Пушкин назвал книгу Теннера «драгоценной во всех отношениях», потому что она дала ему возможность сопоставить американскую социальную систему, лишенную дворянства, с так называемым «естественным обществом». Мы уже говорили, что для Пушкина наличие привилегированного сословия было необходимым условием нормального функционирования государства. «Пушкин считал..., что независимое от царя родовитое дворянство могло и должно было являться противовесом неограниченной власти самодержавия...»<sup>30</sup>.

Индейцы, описанные Джоном Теннером, не только не имеют привилегированных сословий, но практически лишены институтов власти и управления. Они действительно пользуются полной свободой, не знают ни постоянного труда, ни социальных обязанностей. Человек может утром пойти на охоту, а может остаться дома, если он ленив и имеет минимальный запас еды. Существует полная свобода передвижения. Индейцы кочуют из одной местности в другую, объединяются в несколько семей и свободно расходятся.

Свобода существует и в любовных отношениях, что ведет на деле к отсутствию института семьи. «Оба знают, что если союз сей будет неприятен одному из двух или обоим вместе, то легко будет его расторгнуть» (XII, 123). Отсутствуют свадебные обряды: «Я вошел и сел возле девушки... Таким образом мы стали муж и жена» (XII, 124). Такие семейные связи легко разрушаются. Они не бывают ни прочными, ни глубокими. И Пушкин цитирует пространственный рассказ Теннера, как его вторая жена предала мужа в руки убийцы, а затем вернулась на место преступления, чтобы завладеть одеждой убитого (XII, 126—132). При легкости и непрочности семейных уз отсутствует и уважение к старшим: «Многие из индейцев чуждаются своих старых родителей...» (XII, 124).

Презумпция личной свободы является причиной полного отсутствия дисциплины в войнах, которые ведут индейцы. Теннер подробно рассказывает о многочисленных военных походах, которые кончались ничем, и Пушкин очень точно формулирует основной смысл его рассказов:

«Если частные распри индейцев жестоки и кровопролитны, то войны их, зато, вовсе не губительны и ограничиваются по большей части утомительными походами. Начальники не пользуются никакой властью, а дикари не знают, что такое повиновение воинское. Они, наскуча походом, оставляют войско один за другим и возвращаются каждый в свою хижину, не успев увидеть неприятеля. Старшины упрямятся несколько времени: но оставшись одни без воинов, следуют общему примеру, и война кончается без всякого последствия» (XII, 119).

Отсутствие твердой власти в индейских племенах, нетерпимость к каким бы то ни было ограничениям — явления того же порядка, что и «родословные гонения <т. е. ненависть к аристократии, правителям. — М. А.> в народе, не имеющем дворянства».

Индейцы не знают религии, которую заменяют им суеверия. Духовная жизнь племени состоит в толковании снов и вере в духов. Хотя Пушкин и называет одно из видений Теннера «поэтическим», однако в основном эти сны и видения крайне прозаичны и примитивны: «Когда голоден, ему снятся жирные медведи, вкусные рыбы, и через несколько времени в самом деле удастся ему застрелить дикую козу или поймать осетра» (XII, 121). Если у «цивилизованных» американцев «все возвышающее душу» подавлено страстию к довольству (comfort), то у соплеменников Джона Теннера «возвышенное» тоже подавлено полным отсутствием этого «довольства».

Тяжелые условия существования этих свободных людей ведут к бедности их духовной жизни. Все их силы уходят на повседневную однообразную и утомительную борьбу за выживание:

«Препятствия, нужды, встречаемые индейцами в сих предприятиях, превосходят все, что можно себе вообразить. Находясь в беспрестанном движении, они не едят по целым суткам и принуждены иногда, после такого насильственного поста, довольствоваться вареной кожаной обувью. Проваливаясь в пропасти, покрытые снегом, переправляясь через бурные реки на легкой древесной коре, они находятся в ежеминутной опасности потерять или жизнь, или средства к ее поддержанию. Подмочив гнилое дерево, из коего добывают себе огонь, часто охотники замерзают в снеговой степи» (XII, 114).

Отмечая физическое совершенство индейцев, их «легкость и неутомимость», Пушкин отвергает руссоистский постулат о нравственном совершенстве дикарей. Его позиция близка дефинициям де Местра. Он считает главными пороками индейцев «легкомысленность, невоздержность, лукавство и жестокость» (XII, 116).

Итак, для Пушкина жизнь индейцев лишена всех тех ценностей культуры, которые созданы цивилизацией. Еще в 1830 году Пушкин писал: «Образованный француз иль англичанин дорожит строкою старого летописца, в которой упомянуто имя его предка, честного рыцаря, павшего в такой-то битве, или в таком-то году возвратившегося из Палестины, но калмыки не имеют ни дворянства, ни истории. Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим» (XI, 162). «Калмыки» здесь имя собирательное для обозначения диких народов, какими были американские индейцы, описанные Теннером. У них тоже



вместе с аристократией отсутствует государственность, а следовательно, и история, вместо которой перед нами «длинная повесть о застреленных зверях, о метелях, о голодных, дальних шествиях, об охотниках, замерзших на пути, о скотских оргиях, о ссорах, о вражде, о жизни бедной и трудной, о нуждах, непонятных для чад образованности» (XII, 110).

Рассуждения Пушкина здесь оказываются очень близки не только к идеям де Местра, но и к замечаниям Токвиля. Последний читал книгу Теннера и встречался с ее автором. Он вынес из этой книги очень тяжелое впечатление о жизни индейцев: «Nothing can be more terrible than the affections he describes. He tells us of tribes without a chief, families without a nations, isolated men, the wrecks of powerful tribes, wandering at random through the ice and snow and desolate solitudes of Canada. Hunger and cold are their companions, and every day seems likely to be their last. Among such men mores have lost their sway, and tradition are powerless. Men become more and more barbarous»<sup>31</sup>.

Эти замечания Токвиля близки взглядам де Местра. Можно думать, что Токвиль был знаком с книгой де Местра и учитывал ее в своих рассуждениях о дикарях. Так, у обоих авторов совпадает тезис о деградации дикарей: утрата этических устоев, традиций, варварство. Ср. у де Местра: «...поскольку даже самое гнусное и отвратительное все еще сохраняет способность к дальнейшему вырождению, то и свойственные всему человечеству пороки в дикаре усугубляются еще более (стр. 77—78). Однако Токвиль более сдержан, в его речах звучит сочувствие к несчастным людям, чего нет у темпераментного и безжалостного де Местра.

Таким образом, у дикарей нет представления о национальной культуре, т. е. нет искусства, нет армии, нет государственных институтов. Нет в их среде и страстной, поэтической любви. Пушкин в начале своей статьи, как мы видели, поиронизировал над поэтическими персонажами Купера и Шатобриана. Действительно, прелестная и целомудренная индианка Атала у Шатобриана и благородный могиқан Ункас у Купера мало похожи на пьяных и жестоких дикарей, изображенных Теннером. К героям французского и американского романтиков Пушкин смело мог бы добавить своих пылких дикарок (Черкешенка, Земфира), погибающих из-за любви, — все они оказались плодом поэтического воображения. Но всех этих ценностей (романтическая любовь, культура, искусство, история) не знает и демократическая система Соединенных Штатов Америки.

Так Пушкин показывает сходство между демократией и примитивным бытом дикарей. Последние, живя в обстановке полной сво-

боды, не создали никаких культурных ценностей. Но и современная Пушкину демократия, с его точки зрения, тоже лишена этих ценностей: в Американских Соединенных Штатах не может быть истории, ибо «родословные гонения» уничтожают память о предшествующих поколениях. Если у индейцев личность оказывается духовно подавленной суровыми обстоятельствами жизни, то в американском обществе, по Пушкину, она подавлена демократическими институтами. Только монархия, опирающаяся на сильную аристократию, может обеспечить гармоническое развитие общества.

В этой связи заслуживает внимания рассказ Гоголя: «Как умно определял Пушкин значение полномочного монарха и как вообще был умен во всем, что ни говорил в последнее время своей жизни! “Зачем нужно, — говорил он, — чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон дерево; в законе слышит человек что-то жестокое и небратское. С одним буквальным исполнением закона не далеко уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной полномочной власти. Государство без полномочного монарха — автомат: много-много, если оно достигнет того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился для того, что и выеденного яйца не стоит. Государство без полномочного монарха то же, что оркестр без капельмейстера...”»<sup>32</sup>

К словам Гоголя нужно относиться с большой осторожностью, особенно к тому, что он говорил в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Тем более, что эти слова предшествуют совершенно фантастическим измышлениям, что стихи Пушкина «С Гомером долго ты беседовал один...» посвящены Николаю I<sup>33</sup>. «Гоголь был лгун», — справедливо писал Ю. М. Лотман<sup>34</sup> (Мог «врать и паясничать», — по словам Достоевского<sup>35</sup>). Однако именно в данном случае слова Гоголя заслуживают доверия, ибо находят подтверждения в размышлениях самого Пушкина: противопоставление Милости и Закона (в пользу первого<sup>36</sup>) и только что цитированные рассуждения об Америке.

Развития России, подобного американскому, Пушкин боялся, хотя Государь и воздвиг слабую плотину «против наводнения демократией, худшей, чем в Америке» (XVI, 421). В России отсутствует пользующаяся уважением общества аристократия, а «родословные гонения» с успехом проявляются в выходках против аристократии таких «демократических» органов печати, как «Серверная пчела» или «Московский телеграф»<sup>37</sup>.

Именно в этом контексте можно рассматривать горькую иронию «Моей родословной», где поэт говорит:

Смеясь жестоко над собратом,  
Писаки русские толпой  
Меня зовут аристократом. ...  
Родов дряхлеющих обломок  
(И по несчастью не один),  
Бояр старинных я потомок... (III, 261).

В «Родословной моего героя» Пушкин боится, что гибель аристократии приведет к торжеству демократической черни и гибели истории и культуры (осел оскорбляет умирающего льва):

Мне жаль, что тех родов боярских  
Бледнеет блеск и никнет дух...  
Что русский ветреный боярин  
Считает грамоты царей  
За пыльный сбор календарей,  
Что в нашем тереме забытом  
Растет пустынная трава,  
Что геральдического льва  
Демократическим копытом  
Теперь лягает и осел... (III, 427—428)<sup>38</sup>

Белинский посвятил «Родословной моего героя» несколько страниц в «Статьях о Пушкине». С позиций разночинца он возражал против социальной концепции Пушкина и смеялся над «геральдическим львом», который применительно к русской истории не имеет для Белинского никакого смысла, так как в России вовсе нет европейской аристократии. С этим Пушкин мог бы и согласиться. Но этот печальный факт и представлял для Пушкина главнейшую угрозу историческому благополучию России<sup>38а</sup>.

Теперь мы можем перейти к заключительному абзацу пушкинской статьи.

«Ныне Джон Теннер живет между образованными своими соотечественниками. Он в тяжбе с своею мачехою о нескольких неграх, оставленных ему по наследству. Он очень выгодно продал свои любопытные “Записки”, и на днях будет, вероятно, членом Общества Воздержности (Общество, коего цель — истребление пьянства. Члены обязываются не употреблять и не покупать никаких крепких напитков. *Издатель.*). Словом, есть надежда, что Теннер со временем сделается настоящим уапкее (Прозвище, данное американцам; смысл его нам неизвестен. *Издатель.*), с чем и поздравляем его от искреннего сердца» (XII, 132).

В этом абзаце некоторую фактическую почву под собой имеет только замечание о неграх-невольниках. (Сам Теннер пишет: «Следующей весной была сделана еще одна попытка добиться получения мною части отцовского наследства. Но мачеха продала на Кубу нескольких рабов-негров, которые, как полагали, должны были мне принадлежать. Это дело и теперь еще не закончено; им занимаются адвокаты»<sup>39</sup>.) Но и здесь Пушкин делает Теннера более активным в борьбе за свои материальные интересы, чем это следует из его собственного рассказа. Сам Теннер подчеркивает свою пассивную роль («попытка была сделана»). Вероятно, его брат и сестра попытались отсудить у мачехи какое-то имущество в его пользу.

Все остальное в этом абзаце, кажется, не соответствует действительности. Нет никаких сведений, что Теннеру удалось выгодно продать свои записки. Нет никаких свидетельств о вступлении Теннера в Общество трезвости. Вряд ли это было возможно при его укоренившихся привычках. Да и сам он рассказывает в последней части записок, как вынужден был, вопреки своему желанию, по приказу торговцев, у которых служил, обменивать пушнину на виски<sup>40</sup>.

Очень трудно предположить, и тому нет никаких свидетельств, что Теннеру удалось вписаться в американское общество, «стать настоящим янки». Пушкин в самом начале статьи сам писал, что, даже вернувшись к своей семье, «Джон Теннер сохранил вид, характер и предрассудки дикарей, его усыновивших» (XII, 110). Эти слова восходят, видимо, к замечанию Токвиля, встречавшегося с Джоном Теннером после его возвращения в цивилизованное общество: «I myself met Tanner at the lower end of Lake Superior. He struck me as much more like a savage than a civilized man»<sup>41</sup>. Таким образом, у Пушкина не было никаких оснований говорить об успешной адаптации вчерашнего дикаря в современное американское общество.

Весь последний абзац выдержан в скептически-насмешливом тоне, и в конце его Пушкин иронически поздравляет дикаря с успешным приобщением к американской цивилизации. Все эти несоответствия имеющимся фактам, видимо, написаны сознательно и умышленно. Можно думать, что Пушкин хотел показать, что не существует психологического барьера между дикарем-индейцем и демократическими «цивилизованными» дикарями Соединенных Штатов Америки. Статья Пушкина, таким образом, становилась предостережением об угрозе для цивилизации грядущей победы демократии. В том, может быть, и заключался для автора главный ее смысл.

---

---

## ПОСЛЕДНЯЯ ЛИЦЕЙСКАЯ ГОДОВЩИНА («Была пора: наш праздник молодой...»)

---

---

Стихотворение «Была пора...» стало одним из последних Пушкинских произведений. И 1836 год, когда оно было написано, отмечен явной переменой отношения Пушкина к императору Александру.

Второй том «Современника» открывается статьей «Российская Академия», в которой говорится о заседании 18 января 1836 года. Статья, написанная Пушкиным, заканчивается рассказом о том, как Александр I читал суровую, нелицеприятную, содержащую много справедливых упреков и лично ему «Записку о древней и новой России» Н. М. Карамзина: «...Карамзин написал свои мысли о *Древней и Новой России* со всей искренностью прекрасной души, со всей смелостью убеждения сильного и глубокого. Государь прочел эти красноречивые страницы <...> прочел, и остался по-прежнему милостив и благосклонен к прямодушному своему подданному. Когда-нибудь потомство оценит и величие Государя, и благородство патриота...» (XII, 45).

Этот эпизод отношений монарха и историка был Пушкину хорошо известен. Известно было ему и о маленькой мести злопамятного царя, долго не дававшего Карамзину аудиенции, а затем осыпавшего историка демонстративными милостями. Оставляя в стороне эти подробности, Пушкин оценил человеческую порядочность царя, может быть, особенно то, что Александр сумел в данном случае все же победить свою злопамятность, от которой сам поэт так долго страдал. Следует отметить, что в этой же статье несколько страниц уделено похвалам уму и терпимости Екатерины II. Так на этот раз со вполне положительной коннотацией на страницах пушкинского журнала снова возникает парадигма Екатерина II / Александр I.

Стихотворение «Была пора, наш праздник молодой...» было написано спустя десять лет после «Стансов», до октября 1836 г., но

выправлено, возможно, еще позднее. Кажется, стихотворение осталось незаконченным. Впрочем, выразительное многоточие в конце, может быть, заканчивает стихи лучше любого текста<sup>1</sup>. В этом стихотворении Пушкин впервые прямо, а не иносказательно, как в «Стансах», сопоставил двух государей — прошлого и нынешнего.

В дошедшем до нас виде рукопись стихотворения «Была пора...» состоит из восьми восьмистрочных строф замедленного, торжественного пятистопного ямба. В черновом автографе Пушкин начал нумеровать строфы, а в беловом — остались только пробелы между ними.

19 октября 1836 г. было днем лицейской годовщины: 25-летие со дня открытия Лицея. Это была последняя годовщина, которую Пушкину довелось отмечать. Для него этот понедельник 19 октября был наполнен трудами и размышлениями: просматривается рукопись «Капитанской дочки», заверченный роман подписывается и ставится дата, переписываются стихи на лицейскую годовщину для вечерней встречи с друзьями, пишется известное письмо к Чаадаеву по поводу публикации «Философического письма» в «Телескопе»<sup>2</sup>.

Погода в этот день была «ужасная: снег, дождь и грязь, так что невозможно выйти из дому»<sup>3</sup>. Однако же в пятом часу вечера одиннадцать бывших лицеистов собрались у М. Я. Яковлева на Екатерининском канале. Здесь Пушкин прочел свои последние стихи на лицейскую годовщину. Сохранился трогательный рассказ Яковлева (?) о чтении этих стихов, записанный П. В. Анненковым: «В день праздника он извинился перед товарищами, что прочтет им пьесу, не вполне доделанную, развернул лист бумаги, помолчал немного и только что начал, при всеобщей тишине, свою удивительную строфу:

Была пора: наш праздник молодой  
Сиял, шумел и розами венчался,

как слезы полились из глаз его. Он положил бумагу на стол и отошел в угол комнаты на диван...»<sup>4</sup>

Мрачные предчувствия томили поэта. Он знал, что жизнь идет к концу, и в стихах, формально обращенных к узкому кругу друзей, подвел итоги и своей жизни, и жизни своего поколения, и исторических судеб России и Европы.

Всего Пушкин написал пять стихотворений на лицейскую годовщину<sup>5</sup>. Лицейские поэты (Дельвиг, Кюхельбекер, Илличевский) тоже писали стихи по случаю этих годовщин<sup>6</sup>. Однако «Была пора...»

существенно отличается не только от стихов лицейских поэтов, но и от других стихотворений Пушкина на ту же тему. Лицейсты обычно поминают своих соучеников («...Илличевский не в Сибири // С шампанским кажет нам бокал...»; «Спасибо Яковлев проказник, // Ты староста у нас лихой!»; «Троих из вас, друзей моей души, // Здесь обнял я...»). Вспоминаются конкретные реалии лицейской жизни (журнал «Лицейский мудрец») и пр.

По-другому построено стихотворение 1836 года. В нем почти отсутствует личная тема, не упоминаются и не подразумеваются имена отдельных лицейстов, их индивидуальные судьбы, практически отсутствуют конкретные лицейские реалии. Лицейсты выступают здесь как обобщенный портрет поколения. Единственный упомянутый наставник — знаменитый профессор Александр Петрович Кунитцын, символ Лицея и либеральной политики Александра I до начала 1820-х годов. «Была пора...» — это историко-философское стихотворение, подводящее итог размышлениям Пушкина о мировых катаклизмах начала XIX века, о роли России в судьбах европейского мира, о ее прошлом и будущем.

Главными героями стихотворения являются цари, которые то *высились*, то *падали*, истинные вершители народных судеб. Таких царей три: Наполеон I, Александр I, Николай I.

Прежде чем говорить об оценке Александра I в стихотворении «Была пора...», следует коротко остановиться на сопоставлении Александра с Наполеоном и изображении Наполеона в более ранних пушкинских стихах 1810—1820-х гг.

Сопоставление Наполеона и Александра стало общим местом в русских стихах с войны 1812 года. Все поэты противопоставляли русского и французского императоров и в той или иной форме в меру своего таланта прославляли русского владыку, а Наполеона изображали «неизменно как воплощение всех сил зла <...>, не скупясь на самые зловещие эпитеты»<sup>7</sup>. Пушкин также прославлял Александра и в «Наполеоне на Эльбе», и в «Воспоминаниях в Царском Селе», и в оде «На возвращение...» и даже в стихах на лицейскую годовщину 1825: «Он взял Париж...».

В то же время, вполне в соответствии со сложившейся у русских традицией, Наполеон у Пушкина в ранних стихах являлся носителем мирового зла. С точки зрения либерально-конституционной, он был губителем свободы, узурпатором престола. В раннем стихотворении «Наполеон на Эльбе» народы несут ему

... робко дань свободы,  
Знамена чести преклоня... (I, 89).

В оде «Вольность» наполеоновская «... злодейская порфира на галлах скованных лежит». Молодой автор, влюбленный в свободу, глашатай конституции, говорит о Наполеоне: «Самовластительный Злодей! // Тебя, твой трон я ненавижу...» («Вольность», 1817). Этому владыке противостоит «Полнощи царь младой» (I, 89), т. е. Александр I. В годы войны и сразу после нее в оппозиции Наполеон / Александр, естественно, не могло быть места не только эпиграмматическим насмешкам, но и вообще отрицательному отношению к Агамемнону, молодому владыке царей, победителю узурпатора.

После Эльбы, «Ста дней», Св. Елены, особенно после смерти отношение к Наполеону у романтически настроенной русской либеральной интеллигенции начинает меняться, а русский царь, впадающий в мистицизм, создатель «Священного союза», превращается в сторонника застоя, носителя и защитника консервативных идей. У Пушкина устойчивая личная неприязнь к царю совпадает и с переоценкой роли Александра в общественной жизни. Меняется и прежнее отношение к Наполеону<sup>8</sup>.

Так, в многословной оде на смерть Наполеона («Наполеон», 1821) Император еще назван *тираном*, которого *пленяло самовластье* (II, 193—194)<sup>9</sup>. Но в то же время великому человеку отдается должное («луч бессмертия горит <...> он русскому народу // Высокий жребий указал...»). При этом Александр в стихотворении вообще не упоминается. Есть судьбы истории, есть русский народ, есть Наполеон — вершитель мировых судеб, но Александру Пушкин отказывает в праве на роль в мировой истории.

В 1824 году он набрасывает странное стихотворение «Недвижный страж дремал...». В нем два героя: Александр и Наполеон. Кажется, по сравнению с прежними оценками, они идеологически меняются местами. Остановимся на этих загадочных стихах несколько подробнее.

В перебеленном с поправками автографе, по которому стихотворение печатается в основном тексте сочинений, царь, «владыка севера», изображен в охраняемом покое:

Недвижный страж дремал на царственном пороге,  
Владыка севера один в своем чертоге  
Безмолвно бодрствовал... (II, 278).

Обращение к черновому автографу показывает, что слово *страж* вначале настойчиво соотносилось у Пушкина с Александром, который, как сейчас увидим, стал после победы жестоким сторожем мира:

Властитель севера один в своем чертоге  
Как сторож <?> бодрствовал... (II, 768).



Затем последовательно: *Как страж, как верный страж, как бедный страж, как неподвижный страж* (II, 769). Только в перебеленном тексте *страж* превратился в сторожа, охраняющего царя: по-эту нужно было показать, как беспрепятственно в охраняемые чертоги входит тень Наполеона.

Владыка (властитель) севера (в «Наполеоне на Эльбе» он был «Полнощи царь молодой...» — I, 89) становится теперь властителем всей земли, покорителем народов. Страшные формулы, описывающие нынешнюю власть Александра I, возникают под пером поэта:

... жребии земли  
В увенчанной главе стесненные лежали,  
Чредою выпадали  
И миру тихую неволю в дар несли... (II, 278).

В первом варианте эпитет был еще страшнее: «И свету мертвую неволю в дар несли». Правда, более поздний вариант выразительнее и глубже и, кажется, подчеркивает лицемерие и скрытность «владыки севера»: неволю, несомая им, незаметна для самих народов. В то же время стихотворение незакончено, и мы не знаем, на каком окончательном варианте остановился бы поэт.

Далее «владыка севера» восхищается тем, что он содеял: «*Се благо, думал он*». Время республиканских свобод прошло, и нынешнему Цезарю не страшен новый Брут, да и неоткуда ему явиться: деспотическая воля России и русского царя с его скипетром (жезлом) покорила мир:

Всё пало — под ярем склонились все главы. ...  
Вот Кесарь — где же Брут? О грозные витии,  
Целуйте жезл России  
И вас поправшую железную стопу. (II, 278—279).

И в этот момент новому тирану является тень побежденного противника. Дремлющий на царственном пороге сторож не способен воспрепятствовать явлению величественной тени:

..... некий дух повеял невидимо,  
Повеял и затих, и вновь повеял мимо,  
Владыку севера мгновенный хлад объял,  
На царственный порог вперил, смутясь, он очи —  
Раздался бой полночи —  
И се внезапный гость в чертог царя предстал.

Наполеон в этих стихах назван «Владыкой запада» который противостоит «Владыке полунощи». С одной стороны, Наполеон здесь

по-прежнему «мятежной вольности наследник и убийца», но поэт подчеркивает в его судьбе некое непостижимое, провиденциальное начало, недоступное человеческому разуму, далеко возносящее Наполеона над другими венценосцами:

То был сей чудный муж, посланник провиденья,  
Свершитель роковой безвестного веленья,  
Сей всадник, перед кем склонилися цари... (II, 279).

Эти размышления о судьбах мира, неисповедимых путях Провидения, о людях не ведающих, не понимающих, что и зачем они творят, приобретают завершённую форму в «Была пора...»:

Чему, чему свидетели мы были!  
Игралища таинственной игры,  
Метались смущенные народы;  
И высились и падали цари;  
И кровь людей то славы, то свободы,  
То гордости багрила алтари.

Слава, свобода, гордость — вот три фантома, во имя которых борются между собой власть имущие, выполняя неведомую волю Провидения (Толстой напишет об этом подробно и аргументированно четверть века спустя в «Войне и мире»). В эту игру вовлекаются «смущенные народы». Во имя этих трех фантомов обильно лилась кровь людей в конце XVIII века и на заре следующего.

Особенно много жертв было принесено во имя *свободы*. Пушкин был почти современником того, как воздвигались эшафоты, рубились головы, по словам прорицателя Казота, «<...> в царстве разума и во имя философии, человечности и свободы»<sup>10</sup>. Казота Пушкин хорошо знал и помнил. Кстати, в черновиках в числе фантомов был упомянут разум: «...то славы, то свободы // То разума ...» (III, 1042). Идеи свободы витали и в русском воздухе в начале XIX века. Носителем их был император Александр I, а сам Пушкин отдал им дань в знаменитой оде «Вольность». Наполеон обычно изображался Пушкиным как губитель вольности, поправший свободу народов, принесший ее в жертву своей славе. «Мятежной вольности наследник и убийца» (II, 279). Так свобода легко превращается в свою противоположность, в неволю, в оковы. В стихотворении «Недвижный страж» их надевал на мир уже Александр. Пушкин понимал легкость этих переходов от свободы к рабству, от знамен к оковам и обратно. В черновых вариантах это видно особенно явственно: «То звук цепей, то ярый глас <свободы> ... багрили алтари» (III, 1042).

*Слава* — второй фантом, о котором пишет Пушкин. Это слово в значении *почетная известность, всеобщее признание* встречается у Пушкина 289 раз. Слава — один из сильнейших искусов для людей, особенно для власть имущих («Воителю слава — отрада...»). Славу стяжал себе Александр, хотя он, особенно в последние годы, и тяготился ею. Однако значительная часть из почти трехсот словоупотреблений относится именно к Наполеону. Во имя своей славы жертвовал Наполеон тысячами людей, выполняя таинственную волю Судьбы.

С Наполеоном в первую очередь связана и идея *гордости*. В Словаре Пушкина это слово может употребляться в значении *высокомерие, надменность*. В таком значении оно использовано и в стихотворении «Была пора...». Прежде всего оно ассоциируется с именем Наполеона, который, по мысли Пушкина, как и Петр I, *презирал человечество* (XI, 14). Вспомним еще: «Мы все глядим в Наполеоны; // Двуногих тварей миллионы // Для нас орудие одно...» и пр.

Итак, именно с царями связаны те жертвы, которые приносило человечество во имя трех призраков, обозначенных Пушкиным в самой значительной, центральной строфе стихотворения. Хотя таких царей в стихотворении три, но призрачные игры связаны лишь с двумя первыми: Наполеоном и Александром. Пушкин здесь подводит итоги своим оценкам деятельности двух величайших людей прошедшей эпохи.

Начнем с Наполеона. О нем скорее мельком говорится в пятой строфе:

... еще Наполеон  
Не испытал великого народа —  
Еще грозил и колебался он

Здесь образ Наполеона значительно снижен по сравнению с романтическим пафосом 1820-х, в нем ощущается некоторая слабость: перед войной 1812 года он «грозил и колебался» (в черновиках: *гремел и колебался, сомневался*, — III, 1043). Дополнительную глубину и историческую перспективу Наполеон получает в последней, восьмой строфе, где ему уделено две строки в середине, между двумя русскими царями:

И на скале изгнанником забвенным,  
Всею чужой, угас Наполеон.

Черновики показывают, что эти две строки были результатом очень тщательной работы. Особое внимание уделено было эпитету

*чужой*. Это важнейшая черта характеристики Наполеона. Первоначально строка гласила:

Чужд племенам, чьим духом (III, 1044).

Строка эта сравнительно легко поддается интерпретации. Наполеон разнес революционные, свободные, просветительские идеи, которыми была пропитана духовная жизнь Франции конца XVIII столетия, по всему континенту. Он установил новые идеи и новый порядок, низринув старые устои. И оказался низвергнутым. Народами эти идеи были восприняты как новое рабство. Именно отторжение, неприятие Наполеона народами, чей дух он, казалось бы, воплощал, становится главным мотивом дальнейшей работы Пушкина над черновиком:

Чужой всему — чьим духом  
Для всех чужой — чьим духом.

И в беловом автографе это отторжение охватывает уже весь универсум: «Всему чужой...». Эпитет подчеркивает романтическую природу Наполеона, его одиночество, противоборство со всем миром, обреченность.

В изображении Наполеона сказывается, по всей вероятности, полное разочарование Пушкина в итогах Французской революции, в просветительских идеях, в демократии в целом. О демократии, угрожающей цивилизованному миру, Пушкин вспомнил в письме к Чаадаеву в тот самый день, когда он читал друзьям «Была пора...».

Зато император Александр теперь изображен совсем по-другому. Его исторический портрет предшествует строкам о Наполеоне, и эта предпоследняя строфа является одной из самых значимых в стихотворении:

Вы помните, как наш Агамемнон  
Из пленного Парижа к нам примчался,  
Какой восторг тогда пред ним раздался!  
Как был велик, как был прекрасен он,  
Народов друг, спаситель их свободы!  
Вы помните — как оживились вдруг  
Сии сады, сии живые воды,  
Где проводил он славный свой досуг.

И эти размышления переходят в следующую, последнюю строфу:

И нет его — и Русь оставил он,  
Взнесенну им над миром изумленным... (III, 432)

далее пойдут цитированные строки о Наполеоне.

Трудно сказать, кто первый назвал Александра Агамемноном. Сравнение русского императора с главой греческих вождей, возглавившим коалицию против Трои, напрашивалось само собой. Однако Пушкин, почти несомненно, ориентировался на послание В. Жуковского «Императору Александру», где читались такие строки:

И на холме, в броне, на грозный щит склонен,  
Союза мстителей младой Агамемнон,  
И тени всех веков внимательной толпою  
Над светозарною вождя Царей главою...<sup>11</sup>

Конечно, помимо злых эпиграмм, о которых мы упоминали в первой главе, Пушкин и раньше вспоминал «дней Александровых прекрасное начало». Он посвятил Александру строфу в «Воспоминаниях в Царском Селе», впрочем, вычеркнув ее в поздней редакции<sup>12</sup>. Даже по заказу директора Департамента народного просвещения И. И. Мартынова написал оду «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году»: «Тебе, наш храбрый царь, хвала, благодаренье!» и пр.<sup>13</sup> Снисходительно похвалил царя в 1825 году: «Простим ему неправоe гоненье: // Он взял Париж, он основал Лицей». Реминисценцией этих и других ранних стихов и воспоминаний о месте времени их написания являются строки о «садах» и «живых водах» Царского Села, где проводил свой досуг Александр<sup>14</sup>.

Однако впервые в стихотворении, обращенном к самому узкому кругу друзей, Пушкин находит для царя, своего давнего недруга, столь искренние, прочувствованные и величественные слова.

Так рядом с низверженным Наполеоном возникает и его романтическое alter ego, его друг и враг император Александр I. Ореол романтизма окружает и этого красавца-императора, в молодые годы (ему было 24) занявшего престол и одновременно отягченного страшным грехом отцеубийства. Либерал и мистик, внезапно умерший или ушедший в схимники. Его романтическую смерть, может быть, предсказывало появление тени Наполеона в незаконченном стихотворении «Недвижный страж дремал...». Зловещий и таинственный всадник, «пред кем склонились цари», должен был, видимо, предсказать гибель «владыки севера» за три года до его реальной смерти.

Начало восьмой строфы стихотворения «Была пора...» объединяет в смерти Наполеона и Александра: «И нет его <Александра. — М. А.> — и Русь оставил он <...> И на скале <...> угас Наполеон». Умер не только Наполеон, но и прекрасный «Агамемнон», «народов друг».

Это сближение двух романтических царей, кажется, намечалось или, может быть, возникло на мгновение уже в «Медном всаднике». В основном черновике есть такие отвергнутые строки:

тот грозный год  
Последним годом был державства  
Царя пред кем... (V, 455)

Последняя незаконченная строка напоминает строчку, относящуюся к Наполеону, которую Пушкин повторил по крайней мере трижды. В первый раз в стихотворении «Недвижный страж дремал...» (1824):

Сей всадник, перед кем склонилися цари (II, 311)

Во второй раз в так называемой десятой главе «Онегина» (1830):

Пред кем унизились цари (VI, 522)

Затем строка перешла в стихотворение «Герой» (1831):

...пришлец сей бранный  
Пред кем смирились цари ... (III, 251)

Если в стихотворении «Герой» Пушкин сравнивал с Наполеоном Николая I, то теперь в общем романтическом ореоле Наполеон объединяется с Александром I. Их смерть знаменует конец блестящей эпохи и в литературе, и в общественной жизни, и в политике. Все изменилось. Тщетно Пушкин и его друзья боролись с меркантильным, торговым духом в литературе<sup>15</sup>. Меркантилизм и расчет проникали в дворянский быт, меняя привычный аристократический уклад жизни с его эстетизмом, интересом к искусству и наукам:

Они торопятся с расходом свесть приход.  
Им некогда шутить, обедать у Темиры,  
Иль спорить о стихах. (III, 219)

В 1836 году и взгляд на историю, и отсюда отношение к Александру изменились. Воспевший подавление польского восстания 1830 г., Пушкин готов признать и полную правоту Александра в борьбе с Наполеоном. В стихотворении «Была пора...» Александр уже «народов друг, спаситель их свободы».

Особенно интересна незаконченная или намеренно оборванная на последней строке восьмая строфа стихотворения. Последние четыре строки изображают Николая I. Из политики исчез

романтический дух свободы, в ней устанавливается система новых суровых, мрачных межгосударственных отношений. На смену романтическому «владыке севера» пришел «новый царь»:

И новый царь, суровый и могучий,  
На рубеже Европы бодро стал,  
И над землей сошлись новы тучи  
И ураган их...

В начальных черновиках этот новый царь был назван «стражем», как когда-то Александр в начальных вариантах стихотворения «Недвижный страж дремал...». Там было:

Как неподвижный страж на царственном пороге  
Владыка севера один в своем чертоге... (II, 2, 769).

Впервые Пушкин описывает царственных братьев одним и тем же словом. Однако Александр был «неподвижный страж», или «как неподвижный страж», а Николай выступает совсем в ином качестве: «Европы страж могучий» или «России страж могучий» (III, 2, 1045). Впрочем, слово страж, которое возникло, возможно, как реминисценция более раннего стихотворения, вскоре исчезает. В белой редакции характеристика Николая приняла следующий вид:

И новый царь, суровый и могучий,  
На рубеже Европы бодро стал.

Один эпитет (бодрый, бодро) нам уже известен. Ср.: «Он бодро, честно правит нами». Зато два других эпитета появляются в описании Николая впервые.

Со времени «Стансов» и «Друзьям» прошло около десяти лет. Николай действительно стал могучим государем. Прошли победоносные войны с Персией и Турцией, увенчавшиеся Тукрманчайским и Андрианопольским мирными договорами. В 1831 беспощадно была подавлена революция в Польше, что вызвало, как мы помним, полное одобрение Пушкина. Николай собирался выступить против революционных движений во Франции и Бельгии. Он «готов был с полным бескорыстием стоять на страже восстановления нарушенного законного порядка»<sup>16</sup>.

Впечатляло и личное мужество императора. В 1830 году, как уже упоминалось, он приехал в смятенную, перепуганную холерой Москву. В 1831 г. он в Петербурге одним своим появлением усмирив пятитысячную толпу на Сенной площади, только что разгромившую холерные больницы и перебившую лекарей. Тогда же лич-

ным присутствием Николая был усмирен бунт в военных поселениях в Старой Руссе. Обо всех этих событиях Пушкин был хорошо осведомлен. Он часто упоминает их в «Дневнике» и в письмах 1831 года.

Русский государь стал не только могучим. В его облике явственно проступала *суровость*. Слово это часто встречается у Пушкина — 66 раз. «Словарь языка Пушкина» дает ему следующее толкование: «Лишенный душевной мягкости, строгий, жёсткий в обращении, поступках». Таким он и представлялся окружающим. Наблюдательный и умный Ф. Ф. Вигель пишет в своих воспоминаниях: «Он был необщителен и холоден, весь преданный чувству долга своего; в исполнении его он был слишком строг к себе и другим. В правильных чертах его белого бледного лица видна была какая-то неподвижность, какая-то безотчетная суровость»<sup>17</sup>.

Показательно, что маркиз де Кюстин очень часто употребляет это слово, суровый, суровость (*sévère, sévérité*), для характеристики Николая, описывая свои встречи с царем немного позже, чем были написаны стихи Пушкина, в 1839 году: «... le caractère dominant de sa physionomie est la sévérité inquiète, expression peu agréable...» (Ср. в русском переводе: «На лице его всегда замечаешь выражение суровой озабоченности — выражение, надо признаться, мало приятное...»). Вот еще несколько характерных замечаний Кюстина: «Чаще всего на этом лице написана суровость»; или такое, где умно и тонко сравниваются царственные братья: «Император Александр был всегда очарователен, но иногда неискренен; император Николай более прям, но неизменно суров, причем суровость эта иногда сообщает ему вид жестокий и непреклонный; в нынешнем самодержцье меньше обаяния, но больше силы...»<sup>18</sup>.

Видимо, суровость, была доминантной чертой облика императора. Она бросалась в глаза многим. Ее и запечатлел в стихах Пушкин. Вряд ли императору нравилось подчеркивание суровости в описаниях его облика. И Жуковский, видимо, это знал или чувствовал. Он побоялся, публикуя стихи Пушкина, сохранить выразительный и многозначительный эпитет. Печатая стихотворение в «Современнике» уже после смерти автора, Жуковский переделал пушкинскую строку, заменив слово *суровый* невыразительным эпитетом:

И новый царь, бесстрашный и могучий,  
На рубеже Европы бодро стал;

.....<sup>19</sup>.



Таким образом, в одном из последних стихотворений Пушкин начал формулировать новую, вполне амбивалентную (хотя, кажется, ностальгически начинал предпочитать пору своей юности) оппозицию двух царствований. Оба царствования сопровождались страшными, глобальными потрясениями. Особенно первое:

Игралища таинственной игры,  
Метались смущенные народы;  
И высились и падали цари...

Однако и новое царствование опять несет людям политические катастрофы:

[И над землей] сошлись новы тучи  
И ураган их...

И оба царя теперь выступают у Пушкина равноправными деятелями своих эпох. Прекрасного Агамемнона, спасителя свободы европейских народов, сменил новый царь, могучий и суровый, который, с точки зрения поэта, может противостоять новым тучам и ураганам, сохранить и поддержать существующий порядок. Он не позволит миру низринуться в бездну анархии.

Так в исторической перспективе Пушкин начинает ставить рядом царственных братьев, отдавая должное каждому из них. Процесс этот остался незавершенным...



*ЧАСТЬ ВТОРАЯ*

**НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ЗАМЫСЛЫ**



В Михайловском в конце 1824 или в начале 1825 (декабрь—февраль) Пушкин набрасывает неразборчивые заметки, получившие от редакторов сочинений Пушкина название «Воображаемый разговор с Александром I». Мы не будем сейчас целиком анализировать этот очень важный для биографии Пушкина документ, в котором поэт и царь как бы меняются местами: «Когда бы я был царь, я позвал бы Александра Пушкина...» (XI, 23). Нас интересует лишь его последний абзац, состоящий из пяти строк.

Достаточно спокойный, хотя и острый, разговор, во время которого «Царь» даже готов был помиловать «Пушкина» (один из вариантов: «я бы тут отпустил Пу<ушкина>», XI, 298), неожиданно завершается ссорой. «Царь» ссылает «Пушкина» в Сибирь, где бы тот написал поэму о Ермаке.

Попробуем дать транскрипцию этого последнего абзаца в той последовательности, в какой он вышел из-под пера Пушкина<sup>1</sup>. Наше чтение несколько отличается от принятого в академических изданиях. Текст Пушкина набран курсивом. Редакторские добавления, как обычно, отмечены угловыми скобками.

*Тут бы П<ушкин> разгорячился и наговорил мне <т. е. царю. — М. А.> довольно много лишнего, хоть отчасти и правды.*

Затем Пушкин зачеркивает довольно и, видимо, желая сохранить тон доброжелательного разговора, зачеркивает и последнюю часть фразы: *хоть отчасти и правды.*

*Я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал по<эму> (начатое слово поэма тут же зачеркивается) эпич.<ескую> (слово эпич. — зачеркивается) поэму Ермак или Кочум мерной (?) формой (?) и... (вероятно, предполагалось: и рифмами. Слово рифмы появится в продолжении этой фразы, но пока Пушкин только зачеркивает мерной формой и пишет вместо этого: хореями).*

То ли Пушкин шутил, то ли у него действительно возникла мысль написать эпическую поэму хорейскими стихами, но затем формулируется более общая идея. Слово *хорейми* зачеркивается и над ранее зачеркнутым словом *мерной* Пушкин пишет *годным* (?) и продолжает фразу: *годным размером с рифмами*.

С. М. Бонди, готовивший текст в Большом Академическом издании Пушкина, предлагал иное чтение и несколько иную последовательность слоёв:

1. *написал* <...> *мерами* (зачеркнуто)
2. *написал* <...> *русской* (зачеркнуто)
3. *написал* <...> *экз<аметрами>* (зачеркнуто)

И, наконец, верхний слой черновика читал:

*написал поэму Ермак или Кочум русским <?> размером с рифмами*.  
(XI, 24, 298).

Б. В. Томашевский читал верхний слой как:

*написал* <...> *разными размерами с рифмами*<sup>2</sup>.

Наша последовательность:

1. *написал* <...> *мерной формой* (зачеркнуто)
2. *написал* <...> *хореем* (зачеркнуто)

Верхний слой:

*написал* <...> *годным <?> размером с рифмами*

Слово *годным* <?> Бонди предположительно читал как *русским* <?> размером (XI, 24), а Б. В. Томашевский как *разными* <?> размерами. Оба чтения неприемлемы прежде всего потому, что буква **р** в начале слова не читается, она больше похожа на г. Третья буква достаточно ясно похожа на д. Остальные буквы в скорописи практически не различимы.

*Годный* встречается в словаре Пушкина 11 раз. Здесь оно означает: пригодный, тот, который окажется наиболее приемлемым, в таком значении оно и встречается у Пушкина. Здесь оно, может быть, звучит несколько неуклюже, но не забудем, что перед нами черновик, не законченный, не обработанный, брошенный. Автор записывает первое приходящее на ум слово, чтобы потом, может быть, заменить его более приемлемым.

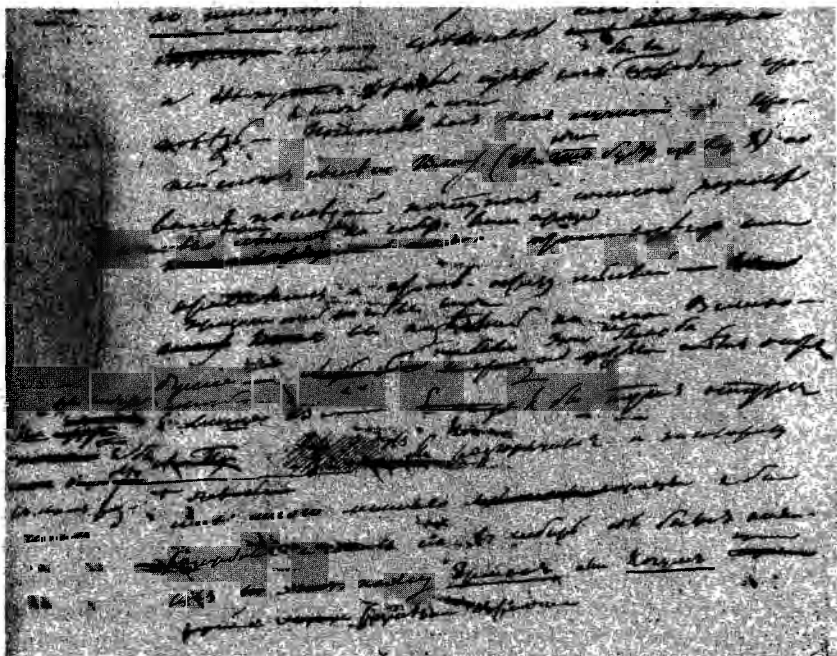
Чтение *хорейми* представляется более предпочтительным, чем *экз<аметрами>*. Оно не требует редакторских конъектур, а первая буква достаточно отчетливо читается как х.

Итак, верхний (последний) слой черновика, на котором оборвалась работа, выглядит в нашей интерпретации следующим образом:



*Ермакъ  
покоритель Сибири.*

Ермак <?>. — Сибирский вестник, издаваемый Григорием Спасским.  
СПб., 1818. Фронтиспис



<Воображаемый разговор с Александром I>. (Черновой автограф) —  
А. С. Пушкин. Рабочие тетради. Т. IV.  
СПб.; Лондон, 1996. ПД, 835, л. 47



Тут бы П.<ушкин> разгорячился и наговорил мне много лишнего. Я бы сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму «Ермак» или «Кочум» годным <?> размером с рифмами.

В процессе записи были отвергнуты важные для наших дальнейших рассуждений варианты: *эпическую поэму, мерной формой, хорееми.*

Рассматриваемый нами последний абзац «Воображаемого разговора» вполне можно было бы счесть только горькой шуткой михайловского узника<sup>3</sup>. Однако имеется письмо Е. А. Баратынского к Пушкину от 5—20 января 1826 года: «Мне пишут, что ты затеваешь новую поэму Ермака. Предмет истинно поэтический, достойный тебя. Говорят, что когда это известие дошло до Парнасса, и Камюэнс вытарашил глаза. Благослови тебя Бог и укрепи мышцы твои на великий подвиг» (XIII, 254).

Из этого письма возникает множество вопросов, на большинство из которых ответить очень трудно или вообще невозможно. Кто пишет Баратынскому? Нет ли шутки в словах *достойный тебя, великий подвиг* и пр.? Тем не менее, можно думать, что в течение 1825 года (с конца 1824 и до начала 1826) в сознании Пушкина действительно существовал замысел поэмы, главным героем которой должен бы был стать покоритель Сибири Ермак Тимофеевич (ум. 1584).

Следует сопоставить свидетельство Баратынского с любопытной фразой в письме Пушкина к Н. И. Гнедичу от 23 февраля 1825 года: «... отдохнув после “Илиады”, что предпримете вы в полном цвете гения, возмужав во храме Гомеровом, как Ахилл в вертепе Кентавра? Я жду от вас эпической поэмы. *Тень Святослава скитается не воспетая*, писали вы мне когда-то. А Владимир? а Мстислав? а Донской, а Ермак? а Пожарский? История народа принадлежит Поэту» (XIII, 145). Как видим, Пушкин считал Ермака той важной исторической личностью, которая вполне достойна стать героем эпической поэмы. Можно даже полагать, что Пушкин, называя темы эпических поэм другому поэту, думал и о собственных планах. Возможно, о своем замысле такой поэмы.

Попробуем поразмышлять над теми скудными сведениями, которые у нас имеются. Прежде всего, от кого Баратынский узнал о замысле Пушкина? В конце ноября Пушкин написал Баратынскому письмо (не сохранилось), в котором сообщал, что «сочинил романтическую трагедию “Борис Годунов”, выражал сомнение в том, что Баратынский оценит ее высоко вследствие своих классических пристрастий <...> приглашал приехать в Михайловское»<sup>4</sup>. Может быть, в этом письме Пушкин, противопоставив романтической драме классическую поэму, упомянул о «Ермаке».

Этому предположению, однако, противоречат слова Баратынского: «Мне пишут». Следовательно, не сам Пушкин сообщил Баратынскому о своем замысле. Таким информантом мог быть Дельвиг. В письме есть два слова: «мне пишут» и «говорят». Т. е. Баратынскому кто-то написал, и о замысле уже известно, он обсуждается.

С 8 по 25 апреля 1825 Дельвиг гостил в Михайловском у Пушкина. Пушкин читал ему «Годунова»<sup>5</sup>. Кажется, они обсуждали такую возможность: летом к Пушкину придут Дельвиг, Баратынский, Кюхельбекер<sup>6</sup>. Вполне вероятно, что именно с Дельвигом Пушкин мог поделиться замыслом «Ермака».

Дельвиг и Баратынский с давних пор были друзьями. Естественно бы было для Дельвига сообщить Баратынскому о пушкинском замысле. Непонятно только, почему он сделал это так поздно. Может быть, тема обсуждалась в не дошедших до нас письмах? Далее из письма Баратынского следует, что замысел Пушкина обсуждается в московском кругу («говорят, что...»). Круг общения Баратынского во второй половине 1825 г. в Петербурге и Москве: Вяземский, Погодин, Л. Пушкин, Плетнев, Рылеев и др.<sup>7</sup> В октябре Вяземский сообщает Пушкину из Москвы: «Здесь Баратынский на четыре месяца» (XIII, 239). Так что возможности обсуждения нового замысла у друзей поэта имелись. Однако никаких следов этих разговоров о пушкинской поэме в дошедших до нас материалах нет.

В письме от 22 и 23 апреля 1825 г. Пушкин требует от брата книг и в числе прочих называет «Сибирский вестник — весь» (XIII, 163). Полный комплект этого журнала сохранился в библиотеке Пушкина<sup>8</sup>. В этом журнале печатались отрывки из неопубликованных летописей, описания путешествий и пр. Имя Ермака там, естественно, часто упоминалось. Н. В. Цейтц вполне справедливо предположила, что интерес Пушкина к журналу был вызван замыслом поэмы о Ермаке<sup>9</sup>.

Как мы говорили, набросок Пушкина датируется декабрем 1824 — февралем 1825 (XI, 531). Как раз в это самое время (декабрь 1824) Пушкин начал работу над «Борисом Годуновым». («Воображаемый разговор» находится в рабочей тетради сразу после первой сцены «Годунова».) Параллель ситуаций здесь очевидная. Царь сослал поэта в деревенскую глушь, в места, где разворачивались события русской истории. Поэт пишет трагедию о гибели царя, о русском бунте и пр. Он пишет романтическую трагедию, реформируя театральные традиции классицизма, создавая новый романтический театр. Концовка «Воображаемого разговора» звучит саркастически: пра-

вительство как будто заботится о развитии дарования поэта, подбрасывая ему новые темы и новые гонения.

Ссылка в Сибирь как бы должна снова побудить Пушкина к созданию художественного произведения на местном материале. Таким материалом может стать завоевание Сибири, т. е. событие общенационального значения. Такое событие, согласно поэтике классицизма, может стать сюжетом героического эпоса. Как в Михайловском поэт реформирует трагедию классицизма, так во второй ссылке он проведет реформу и создаст образец новой русской эпической поэмы.

Это, с одной стороны, ситуация автобиографическая: поэт в изгнании пишет (или напишет), то чего от него ждет правитель, чтобы получить прощение и вернуться. С другой стороны, это ситуация и условно литературная: сосланный Овидий писал много и жалобно с берегов Понта Эвксинского, умоляя Августа о прощении.

Как хорошо известно, судьба Овидия сильно занимала Пушкина в годы южной ссылки. Он постоянно сравнивал себя с изгнанным римским поэтом. Овидий с берегов Черного моря посылал в Рим «Скорбные элегии» и «Письма с Понта». Русский поэт должен был в Сибири написать не печальные жалобы, какие посылал Овидий из своего изгнания, а величественную поэму, эпопею, созданную в системе поэтики классицизма, и тем заслужить прощение.

С точки зрения выполнения такой общегосударственной задачи, выбор темы был как нельзя более удачным. По хрестоматийному определению М. М. Хераскова, «эпическая поэма включает какое-нибудь важное, достопамятное, знаменитое приключение, в бытиях мира случившееся и которое имело следствием важную перемену, относящуюся до всего человеческого рода, — таков есть “Погубленный рай” Мильтонов; или воспевает случай в каком-нибудь государстве происшедший и целому народу к славе, успокоению, или наконец, ко преображению его послуживший, — такова должна быть поэма “Петр Великий”, которую, по моему мнению, писать еще не время»<sup>10</sup>.

Такие эпические поэмы в России существовали. Они были написаны силлабо-тоническими стихами, обычно шестистопным ямбом, имитировавшим французский Александрийский стих, с парной рифмой. К ним относится незаконченная поэма Ломоносова «Петр Великий», «Россиада» Хераскова и около десятка подражаний Херасковской эпопее, вроде «Сувороиды, поэмы героической» И. Завалишина (1804). Появление таких поэм продолжалось вплоть до 1836 г. («Александриада» Д. Кашкина)<sup>11</sup>.

Выбор темы у Пушкина был, таким образом, вполне оправдан: описываемые события достаточно далеко отстояли от современности (Херасков считал, что описывать деяния Петра еще не пришло время, а у Пушкина действие было отнесено к тому же шестнадцатому веку, царствованию Ивана Грозного, как и «Россиада» Хераскова). В то же время он собирался описать достаточно судьбоносное для истории России событие: присоединение громадного Сибирского царства.

Теперь попробуем сделать некоторые заключения об этом неосуществленном пушкинском замысле и поразмышлять, почему он остался не только не осуществленным, но и неначатым.

Наши размышления будут касаться следующих аспектов замысла:

1. Источники и проблематика поэмы о Ермаке,
3. Личность главного героя,
2. Идеологический аспект,
4. Метрика и рифмовка.

Содержанием поэмы, несомненно, должно было стать легендарное завоевание Сибири казачьим атаманом Ермаком, предводителем горстки храбрецов. Пушкин очень хорошо знал знаменитый сборник Кирши Данилова, вышедший вторым изданием в 1818 г. По всей вероятности, сборник имелся в распоряжении поэта в Михайловском<sup>12</sup>. В этом сборнике находятся три песни: «На Бузане-острове», «Ермак взял Сибирь», «По край моря синего стоял Азов-град». В этих песнях рассказывается о разбойничьих подвигах казачьего атамана, бегло о покорении Сибири, о посольстве казаков во главе с Ермаком к Ивану Грозному. Могла быть известна Пушкину и песня «Ермак у Ивана Грозного», напечатанная Корниловичем в его книге «Русская старина»<sup>13</sup>. Таким образом, Пушкин был знаком с поэтическими представлениями народа о легендарном завоевателе.

Литературных обработок сюжета о Ермаке к середине 1820-х гг. существовало довольно много<sup>14</sup>. Трудно сказать, какие из них читал Пушкин.

Так, небольшая (восемь страниц) романтическая поэма «Ермак», написанная давним и хорошим знакомцем Пушкина А. А. Шишковым и напечатанная в 1825 году, вероятно, была известна поэту. Поэма представляет собой рабское подражание «Кавказскому пленнику»; а действие ее происходит в Крыму <sic!>, как в «Бахчисарайском фонтане». Ермак здесь не отважный воитель, покоритель новых земель, а неудачливый любовник, захваченный в плен братом своей возлюбленной. Он в темнице. Далее сюжет затемнен, как обычно в романтических поэмах у Байрона, Пушкина и их подражателей.

Возлюбленная, кажется, освобождает его, сама, кажется, погибает, как в «Кавказском пленнике», а может быть, они оба погибают:

Где ж Ермак?

Когда ночной прояснел мрак  
Молчало все — его не стало;  
В темнице мрачной тишина;  
Лишь ветер резкой у окна  
Качал Теары покрывало...<sup>15</sup>

Естественно, что подобное сочинение, не имеющее никакого отношения ни к истории, ни к историософским размышлениям, которыми был занят Пушкин, работая над «Годуновым», не могло всерьез заинтересовать поэта.

Наиболее значительными были две литературные обработки сюжета о гибели сибирского завоевателя. Романтическая гибель Ермака в бурной реке во время ночного нападения врагов была описана в известной балладе И. И. Дмитриева «Ермак» (1794). Тому же событию была посвящена дума Рылеева «Смерть Ермака» (1822). Оба этих произведения не нравились Пушкину. «“Ермак” такая дрянь, что мочи нет» (XIII, 381), — писал он из Одессы князю Вяземскому 4 ноября 1823 о балладе Дмитриева. А о думах в целом отзывался резко отрицательно: «... слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой: составлены из общих мест...» (XIII, 175); «...Думы дрянь...» (XIII, 184). Таким образом, литературные обработки темы Пушкину не нравились, и подвиг Ермака, с его точки зрения, не был еще достаточно хорошо интерпретирован поэзией. Недаром, как мы видели, писал он Гнедичу, что тень Ермака «скитается не воспетая».

Основным печатным источником о завоевании Сибири до появления «Истории» Карамзина являлась книга знаменитого историка Миллера «Описание Сибирского Царства...». Миллер рассказал о завоеваниях Ермака спокойно, строго и добросовестно. Он исключил романтические эпизоды вроде женитьбы Ермака на туземной принцессе, но сохранил зафиксированные летописями рассказы о великанах, таинственных предсказаниях, зловещих видениях, чудесах на могиле Ермака<sup>16</sup>. По материалам Миллера была составлена И. Э. Фишером «Сибирская история», которая вышла в Санкт-Петербурге на немецком языке, а потом по-русски в 1774<sup>17</sup>. Карамзин ссылается на обе эти книги в примечаниях (IX, 144)<sup>18</sup>. Книга Миллера сохранилась в библиотеке Пушкина<sup>19</sup>. Правда, неизвестно, когда она туда попала и была ли в распоряжении Пушкина в Михайловском. Однако наличие в пушкинской библиотеке

книги Миллера и «Сибирского вестника» свидетельствует об устойчивом интересе поэта к завоевателю Сибири.

В то же время можно уверенно полагать, что основным источником для Пушкина, если бы он начал писать поэму о Ермаке, стала бы «История государства Российского» Карамзина. В это самое время он работает над «Борисом Годуновым», детально следуя в содержании драмы одиннадцатому тому «Истории государства Российского». В классическом комментарии Г. О. Винокура к «Борису Годунову» читаем: «Пушкин добросовестно пересказал в фактической части своей трагедии Карамзина... построил сюжет своей трагедии почти исключительно на материале X и XI тт. “Истории государства Российского”, лишь с некоторыми незначительными отступлениями от него. <...> между “Борисом Годуновым” и “Историей государства Российского” обнаруживается целый ряд самых близких текстуальных, иной раз почти дословных совпадений...»<sup>20</sup>.

17 августа 1825 поэт пишет Жуковскому: «...читаю только Карамзина да летописи. Что за чудо эти 2 последние тома <т. е. 10 и 11. — М. А.>» (XIII, 211). Логично предположить, что тот же источник лег бы в основу задуманной исторической эпопеи и был бы так же тщательно и подробно использован Пушкиным. Таким образом, соответствующие страницы Карамзина могут дать нам детальное представление о содержании будущей поэмы.

Рассказ о завоевании Сибири находится в девятом томе «Истории» Карамзина. Все вышедшие к тому времени тома (I—IX) «Истории», несомненно, были в распоряжении Пушкина в Михайловском<sup>21</sup>. Эти книги, к великому сожалению, не сохранились<sup>22</sup>.

Истории Ермака посвящена 6-я глава знаменитого IX тома «Истории государства Российского» (вышел 9 мая 1821 года<sup>23</sup>), в которой рассказывается о деяниях и злодеяниях Ивана Грозного. Том этот вызвал общее восхищение современников. Вот лишь один хорошо известный отзыв Рылеева: «Ну, Грозный! Ну, Карамзин! Не знаю, чему больше дивиться, тиранству ли Иоанна или дарованию нашего Тацита»<sup>24</sup>.

Конец девятого тома резко отличался по настроению, общей тональности повествования от жуткого рассказа об опричном терроре. В главе шестой этого тома говорится о завоевании Сибири. Карамзин с его богатым воображением и громадным художественным талантом увидел, что подвиги Ермака как будто напрашиваются в сюжет исторического художественного повествования. В его изложении глава превратилась в величественную, написанную прекрасной прозой поэму.

Заметим, кстати, что в многотомной и подробной «Истории России» С. М. Соловьева история Ермака рассказывается кратко и

сухо. Она разорвана смертью Ивана Грозного на два этапа. И последний этап жизни славного завоевателя, и его поэтическая смерть изложены беглой скороговоркой. Для Соловьева, большого мастера исторического изложения, история была собранием фактов, требующих объективного описания и осмысления. Карамзин как историк всегда оставался поэтом. Его стиль, яркий рассказ о событиях, выразительность повествования сами подсказывали Пушкину идею создания народной исторической эпопеи.

Вот как начинается Карамзин свой рассказ о ермаковой одиссее: «Начиная описание Ермаковых подвигов, скажем, что они, как все необыкновенное, чрезвычайное, сильно действуя на воображение людей, произвели многие басни, которые смешались в преданиях с истиною и под именем летописей обманывали самих Историков. Так, например, сотня Ермаковых воинов, подобно Кортецовым или Пизарровым, обратились в тысячи, месяцы действий в годы, плавание трудное в чудесное» (Карамзин, IX, 226—227).

К этому началу мы еще вернемся. А пока напомним читателю содержание рассказа Карамзина — ведь, по всей вероятности, это и есть сюжет ненаписанной Пушкиным поэмы. Изложение Карамзина можно сгруппировать в последовательно сменяющие друг друга сюжеты, расположенные в хронологическом порядке. Эти сюжеты могли бы соответствовать песням будущей эпопеи. (Напомним, что задуманное произведение в «Воображаемом разговоре» сначала называлось «эпической поэмой, потом просто «поэмой».) Рассказав кратко историю знакомства русских с Сибирью и, по обыкновению, снабдив свой рассказ обильными выписками из источников, Карамзин переходит к началу покорения Сибири.

Итак, первый этап. По приглашению купцов Строгановых известный разбойничий атаман Ермак Тимофеевич и некоторые его подручные с небольшим войском (около 700 человек) перешли на службу к этим купцам. Задачей их было покорить обширные земли и обезопасить существование русских колониальных поселений за Уральским хребтом.

Уже в самом начале своего повествования Карамзин снова называет Ермака «Русским Пизарро» (Карамзин, IX, 226). Такое сопоставление русского завоевателя с испанскими конквистадорами выглядит вполне естественным: русский воитель, «не менее Испанского грозный для диких народов...» (Карамзин, IX, 226), покоряет обширные неведомые пространства. В то же время такое сопоставление влекло за собой многие литературные реминисценции, которые могли отразиться и в пушкинском замысле.

Второй этап (1581). Казаки поднимаются вверх по реке Чусовой и ее притокам. Захватывают городки туземцев. В плен попадает сановник Кучума Таузак. Этот сановник впоследствии провозгласил, что исполняется предсказание сибирских волхвов о падении царства Сибирского от «людей чудесных, воинов неодолимых, *стреляющих огнем и громом смертоносным* навьлет сквозь латы» (Карамзин, IX, 228). В кровопролитном сражении казаки захватывают город Искер, где находят множество золота, серебра, парчу, драгоценности, меха. Туземцы покоряются. Ермак проявляет большую государственную мудрость в управлении завоеванной землей и строгой организации своего немногочисленного войска. Ранней весной Ермак взял в плен могучего воина, племянника Кучума Маметкула. Кучум сильно ослаблен и потерей своего лучшего полководца, и нападениями с тыла.

Карамзин снова отмечает сходство Ермака с конквистадорами: «Завоевание Сибири во многих отношениях сходствует с завоеванием Мексики и Перу: также горсть людей, стреляя огнем, побеждала тысячи, вооруженные стрелами и копьями...» (Карамзин, IX, 228).

Третий этап (1582). Плавание по Иртышу на север. Казаки встречают остяков, вогуличей, которые поклоняются идолам. Один золотой кумир вывезен из древней России во время крещения. Ермак захватывает города и крепости. Великодушен к побежденным. Достигнув Оби, взглянув на мерзлую тундру, усеянную мамонтовыми костями, «ужасное кладбище Природы», Ермак воротился в Искер. Отсюда он обращается к царю с просьбой принять в свое подданство Царство Сибирское. Царь милостиво принял послов, послал в Сибирь подмогу и богатые дары Ермаку (две брони, серебряный кубок, шубу с плеча царского), атаманам и войску. Ермака велено было именовать князем Сибирским. Тем временем казаки завоевывали новые земли. Там они встретили великана в две сажени ростом (4 м. 26 см.). Историк, естественно, приводит этот факт как пример «баснословия».

Четвертый этап (1583—1584). Ермака начинают преследовать неудачи. Его сильно поредевшее войско страдает от болезней (цинга) и голода. Изменнически был зарезан с сорока казаками ближайший сподвижник Ермака, посол к Ивану Грозному, атаман Иван Кольцо. Все покоренные народы вдруг восстали. Их войска осадили Искер. Казалось, развеялись вдруг, как воздушные замки, все славные завоевания и воздвигнутая волей и удачей новая русская земля: «Царство и подданные вдруг исчезли; несколько саженей деревянной стены с земляными укреплениями составляли единственное владение казаков!» (Карамзин, IX, 238).



Пятый этап (1584). Однако Ермак со своими опытными воинами сумел разбить осаждающих. Он не только снял осаду, но и покори́л еще несколько независимых племен. Местный князь прислал победителю в дар свою дочь (на этом романтическом эпизоде мы остановимся несколько позднее.)

Последний этап (1584). Гибель Ермака. С пятьюдесятью казаками Ермак попал в засаду на берегу Иртыша. Поэтическое описание гибели Ермака перекликается с балладой И. И. Дмитриева «Ермак» (1795), которую Карамзин читал еще в рукописи. Эта баллада и рассказ Карамзина отразились позднее в знаменитой думе Рылева «Смерть Ермака». Вот как описывает эту трагедию Карамзин: «Лил сильный дождь; река и ветер шумели ... Ермак ... воспрянул... взмахом сабли еще отразил убийц, кинулся в бурный глубокий Иртыш и, не доплывя до своих лодок, утонул, отягченный железною броней, данною ему Иоанном...» (Карамзин, IX, 240). На могиле Ермака совершались многие чудеса: сиял яркий свет и пылал столп огненный (Карамзин, IX, 241).

Таков был материал, круг сюжетов, которые Пушкин мог держать в голове, когда размышлял о своей эпической поэме. Форма же ее, композиционные приемы, по мысли поэта, вероятно, восходили к другому знаменитому образцу, который не случайно всплыл в цитированном в начале нашей работы письме Баратынского: «...когда это известие дошло до Парнасса, и Камозэнс вытаращил глаза».

Имя Камозэнса было хорошо знакомо Пушкину. С одной стороны, он был признанным литературным авторитетом, его поэма «Лузиады» входила в канонический список великих национальных эпоей: Гомера, Вергилия, Мильтона, Тассо и пр. Вместе с тем, поэма Камозэнса не вписывалась в строгий канон классически «правильных» композиционных построений. Тредиаковский отказывал «Лузиадам» в праве считаться истинной «Ироической поэмой»<sup>25</sup>. В известном «Словаре» Н. Остолопова, отражающем каноны классицизма, отмечается несоответствие поэмы Камозэнса этим канонам. «...Камозенс в своей Лузиаде поступил еще страннее: у него в одно и то же время являются Иисус Христос, Святая Дева, Венера и Бахус ... Венера же принимает на себя успех в предприятиях Португальцев, которое состоит в распространении Христианской религии! <...> не должно брать ее <поэму «Лузиады». — М. А.> за образец в употреблении чудесного, которое во многих местах кажется чудовищным»<sup>26</sup>. И патриарх русского классицизма Херасков, уже не чуждый предромантическим веяниям, видел в «Лузиадах», наряду с нарушением строго классицистического порядка,

незурядные поэтические достоинства: «...повествование, живою кистью писанное, сладостное, привлекательное; это есть галерея преизящных картин, *непорядочно расставленных* <курсив мой, — М. А.>, но каждая из них восхищает, трогает, удивляет и в память врезывается»<sup>27</sup>.

Живой, непринужденный, не скованный жесткими композиционными обручами поэтический рассказ, написанный к тому же не гекзаметром или александрийским стихом, а романтическими октавами, как у Тассо или Ариосто, как нельзя лучше подходил в качестве образца для романтического национального эпоса.

В то же время сама судьба Камозэнса была прекрасной иллюстрацией романтического тезиса о трагической судьбе гениального поэта, не понятого современниками и по достоинству оцененного лишь потомками. В одном из самых ранних стихотворений, «К другу стихотворцу», Пушкин вспомнил несчастную судьбу великого португальца: «Камозэнс с нищими постелю разделяет...» и в начальной редакции пояснил в примечании поэтический текст фактом из биографии поэта: «Автор “Лузиады” умер в гофшпитале, питаясь милостынею» (I, 23, 270). История Камозэнса была широко и хорошо известна. Пушкин наверняка слышал о ней и на лицейских лекциях профессора Кошанского, и читал в многочисленных компиляциях и в биографиях Камозэнса на французском и русском языках<sup>28</sup>. Он мог ощущать сходство своей поэтической судьбы не только с Овидием, но и с Камозэнсом.

В поэме Камозэнса рассказывается об открытии морского пути в Индию (1497—1499) португальским флотоводцем Васко да Гама. Это знаменитое путешествие было совершено почти на сто лет раньше похода Ермака, но как все подобные завоевания и военные авантюры, эти два события достаточно похожи. Недаром Карамзин, как мы видели, настойчиво сравнивал Ермака с конквистадорами (Карамзин, IX, 226—227).

Васко да Гама, как и Ермак, плывет в неведомые земли. Ермак по реке, да Гама — по океану. Местное население иногда встречает пришельцев благосклонно, иногда (чаще) настроено враждебно, и завоевателям приходится сталкиваться с вероломством и обманом. Достигнув Калькутты, да Гама вступил в переговоры с местным царьком, но должен был покинуть Калькутту в результате сложных интриг местных мусульман, не желавших вторжения европейцев на выгодный индийский рынок. Закупив большое количество пряностей, Васко возвратился в Лиссабон, потеряв один из трех кораблей и более двух третей команды. Продажа перца и других пряностей покрыла расходы по экспедиции.

Камознс очень точно передает основные события замечательного путешествия. Под его пером занимательные сами по себе происшествия приобретают яркий, сказочный романтический характер. Камознс ориентируется на классические эпические поэмы. Главным примером для него становится «Энеида», точнее, шесть первых песен знаменитой поэмы, рассказывающие о странствиях Энея до прибытия в Италию.

Корабли Васко да Гамы подвергаются опасности на Мозамбике, король Момбасы готовит ему смертельную ловушку, но его спасают Венера и nereиды. Подробно рассказывается о заговоре против португальцев в Калькутте. Боги (как у Гомера и Вергилия) постоянно вмешиваются в приключения, чтобы помогать или мешать отважным плователям. Рассказ перемежается историческими отступлениями, повествованием о славных страницах португальской истории (что соотносится с историческими экскурсами, правда, обращенными в будущее, в «Энеиде»).

Вполне можно представить себе повествование подобного типа о славном походе Ермака. Сибирский герой тоже плывет, тоже подвергается нападениям врагов. Появлению португальцев у берегов Индии предшествовало предсказание брахманов о приходе жестоких, могучих и непобедимых врагов<sup>29</sup>. Волхвы местных сибирских племен узнают в пришельцах исполнение давнего пророчества о гибели Сибирского царства. Эту же гибель предвещают небесные знамения: «... на воздухе являлся город с Христианскими колокольнями, вода в Иртыше казалась кровавою, Тобольский мыс выбрасывал золотые и серебряные искры...» Священная хоругвь сама двигалась над казачьими войсками, а у татар от какого-то страшного видения отнимались руки и пр. (Карамзин, IX, 15, 157, № 670, 678). Эти чудеса Карамзин-историк помещает в примечания, а Камознс-поэт включает в текст поэтического повествования. Чудесами сопровождается движение обоих героев, оба преодолевают измены, обман и т. п.

Таким образом, и Карамзин, и Камознс могли дать такой могучий толчок поэтическому воображению, которого вполне хватило бы на грандиозную эпическую поэму.

Как мы говорили, Пушкин мог быть занят размышлениями об эпической поэме в 1825 году. Таким образом, размышления над «Ермаком» полностью совпадают по времени с работой над «Борисом Годуновым»: декабрь 1824 — ноябрь 7, 1825 (VII, 377). «Воображаемый разговор» записан в рабочей тетради сразу после первой сцены трагедии. В ноябре 1825 трагедия была уже готова (дата в конце белого автографа: 7 ноября 1825), о чем счастливый автор

сообщал П. А. Вяземскому в известном письме: «Трагедия моя кончена; я перечитал ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал, ай-да Пушкин, ай-да сукин сын!» (XIII, 239).

Друзья надеялись, что «Борис Годунов» помирит Пушкина с правительством. Жуковский писал: «Ты... напишешь такого Годунова, что у нас всех будет душа прыгать; слава победит обстоятельства» (XIII, 230). Пушкин относился к этим надеждам весьма скептически. Он писал Вяземскому: «Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию — навряд, мой милый» (XIII, 240). Скептицизм этот был вполне оправдан. С одной стороны, в трагедии, хотя Пушкин к этому вовсе не стремился, можно было углядеть намеки на Александра I, причастного к убийству отца (Годунов — тоже цареубийца). С другой стороны (и это важнее), «Борис Годунов» — одно из самых пессимистических творений Пушкина. Читатель, только что познакомившийся с гениальными томами Карамзина, видел в трагедии, как кровавый террор эпохи Грозного сменялся убийством его сына, а затем убийством детей Годунова, а там, в зловещем молчании народа (или в его радостном крике, приветствующем убийцу<sup>30</sup>) проглядывали ужасы наступающего смутного времени, а там маячила жестокая революция Петра I, а там... (много чего виделось и предчувствовалось гениальным поэтом).

Это главное настроение своей трагедии Пушкин, несомненно, понимал уже в начале работы. Другое дело поэма о Ермаке. Читая девятый том Карамзина, Пушкин не мог не почувствовать различия между трагическими страницами, описывающими опричный террор, и светлым былинно-сказочным описанием подвигов Ермака.

В свое время Н. Эйдельман удивительно точно заметил: «Последние главы девятого тома, вольница Ермака, как бы выходят за пределы жутких казней и опричного мрака: *оставляют надежду*. Ермак почему-то особенно раздражил Карамзина-художника»<sup>31</sup>. Видимо, на какое-то время «раздразнили» эти страницы и воображение Пушкина, уже вполне погруженного в замысел «Бориса Годунова», тоже вдохновленного страницами карамзинской прозы.

В «Воображаемом разговоре», кажется, звучит такой подтекст: «Царь» ссылает «Пушкина» в Сибирь, а «Пушкин» там пишет поэму, которая может отвечать государственным идеологическим запросам. В таком случае будущий «Ермак» по своим идеям, по основному замыслу противостоял бы «Борису Годунову». Из этого расподобления можно сделать некоторые дополнительные заключения о ненаписанной поэме.

В «Борисе Годунове» Пушкин, опираясь на описание Карамзина, нарисовал выразительный портрет Самозванца: «... ростом он

мал, грудь широкая, одна рука короче другой, глаза голубые, волосы рыжие, на щеке бородавка, на лбу другая» (VII, 36). Это почти точная цитата из «Истории»: «Имея наружность некрасивую — рост средний, грудь широкую, волосы рыжеватые, лицо круглое, белое, но совсем не привлекательное, глаза голубые, без огня, взор тусклый, нос широкий, бородавку под правым глазом, также на лбу, и одну руку короче другой...» (XI, 76). Сокращая цитату из Карамзина, Пушкин делает только одну перемену, придавая Самозванцу еще большую непривлекательность. Рост у Отрепьева не «средний», а «малый». Эта деталь взята из свидетельства современника, помещенного Карамзиным в примечания: «Рострига возрастом мал, груди широки имея...» (Карамзин, IX, 205).

В то же время Карамзин любовно рисует привлекательный портрет покорителя Сибири. Такой портрет вполне подходит для протагониста величественной героической поэмы. Описание было повторено в предисловии к думе Рылеева: «Он был видом благороден, сановит, росту среднего, крепок мышцами, широк плечами; имел лице плоское, но приятное, бороду черную, волосы темные, кудрявые, глаза светлые, быстрые, зеркало души пылкой, сильной, ума пронизательного» (Карамзин, IX, 241).

Ермак ни в чем не походит на Гришку: благороден, росту среднего, лицо приятное, глаза живые (а не «без огня», как у Самозванца). Можно предполагать, что в поэме о Ермаке портрет, нарисованный Карамзиным был бы использован Пушкиным, как он сделал это в «Борисе Годунове». Кроме того, Пушкин мог увидеть портрет Ермака в журнале «Сибирский вестник». На фронтисписе первого номера журнала (СПб., 1818, ч. 1) помещена гравюра с подписью: «Ермак покоритель Сибири». Никаких сведений о художнике и происхождении этой гравюры в журнале не имеется. Изображенный здесь «Ермак» гораздо больше похож на испанского конквистадора, чем на русского казака: кудрявая борода аккуратно подстрижена, поверх брони, облекая шею, лежит красивыми складками белое жабо, богатая искусно заломленная шляпа с красивой брошью в виде цветка слегка прикрывает могучий лоб<sup>32</sup>.

Карамзин, описывая портрет Самозванца, заканчивает его размышлением о пылких страстях, темпераменте претендента: «... Отрепьев заменял сии невыгоды <своей наружности. — М. А.> живостью и смелостью ума, красноречием, осанкою благородною» (Карамзин, XI, 76). Живость и смелость, импульсивность характера самозванца, описанные Карамзиным, нашли у Пушкина художественное выражение в сцене у фонтана. Рискую всеми замыслами честолюбия, самую жизнь, под влиянием страсти, забывая обо

всем кроме, любви и ревности, Самозванец открывает Марине свое истинное имя.

Сцена эта, естественно, не имеет параллелей в повествовании Карамзина. Однако, если сравнивать по принципу расподобления Самозванца с героем задуманной Пушкиным поэмы, мы найдем в карамзинском рассказе о Ермаке любопытный эпизод, представляющий некоторую оппозицию поведению авантюриста-самозванца. Карамзин пишет, что местный князь Еличай «... вместе с данью представил Ермаку и юную дочь, невесту сына Кучюмова...» (Карамзин, IX, 239). Место для такого эпизода вполне нашлось бы в любой сказочной эпопее от Гомера до Ариосто. Русский герой, однако, в отличие от Одиссея, Энея, Руджьеро, не польстился на женские чары: «...целомудренный Атаман велел ей удалиться с ее прелестями опасными и с невинностью, как говорит Летописец» (Карамзин, IX, 239).

В отличие от самозванца хладнокровный государственный деятель, во главе горстки храбрецов покоряющий громадное царство, ведет себя мудро, взвешенно и осторожно. Он не желает осложнять отношения с местным царем, отнимая невесту у его сына, и отвергает красавицу, шадя ее целомудрие.

Наконец, существует еще один, и может быть, самый важный пункт противопоставления Самозванца и Ермака, делающий казачьего атамана истинным героем российской государственности.

Самозванец, не имея на то никаких прав, требует короны *для себя*, для удовлетворения личных страстей собственного честолюбия. Он понимает (а читатель знает), что ввергает свою страну в страшные бедствия. Зловещее дыхание приближающейся Смуты все время чувствуется на страницах пушкинской трагедии:

.... я предлог раздоров и войны.  
Им это лишь и нужно ... (VII, 65)  
Кровь русская, о Курбский, потечет! ...  
Я... вас веду на братьев; я Литву  
Позвал на Русь; я в красную Москву  
(вариант: в бедную Москву)  
Кажу врагам заветную дорогу! (VII, 67, 296).

Перед Ермаком тоже возникала перспектива стать повелителем, царем покоренных им обширных земель: «Здесь предупредим вопрос Читателя: столь поздно <т. е. успешно завершив большую часть своих завоеваний. — М. А.> известив Строгановых о своем успехе, не думал ли Ермак, обольщенный легким завоеванием Сибири <...> властвовать там независимо?» (Карамзин, IX, 234). Карамзин отвечает на этот вопрос отрицательно прежде всего потому, что умный

атаман понимал бесперспективность для горстки смельчаков на-долго укрепиться в завоеванной стране без помощи и поддержки метрополии. Правда, с другой стороны, если легенда справедлива, романтическая женитьба на дикарской принцессе, наверное, могла бы закрепить династические притязания храброго авантюриста. Во всяком случае, это открывало простор воображению поэта.

Так, в том же 1825 году этот мотив использовал А. С. Хомяков. В его трагедии побежденные аборигены предлагают Ермаку царскую корону. Ермак отказывается от предложения и, как у Карамзина, приносит завоеванное царство к ногам русского царя<sup>33</sup>.

За несколько лет до Карамзина и Хомякова та же тема (отказ Ермака от царской власти) возникла в пьесе, которую Пушкин вполне мог видеть. Автором ее был известный литератор, переводчик, крупный чиновник театрального ведомства Рафаил Зотов. Существуют не очень, впрочем, достоверные сведения о его знакомстве с Пушкиным. Поэт, кажется, посещал его дом<sup>34</sup>.

В 1818 году была поставлена пьеса Зотова «Ермак, или Завоевание Сибири»<sup>35</sup>. Пьеса шла в Петербурге 20, 23 мая и 16 июня 1818<sup>36</sup>.

Пушкин в это время находился в столице. Он был, как известно, страстным театралом. Присутствие его на представлении первой оригинальной пьесы, может быть, лично знакомого драматурга весьма вероятно.

В пьесе Зотова ничего не говорится о трагической гибели Ермака. В ней идет речь только о его впечатляющих победах. Основная идея пьесы: величие русского царя, безусловность его абсолютной власти. Идея эта естественна для 1818 года, когда еще совсем свежи были в памяти победы русского оружия и слава и авторитет Александра I были непререкаемы.

У Зотова Ермак решительно отказывается от руки дочери Кучума и от половины Сибирского царства. Он декларирует свое повиновение монарху и предлагает противнику перейти в подданство русского царя: «Вот мой ответ Кучуму. Я подданный великого любезного своего монарха <это несомненный намек на Александра I. Вряд ли можно было всерьез, даже до появления соответствующего тома “Истории” Карамзина, назвать Ивана Грозного — любезным царем, — М. А.>, и для меня славнее быть последним из его воинов, нежели первым в другом царстве... Я предлагаю ему <Кучуму. — М. А.> покровительство и милость русского царя, пусть ... сделает счастье земли своей, отдав в правление русского скипетра...» (л. 11). Пьеса завершается высокопарным монологом Ермака: «И горе дерзким, осмеливающимся нарушить священную тишину жилищ наших — и воззвать нас к мести. — Расточенные

силы его с ужасом познают могущество России — и со стыдом понесут позор побега в жилища свои. Слава, Слава России — и Богу ее» (л. 15 об.). Здесь герой окончательно забывает о завоевании Сибири, о грозном царе Иване Васильевиче и вполне в духе торжественных, архаизированных правительственных манифестов А. С. Шишкова прославляет разгром французского нашествия, ибо никакие сибирские татары, естественно, не нарушали «священную тишину» русских жилищ.

Пьеса Зотова, таким образом, являла прекрасный, хотя и неуклюжий, пример осовременивания и политизирования истории. Она представляла интересный материал для размышлений (возможно, иронических) о верноподданнической поэме, способной заслужить милостивое внимание царя. Может быть, думая о верноподданном Ермаке, не похожем на авантюриста-самозванца, Пушкин вспомнил о пьесе Рафаила Зотова.

Можно полагать, что в пушкинской поэме (в полном соответствии с историей и рассказом Карамзина) Ермак должен был поступить прямо противоположно тому, что совершил Самозванец. Из чисто патриотических побуждений он, как это и описано у Карамзина, вручал Государю новое обширное пространство со словами: «Новое Царство послал Бог России» (IX, 235). Карамзин описал радостное празднество, отметившее новые территориальные приобретения после многих трагических неудач конца царствования Ивана Грозного: «Государь и народ *воспрянули духом*. <...> Звонили в колокола, пели молебны благодарственные, как в счастливые времена Иоанновой юности, завоеваний Казанского и Астраханского. Молва увеличивала славу подвига: говорили о бесчисленных воинствах, разбитых Казаками; о множестве народов, ими покоренных; о несметном богатстве, ими найденном. Казалось, что Сибирь упала тогда с неба для Россиян: забыли ее давнишнюю известность и самое подданство, чтобы тем более славить Ермака» (Карамзин, IX, 235). В таком радостно-патриотическом мажорном духе могло быть описано в эпической поэме торжество русской государственности.

Теперь нам остается рассмотреть поэтическую форму гипотетической пушкинской поэмы. Для этого нам предстоит обратиться к событиям литературной жизни десятилетия с середины 1810-х и до середины 1820-х годов.

В это время шли активные споры об эпической поэме, об усвоении традиций эпопеи русской культурой. Современный исследователь совершенно справедливо пишет: «Возможно, что Пушкин был в курсе той полемики, которая возникла в 1815 г. на страницах



«Чтения в Беседе любителей русского слова» между В. В. Капнистом и Уваровым...»<sup>37</sup>. Только слово «возможно» следует заменить на «наверное». Юный арзамасец, близко знавший Гнедича, хорошо знакомый с Уваровым, жадно следивший за литературной полемикой, не мог не знать об обсуждении одной из самых серьезных проблем современной литературы. Кстати, во время этого обсуждения неоднократно упоминалось и имя Радищева, всегда интересовавшего Пушкина.

В полемике, разгоревшейся в «Беседе любителей русского слова» шла речь о переводе «Илиады», т. е. о создании в русской культуре некоего эквивалента античному памятнику. Но за этим стояла еще более серьезная проблема: о создании русской национальной героической поэмы. Ибо, как думали некоторые участники этой полемики, за воссозданием античного образца может/должно последовать возникновение подобного «Илиаде» русского национального эпоса.

Конечно, уже к началу XIX века никто не мог всерьез принимать за образец национальной эпопеи такие поэмы русского классицизма, как незаконченные попытки Кантемира и Ломоносова и «Россиаду» Хераскова. Их искусственный пафос, хладнокровно по правилам рассчитанная композиция, твердо установленные регламентации безнадежно устарели. Новое романтическое понимание искусства искало в художественном творчестве воплощения национального поэтического сознания. Образцами такого национального искусства стали считаться поэмы Гомера и песни Оссиана.

С этой проблемой и оказалась тесно связана проблема передачи на русском языке национального эпоса греков — поэмы Гомера «Илиада». Романтическое восприятие поэм Гомера не как образца для всех стран и народов, а как наиболее полного воплощения национального духа должно было найти на русском языке и соответствующую греческому духу форму. То не мог быть давно уже принятый для эпопеи классицизма александрийский стих (шести-стопный ямб, парная рифма), каким писались все русские эпопеи, включая «Россиаду» и считавшийся образцовым перевод «Илиады», выполненный Е. И. Костровым. Такая стихотворная форма была начисто лишена специфической национальной окраски.

В период становления романтического сознания в романтической интерпретации эта проблема рассматривалась во время известной полемики С. С. Уварова, Н. И. Гнедича и В. В. Капниста в 1813—1815 гг. Гнедич и Уваров обосновали идею перевода «Илиады» русским гекзаметром. Уваров писал: «... если мы хотим достигнуть того, чтоб иметь словесность народную <...> то перестанем

эпопею писать или переводить александрийскими стихами <...> сделаем метрическую систему на самом гении языка основанную...»<sup>38</sup>.

Такой системой Уваров и Гнедич считали русский гекзаметр, рассматриваемый ими как метрический эквивалент греческого. Они отвергли предложение Капниста использовать в качестве эквивалента гомеровского гекзаметра так называемый «русский размер» (хорей). Уваров возразил Капнисту хорошо известной формулировкой: «Омер в русском зипуне столь же мне противен, как и во французском кафтане. Переводить «Илиаду» русским народным размером еще хуже, чем переводить александрийскими стихами: ибо сей последний стих, по большому употреблению, принадлежит *всем* и занимает место греческого стиха во *всех* почти новейших языках»<sup>39</sup>.

Со времени этого спора в России на многие десятилетия и вплоть до наших дней русский гекзаметр утвердился как общепринятый размер для переводов античных авторов на русский язык и для всех подражаний античности.

Проблема создания русской эпической поэмы с появлением блестящего перевода Гнедича, тем не менее, не решалась. Споры о русской национальной эпопее и об ее метрике продолжались в рамках романтической поэтики и романтического миропонимания.

Со времен Тредиаковского хорей считался по преимуществу ритмом народной поэзии. К концу XVIII — началу XIX появились произведения, имитирующие народную поэзию и написанные так называемым народным, или «русским» размером (в основном четырех- и шестистопный хорей, немного реже пятистопный). Таковы неоконченные поэмы «Илья Муромец» Карамзина, «Бова» Радищева и «Бова» Пушкина, опыты Мерзлякова, Востокова, Гнедича и др.<sup>40</sup>

В. В. Капнист полагал, что русские являются прямыми потомками гипербореев, народа, упоминаемого в античных мифах и особенно любимого Аполлоном. Эти гипербореи, по мнению Капниста, и создали истинную просодию, сохранившуюся у русских и искаженную потом греками (друзья Капниста не безосновательно сочли эти рассуждения «бредом»)<sup>41</sup>. Поэтому Капнист и считал, что не только русская эпическая поэма, но и перевод греческой должны создаваться русским размером. Он даже сочинил несколько строк шестистопного хорей (он назвал его «размером простонародной песни “Как бывало у нас, братцы, через темный лес”»), чтобы изобразить «повесть о кровопролитном греков и троян сражении»:

Удалились светлы боги с поля страшных битв,  
Но то там, то там шумела буря бранная.  
Часто ратники стремили копыя медные  
Меж потомков Симоиса и у Ксанфских струй.<sup>42</sup>

Все это было, конечно, смешно и совершенно не годилось для перевода «Илиады», но, возражая против Гомера «в зипуне», Уваров в то же время считал, что хорей (русский размер) вполне пригоден для национальной русской эпопеи: «Я часто предлагал ему <Жуковскому. — М. А.> написать русскую поэму русским размером, предоставляя судить ему, какой метр между русскими способнее к продолжительному сочинению»<sup>43</sup>.

Таким же «русским размером» (четырёхстопным хореем) призывал своего друга В. А. Жуковского к литературному подвигу и А. Ф. Воейков в известных стихах:

Напиши поэму славную,  
В русском вкусе повесть древнюю, —  
Будь наш Виланд, Ариост, Баян!  
Мы имели славных витязей,  
Святослава со Добрынею...<sup>44</sup>

Если о метрике перевода Гомера шли споры, то для русской поэмы хорей всем казался предпочтительнее. Беда была в том, что так хорошо задуманная в теории хорейческая русская романтическая эпопея на практике так и не появилась. Фольклорный или псевдо-фольклорный хорей плохо укладывался в натуральное течение русского стиха. Ямб был привычнее. Отвечая Воейкову на его дружеский вызов, Жуковский написал подробный план сказочной поэмы четырёхстопным ямбом:

Я вижу древни чудеса...  
Вот наше солнышко-краса  
Владимир-Князь с богатырями...  
Вот златоверхий Киев град;  
И бусурманов тьмы, как пруги,  
Вокруг зубчатых стен кипят:  
Сверкают шлемы и кольчуги...<sup>45</sup>

Осуществив в значительной степени программу Жуковского, четырёхстопным ямбом написал свою шуточную, во многом пародическую поэму «Руслан и Людмила» (1820) Пушкин<sup>46</sup>.

В 1810 г. энергичным четырёхстопным ямбом С. А. Ширинский-Шихматов написал «Лирическое песнопение», «Петр Великий». Поэма претендовала на место образцового русского героиче-

ческого эпоса. Противники Шихматова, в том числе молодой Пушкин, с успехом высмеяли эти претензии<sup>47</sup>. В 1825 году попытка Шихматова неожиданно вновь приобрела актуальность. В. Кюхельбекер опубликовал в «Сыне отечества» статью «Разбор поэмы князя Шихматова “Петр Великий”». В самом начале ее Кюхельбекер провозгласил творение Шихматова образцом русской эпической поэмы: «У нас есть поэт с дарованием необыкновенным, который ... подарил нас двумя лирическими эпопеями, из коих одна <имеется в виду «Петр Великий». — М. А.> должна называться *единственной* по сию пору на языке русском...»<sup>48</sup>.

Олег Проскурин недавно предположил, что статья Кюхельбекера содержала полемику с Пушкиным<sup>49</sup>. Действительно, последние строки статьи Кюхельбекера могут быть прочитаны, как обращение к лицейскому другу, лучшему русскому поэту, которому «дано превосходное»: «У нас, конечно, нет еще истинной народной эпопеи <...> ныне обязанность всякого русского знать и помнить творение, каких у нас немного! Наша словесность весьма еще не богата: прекрасным же не должен пренебрегать даже тот, кому дано превосходное»<sup>50</sup>. Этого лицейского друга Кюхельбекер призывает развить традиции Шихматова и создать русскую эпическую поэму.

Может быть, Кюхельбекер что-то знал о замысле Пушкина, когда работал над статьей (она появилась в августе 1825). В это время Пушкин мог думать о «Ермаке». Он откликнулся на статью в письме к Кюхельбекеру от 1—6 декабря и решительно отверг его рекомендации. Письмо заканчивается веселой дружеской репликой, напоминающей о шутливых драках в Лицее, но твердо определяющей литературную позицию Пушкина: «Кн. Шихматов, несмотря на твой разбор и смотря на твой разбор, бездушный, холодный, надутый, скучный пустомеля... ай-ай, больше не буду! не бей меня» (XIII, 148).

Таким образом, когда Пушкин, то ли шутя, то ли серьезно, размышлял, как он в Сибири напишет эпическую поэму, за его размышлениями стояли далеко еще не закончившиеся споры о важных эстетических и историко-культурных проблемах. Ритмическая природа его поэмы, видимо, была ему более или менее ясна. Смеясь над Шихматовым, решительно отвергая рецепты Кюхельбекера, он не принял четырехстопного ямба. Хорошо помня споры о переводах Гомера, Пушкин отверг гекзаметр для русской поэмы. Если Гомер был бы смешон в *зипуне*, то и русский мужик выглядел бы не менее комично в греческом хитоне. Пушкин поэтому пишет о размере поэмы: *хореем* (С. М. Бонди прочитал зачеркнутое слово как *экса*<метр>. Он, очевидно, держал в памяти споры 1810-х гг. о размере эпической поэмы).

Пушкин, впрочем, сразу же отказался от слишком точных дефиниций. Он зачеркнул слово *хорей* и выбирал для воображаемой поэмы более общее обозначение *годный <?> размер*.

Как-то М. Л. Гаспаров задал риторический вопрос: «Что если бы Пушкин не перешел бы в “Руслане” на лирический 4-ст. ямб и остался бы при эпическом 4 ст. хорее “Ильи Муромца” и “Бовы”?» В шутку ученый предложил свое начало «Руслана», которое в таком случае выглядело бы следующим образом:

О, дела давно минувшего,  
О, старинные предания!..  
Князь Владимир Красно Солнышко  
Во своей высокой горнице  
С сыновьями правил пиршество.<sup>51</sup>

Так, наверное, могла бы выглядеть написанная *русским размером* (т. е. хореем) поэма о Ермаке, если бы Пушкин не написал: *с рифмами*. Кажется, что мысль о рифме в «Ермаке» возникла сразу, как только Пушкин начал писать эту фразу. Может быть, он сначала записал фразу целиком и потом правил, может быть, что, кажется, более вероятно, исправляя по ходу письма, названия предполагаемых размеров, твердо держал в голове последнее слово. Во всяком случае, слова *с рифмами* не были ни разу исправлены или зачеркнуты. И это подтверждает наше прочтение: гекзаметрами с рифмами, не писал почти никто (исключение: опыты Третьяковского, может быть, ранние стихи Кюхельбекера, отклик на них Пушкина)<sup>51a</sup>.

С рифмами «русским размером» тоже не писал почти никто. Исключением являются: громадная поэма М. М. Хераскова «Бахариана», где четырехстопным рифмованным хореем написаны три главы<sup>52</sup>, и неуклюжий романс Карамзина, полусочиненный, полупереведенный при пересказе мелодрамы «Петр Великий»:

Жил был в свете добрый Царь,  
Православный Государь.  
Все сердца его любили,  
Всем отцом и другом чтили... и пр.<sup>53</sup>

Таким образом, в целом сохраняет справедливость утверждение М. Л. Гаспарова, что все имитации народного стиха во время Жуковского и Пушкина (и ранее) писались белыми стихами<sup>54</sup>.

Пушкин в юности относился к белому стиху скептически. Хорошо известна его эпиграмма (1818) на стихотворение Жуковского «Тленность», написанное белыми стихами. Цитируя первые две строки стихотворения Жуковского, Пушкин писал:

Послушай, дедушка, мне каждый раз,  
Когда взгляну на этот замок Ретлер,  
Приходит в мысль, что, если это проза,  
Да и дурная?..<sup>55</sup>

Тем не менее уже в 1825 году Пушкин писал «Годунова» в основном белыми стихами, создавая образец русской романтической трагедии. Однако русская национальная эпопея, очевидно, мыслилась им, вопреки сложившейся традиции, написанной рифмами. Вероятно, Пушкин ощущал связь своего замысла с традициями европейской сказочной эпической поэмы Ариосто, Тассо и особенно Камозенса. Все они написаны октавами с очень ясной и строгой системой рифмовки.

Позднее, в августе 1831 года, Пушкин написал в Царском Селе на фольклорном материале не поэму, а «Сказку о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Сказка эта написана четырехстопным хореем с парными мужскими и женскими рифмами:

А царица молодая,  
Дела в даль не отлагая,  
С первой ночи понесла.  
В те поры война была... и т. д. (III, 507)

Возможно, так могла бы быть написана задуманная эпическая поэма.

Итак, романтически-эпическая поэма о событии государственной важности в десяти-двенадцати песнях, повествующая об опасностях, приключениях, любовных соблазнах, несметных богатствах, таинственных странах, а главное, о победоносных завоеваниях русского оружия, могла бы, если бы она была написана, принести автору официальный успех и полное прощение.

Однако стоило Пушкину хотя бы приблизительно всерьез обдумать содержание и форму предполагаемой поэмы, как становилось ясно, что такое творение уже безнадежно устарело. Не случайно А. Бестужев, может быть, что-то прослышавший о замысле Пушкина, писал ему 9 марта 1825: «...кроме поэм тебе ничего писать не должно. Только избави боже от эпопеи. Это богатый памятник словесности — но надгробный» (XIII, 149).

В подсказке Бестужева Пушкин не нуждался. В середине 1820-х гг. писать эпическую поэму о доблестном русском завоевателе, покоряющем неведомые земли, отвергающем любовь чужеземной принцессы, сражающемся с великанами — писать такую поэму всерьез было невозможно. Предполагаемая поэма, будучи обдума-

на, явно сбивалась на пародию и бурлеск. Такую пародию Пушкин уже написал в самом начале своего творческого пути, в 1820 году, в самом разгаре споров о путях создания русской национальной романтической-эпической поэмы. «Руслан и Людмила» стала его ответом на эти споры<sup>56</sup>. Повторять опыт было ни к чему. Проект не пошел дальше замысла, не нашедшего никакого воплощения на бумаге. В литературных планах Пушкина середины 1820-х такая тема больше не возникала. Замысел был оставлен... Возможно, и не без сожаления.

Быть может, какие-то отголоски задуманной и неосуществленной эпико-исторической поэмы, но созданной уже по-новому, в рамках уже романтической поэтики продолжали тревожить воображение Пушкина. Какими-то отголосками этого замысла, может быть, были вызваны некоторые реплики и замечания Пушкина во время светской беседы в салоне Карамзиных, кажется, в начале 1830-х гг.

Источник этих сведений весьма не надежен. Это «Записки» А. О. Смирновой-Россет, отредактированные ее дочерью. Историки литературы давно уже установили недостоверность и сомнительность этих «отредактированных» мемуаров<sup>57</sup>. В то же время, нельзя упускать из виду, что дочь мемуаристки могла помнить какие-то рассказы матери, какие-то разговоры друзей и знакомых своих родителей<sup>58</sup>. Многостраничные разглагольствования Пушкина, Жуковского, Вяземского на страницах этих «отредактированных» воспоминаний, несомненно, сочинены дочерью мемуаристки, хотя, возможно, и с опорой на какие-то письменные или устные источники. Это обстоятельство все-таки сохраняет за ними какую-то историческую ценность, хотя пользоваться «Записками», несомненно, следует с крайней осторожностью. Так и упоминания о какой-то эпической поэме в репликах Пушкина, зафиксированные в «Записках», может быть, имеют под собой какую-то реальную почву.

Дочь рассказывает, что А. О. Смирнова, объясняя отсутствие Жуковского, в шутку объявила, что он пишет «эпическую поэму в ста песнях, в гекзаметрах — русскую “Илиаду”», на что Пушкин заметил: «Надо надеяться, что она будет написана на древнеславянском и посвящена Шишкову и графу Хвостову. Я очень искушаюсь написать поэму вроде “Энеиды” Котляревского, только на современный сюжет». И позднее Пушкин вспоминает эту тему, со смехом говоря: «Он <Хомяков. — М. А.> желает, чтобы я написал эпическую поэму без рифм в тридцати шести песнях, славянским слогом десятого века»<sup>59</sup>.

Может быть, в этих, большей частью придуманных и лишь отчасти запомнившихся, разговорах слышатся отголоски старых споров о русской эпической поэме и, может быть, отголоски размышлений Пушкина об оставленном Ермаке, который задумывался как поэма с рифмами (недаром Хомяков у Пушкина говорит о поэме без рифм), и о пародии (вроде «Энеиды» Котляревского), которая могла бы изо всего этого получиться.



---

---

## НЕЗАКОНЧЕННАЯ ПОЭМА О ТАЗИТЕ

---

---

В конце 1829 — начале 1830 гг. Пушкин работал над поэмой «Тазит». Отрывки из этой поэмы были опубликованы В. А. Жуковским после смерти Пушкина в 1837 году под названием «Галуб»<sup>1</sup>. (Жуковский неверно прочитал имя отца главного героя поэмы — Гасуб). Последующие издатели, уже после 1917 года, предпочли назвать ее по имени главного героя «Тазит». Так она и публикуется поныне в сочинениях Пушкина.

Поэма «Тазит» играет заметную роль в творческом развитии Пушкина. Он писал ее сразу после возвращения из поездки в Арзрум, т. е. после того, как снова побывал в тех краях, которые почти на десять лет ранее дали ему впечатления для первой «южной» поэмы «Кавказский пленник» (1820). Тогда впечатления экзотической кавказской природы наложились на знакомство с поэзией Байрона и в результате возник образ романтического героя, противопоставленного окружающему миру и бегущего от цивилизации к диким племенам, живущим естественной жизнью. После «Кавказского пленника» эти идеи получили дальнейшее развитие в «Цыганах» (1824). Спустя десять лет Пушкин вернулся к той же теме, что и в «Кавказском пленнике» — изображению горского племени, но герой его совершенно изменился, и проблематика поэмы связана уже с другими литературными традициями.

К концу 1820-х гг. в творчестве Пушкина можно явно уловить влияние Вальтера Скотта. Он пытается создать исторический роман наподобие Скотта и испытывает очень сильный интерес к творчеству английского писателя<sup>2</sup>. Как мы постараемся показать, поэма Пушкина связана с вальтерскоттовскими литературными традициями, и это позволит сделать некоторые дополнительные заключения о ее идеях и содержании. Но сначала несколько слов об истории изучения «Тазита».

Появившаяся в печати после смерти Пушкина поэма («Современник», 1837, т. 7) почти не обратила на себя внимание критики. Только Белинский сразу же откликнулся на первую ее публикацию. Уже в 1838 году он подробно пересказал ее содержание и процитировал значительные куски (2, 351—352)<sup>3</sup>. Белинский увидел «глубоко гуманную мысль» поэмы и отметил «огромную разницу между “Кавказским пленником” и “Галубом”». Словно в разные века и разными поэтами написаны эти две поэмы» (7, 548)<sup>4</sup>. До конца жизни критик считал «Тазита» «великим художественным созданием Пушкина» (9, 546; 10, 96).

В 1855 году П. В. Анненков опубликовал по рукописи планы поэмы. Он подчеркнул основную ее идею: противопоставление гуманных (христианских) начал, носителем которых является герой, жестоким нравам и обычаям горского племени<sup>5</sup>. Однако и после этого незаконченная поэма долго не обращала на себя внимания читателей и критики (кроме Белинского) и сравнительно мало привлекала исследователей<sup>6</sup>.

Так, в частности, остался непроясненным литературный генезис поэмы. В. Л. Комарович, автор одной из наиболее содержательных статей о «Тазите», указал на связь поэмы с литературной традицией, идущей от Шатобриана<sup>7</sup>. Точка зрения Комаровича была решительно отвергнута другими исследователями, считавшими, что связь эта сильно преувеличена и параллели, указанные Комаровичем, несостоятельны<sup>8</sup>.

Отказавшись от поисков литературных источников, исследователи обратились к изучению бытовых реалий поэмы, к поискам ее этнографических источников. Выяснилось, что Пушкин действительно интересовался жизнью и обычаями горцев, беседовал со специалистами, расспрашивал местных жителей, читал кавказоведческую литературу и пр.<sup>9</sup> Однако никаких параллелей с пушкинским сюжетом в преданиях и легендах местных племен обнаружить не удалось.

В то же время никто никогда не обращал внимания на важнейший литературный источник, по времени лежащий к поэме Пушкина гораздо ближе, чем повести Шатобриана. Речь идет о романе Вальтера Скотта «Пертская красавица» (1828). Только Д. П. Якубович упомянул однажды, что для «Тазита» и для «Беглеца» Лермонтова первоисточником является Вальтер Скотт<sup>10</sup>. Якубович не развил своего замечания, не назвал конкретных произведений Вальтера Скотта, вероятно, оставив эту тему для своих последующих работ о Пушкине и английском романисте<sup>11</sup>. Позднейшие исследователи не обратили внимания на реплику Якубовича, и имя Вальтера Скотта в связи с «Тазитом» никогда более не упоминалось.

Как известно, прижизненная слава Вальтера Скотта в Европе была огромной. Россия не составляла исключения. Вальтера Скотта читал и подражал его феодальным королям Николай I, «освежал себе душу его романами» Н. М. Карамзин, «пищей для души» называл его романы Пушкин, «обвальтерскотился весь свет» — восклицала героиня водевиля А. А. Шаховского<sup>12</sup>.

Появление каждого нового романа Вальтера Скотта становилось заметным явлением культурной и общественной жизни. Так, пушкинский граф Нулин привез в Россию среди прочих предметов моды и новый роман Вальтера Скотта (V, 6). В 1830 году в наброске «Участь моя решена. Я женюсь...» Пушкин называет самыми интересными литературными событиями романы Вальтера Скота и Фенимора Купера (VIII, 407).

Роман «Пертская красавица» (*Fair Maid of Perth or St. Valentine's Day*), опубликованный в 1828 году, уже в июне того же года появился во французском переводе<sup>13</sup> и в 1829 году был переведен (с французского) на русский язык<sup>14</sup>. Невозможно себе представить, чтобы Пушкин в течение 1829 года не познакомился с этим, одним из лучших по занимательности сюжета, стройности композиции, глубине исторического анализа романов знаменитого английского писателя. Напомню, что «Пертская красавица» очень нравилась Гёте. Пушкин, конечно, не мог знать замечаний великого старца, но обширная цитата покажет, как высоко ценилось в Европе одно из лучших творений «шотландского чародея»: «...“Пертская красавица” Вальтера Скотта <...> и вправду очень хороша! И как это написано! Как он владеет стилем! Абсолютно четкий план и ни единого штриха, который бы не вел к цели. А детали каковы! И в диалоге, и в описательной части, впрочем, тут одно не уступает другому. Сцены и положения в этом романе напоминают картины *Теньера*. Высокое искусство проникает все целое, отдельные персонажи поражают жизненной правдой, все до мельчайших подробностей разработано автором с такой любовью, что нет здесь ни одной лишней черточки. <...> В «Пертской красавице» вы не найдете ни одного слабого места, ни разу не почувствуете — здесь у автора не достало знаний или таланта. Он в совершенстве владеет всем материалом»<sup>15</sup>.

Естественно, что такой роман Пушкин не мог не прочесть. Он познакомился с ним, вероятно, осенью 1829 года, после возвращения из путешествия в Арзрум<sup>16</sup>. Как раз в это время, переполненный впечатлениями от своей поездки, он приступает к работе над «Тазитом».

Позволим себе напомнить читателям содержание прославленного романа Скотта и проследить боковую, но существенную сю-

жетную линию романа, которая, как нам представляется, могла найти свое отражение в «Тазите».

В одном из шотландских кланов сын вождя Конахар (Conachar) родился при странных и романтических обстоятельствах. Клан понес тяжелое поражение, вождь и его семья спасались бегством, и жена, бывшая на сносях, родила мальчика в лесу и выкормила его молоком пойманной лесником белой лани. Вскоре обстоятельства изменились, и женщина с младенцем получили возможность вернуться в родовой замок. Однако существовало древнее пророчество, которое сделало это возвращение тревожным и печальным: согласно этому предсказанию, могущество племени будет сломлено из-за мальчика, рожденного под кустом остролиста и вскормленного белой ланью (43, 154). Поэтому отец вынужден был отослать младенца из родных гор в город, в дом перчаточника Гловера (Glover), с которым он имел постоянные деловые отношения. Духовным отцом юноши стал монах Климент, оказавший на него сильнейшее влияние. Спустя 17—18 лет молодой горец вернулся к своему племени, т. к. старое пророчество забылось, а вместо него появилось другое: молодой вождь будет единственным, кто уцелеет в предстоящем сражении между двумя кланами. Оба пророчества оказались правильными.

Несомненно, что в основе легенды лежит не шотландский фольклор (иначе Вальтер Скотт не преминул бы сообщить об этом в предисловии), а реминисценции античных мифов о судьбе (Эдип, Персей, Приам — Парис и др.).

Конахар с его красивой и мужественной осанкой привлек сердца своих соплеменников и после смерти отца, похороны которого подробно описаны в романе, стал главой могущественного клана. Тут и начинается трагедия. Молодой воин не только робок по природе, но он еще и воспитывался в более мягких городских нравах и, что особенно важно, духовно развивался под влиянием отца Климента, который проповедует очищение и церкви, и рядовых христиан от всех грехов и возвращение людей к истинно христианским моральным ценностям и к первобытной простоте первых христианских общин. В числе этих христианских добродетелей одной из важнейших является заповедь: не убий! — и соответственно прощение врага, отказ от мести и другие христианские моральные постулаты, совершенно не приемлемые для свирепого горского племени.

В беспощадном групповом поединке между представителями двух враждующих племен молодой горец не выдержал ожесточения ужасной сечи и позорно бежал с поля боя. Отвергнутый всеми, под бременем позора, несчастный юноша бросился с обрыва в бушующую

ший водопад. Труп его не был найден, и молва говорила, что он поселился в келье отца Климента, который стал монахом-отшельником.

Таким образом, Вальтер Скотт наметил в романе противопоставление различных нравственно-моральных систем: жестокости и милосердия, ненависти и прощения и пр., в конечном счете язычества и истинного христианства. Носитель гуманных идей в среде своих свирепых современников оказался обреченным на гибель. Можно думать, что эта мысль привлекла внимание русского поэта.

Как мы говорили, Пушкин приступил к работе над «Тазитом» в конце 1829 года, когда он уже имел возможность познакомиться с недавно вышедшим романом. В поэме рассказывается, что у старого горца Гасуба был убит старший сын. В день похорон удрученный горем отец получает из рук старика-воспитателя своего младшего сына, выросшего в чужом ауле (как Конахар в далеком городе). Младший сын, задумчивый и мечтательный, не может вписаться в суровый, жестокий мир горского племени. Он не может ограбить проезжего купца, убить беглого раба, отомстить за убийство брата. В конце концов старик-отец упрекает его в трусости, проклинает и изгоняет. Отец его возлюбленной отказывается отдать свою дочь трусу... На этом поэма обрывается.

Как обычно у Пушкина, работа над поэмой предваряется и перемежается составлением подробных планов. До нас дошло три таких плана (V, 336—337):

## I

Обряд похорон  
Уздень и меньший сын  
I день-лань-почта, грузинский купец  
II — орел, казак  
III — отец его гонит  
Юноша и монах  
Любовь, отвергнутый  
Битва — монах

## II. <В квадратных скобках зачеркнуто. — М. А.>

1. [Похороны]
2. [Три дня <тризна. — М. А.>]. Черкес-христианин
3. [Купец]
4. [Казак, раб]
5. [Убийца]
6. [Изгнание]

7. [Любовь]
8. Сватовство
9. Отказ
10. Священник. Миссионер
11. Война
123. Сражение
13. Смерть
14. Эпилог

### III

1. Похороны
2. Черкес-христианин
3. Купец
4. Раб
5. Убийца
6. Изгнание

---

### 7. Любовь

Второй и третий планы очень похожи (третий представляет собой с некоторыми отличиями незаконченный вариант второго). Второй, наиболее пространный, служил Пушкину рабочим планом: по мере написания соответствующие пункты зачеркивались (было зачеркнуто семь пунктов)<sup>17</sup>. Третий план повторяет шесть выполненных пунктов второго (они объединены слева фигурной скобкой). Черта отделяет от них седьмой, оставшийся в черновых набросках. Внимательное рассмотрение показывает, что в этих планах вполне можно увидеть связь с «Пертской красавицей» Вальтера Скотта.

Все планы, так же, как и сама поэма, начинаются с похорон. Пушкин присутствовал на похоронах горца и описал свои впечатления в дневнике, который вел во время путешествия<sup>18</sup>. Эта запись целиком, почти без изменений вошла в очерк «Военная Грузинская дорога», напечатанный в «Литературной газете» (1830. № 8, 5 февраля)<sup>19</sup>. Т. е. очерк был написан приблизительно в то же время, когда шла работа над «Тазитом». Позднее этот очерк в качестве первой главы вошел в «Путешествие в Арзрум». В очерке описание похорон появилось с характерным дополнением: английской цитатой<sup>20</sup>. Вот это описание: «Около сакли толпился народ. На дворе стояла арба, запряженная двумя волами. Родственники и друзья умершего съезжались с всех сторон и с громким плачем шли в саклю, ударяя себя кулаками в лоб. <...> Мертвеца вынесли на бурке:







... like a warrior taking his rest  
With his martial cloak around him;

положили его на арбу. Один из гостей взял ружье покойника, сдул с полки порох и положил его подле тела. Волы тронулись. <...> К сожалению, никто не мог объяснить мне сих обрядов» (VIII, 450).

Пушкин цитирует знаменитое, хрестоматийное стихотворение Charls Wolf, «*The Burial of Sir John Moore*» (1817). Стихотворение это приобрело широкую популярность, часто приписывалось Байрону и Т. Муру<sup>21</sup>, а в России получило известность благодаря превосходному переводу Ивана Козлова («Не бил барабан перед смутным полком, // Когда мы вождя хоронили...»). Этот перевод был напечатан в «Северных цветах» А. Дельвига на 1826 год, т. е. в альманахе близкого друга Пушкина, в котором и сам он принял деятельное участие. Здесь стихотворение было приписано Т. Муру (ошибка исправлена в примечаниях, но имя настоящего автора не было указано)<sup>22</sup>.

Пушкину стихи Козлова, несомненно, были хорошо известны. Соответствующее место звучало в них следующим образом:

На нем не усопших покров гробовой,  
Лежит не в дощатой неволе —  
Обернут в широкий свой плащ боевой  
Уснул он, как ратники в поле.<sup>23</sup>

Однако Пушкин предпочитает цитировать стихотворение в оригинале, неожиданно соединяя описание похоронного обряда у кавказских горцев с английской цитатой, содержащей тот же мотив погребения военного героя вместе с его оружием. Это лишний раз свидетельствует, кажется, о погруженности поэта в эту пору в английскую культуру, увлеченности его английской литературой, в том числе и романами Вальтера Скотта.

В «Тазите» Пушкин в стихах, но почти дословно воспроизвел то же самое описание похорон, разумеется, опустив английскую цитату:

В арбу впряженные волы  
Стоят пред саклею печальной...  
Подъемлют гости скорбный вой...  
.....выносят  
На бурке хладный труп...  
.....  
Слагают тело на арбу  
И с ним кладут снаряд воинской:  
Незаряженную пищаль...  
.....

В дорогу шествие готово,  
И тронулась арба...

(V, 71—72)

Это существенно важное для сюжета поэмы поэтическое описание похорон напоминает детальное описание похоронного обряда у Вальтера Скотта в «Пертской красавице», где шотландские горцы тоже следуют «the old heathen ceremonies of their own fathers» (43, 181).

В композиции обоих произведений похороны предшествуют началу основного конфликта: у Вальтера Скотта после похорон отца Конахар становится вождем племени; у Пушкина похороны старшего брата возвращают Тазита в родной аул. При этом и старик Гасуб у Пушкина любит «стройным отроком» (V, 72), и члены горского племени с радостью принимают сначала как наследника, а затем как вождя стройного и красивого юношу («the graceful and agile youth», «majestic figure» — 43, 199). Таким образом, исходная ситуация обозначена у обоих писателей одинаково: возвращение во время похорон молодого чужака в родное племя.

Согласно всем пушкинским планам, следующий после похорон эпизод — это возвращение героя (младшего сына). В первом плане его приводит уздень, т. е. князь, начальник<sup>24</sup>. Но уже во втором и третьем, которые отмечают не первоначальные замыслы, а последовательную разработку сюжета, появляется черкес-христианин. Во втором плане мы читаем второй пункт не «Три дня», как в Академическом издании, а как «Тризна». С. М. Бонди, готовивший текст «Тазита», наверное, учитывал в своей расшифровке три дня, упомянутые в первом плане, трехдневные поминки и последовательное (трижды) на третий день после двухдневного отсутствия появление Тазита. Однако в рукописи четвертая буква слова явно больше похожа на з (ср. ниже слово казак в пункте 4), чем на д, а это дает ясное чтение: тризна<sup>25</sup>.

Кроме того, мотив похоронного пиршества (тризны) имеется в тексте поэмы. На это пиршество приглашают старика, приведшего к отцу Тазита:

<Гасуб>... наставника ласкает,  
Благодарит и приглашает  
Под кровлю дома своего.  
Три дня, три ночи с кунаками  
Его он хочет угощать  
И после честно провожать  
С благословеньем и дарами. (V, 73)

Однако самое главное в этом пункте, что вместо зачеркнутого слова *тризна* Пушкин пишет сверху *черкес христианин* и затем, перебеляя в правой стороне того же листа выполненные пункты плана, не восстанавливает, как во всех остальных случаях, зачеркнутое, а заменяет первоначальный пункт словами: *черк<ес> хр<истианин>*. Можно предположить, что Пушкин намеревался переработать этот не совсем ясный пункт плана и показать, что наставником молодого Тазита оказался черкес, принявший христианство. Об этом как-то свидетельствуют пункты первого плана, где намечается духовный контакт Тазита с христианином: *юноша и монах*. Следовательно, есть все основания считать старика-воспитателя, приглашаемого на тризну, христианином и, таким образом, как это отмечал еще Анненков<sup>26</sup>, основной идеей поэмы становится трагическое столкновение христианской, европейской цивилизации с жестокими нравами мусульманского Востока. Пушкин считал, что только «проповедание Евангелия» (VIII, 1035) сможет смягчить нравы черкесов, прекратить их вражду к русским. Он считал проповедь христианства «по примеру древних Апостолов и новейших римско-католических миссионеров» (VIII, 1036) важнейшим и, может быть, единственным способом примирения диких горских племен с Россией.

Влияние христианина-черкеса сближает Тазита с молодым героем романа Вальтера Скотта, который, как мы говорили, испытывает сильнее моральное влияние монаха-христианина. Тазит не прижился в родном ауле. Он всегда одинок, печален:

Сидит... над горой,  
Недвижно в даль уставя очи,  
Опершись на руку главой.  
Какие мысли в нем проходят?  
.....  
Из мира дальнего куда  
Младые сны его уводят? (V, 74)

Молодой черкес своим одиночеством, печальными размышлениями, меланхолией, нерешительностью, неспособностью к активному действию напоминает некоего туземного Гамлета, противостоящего окружающему миру.

Конахар у Вальтера Скотта не столь резко противопоставлен своему клану морально и идеологически. Автор скорее склонен подчеркивать именно трусость героя как важный источник его трагедии. В рассказе о Тазите этот мотив у Пушкина не возникает. Тазита обвиняют в трусости другие (отец, отец его возлюбленной). Читатель же, вслед за автором, объясняет поступки Тазита не от-

сутствием личного мужества, а идеологией. В то же время и Конахар вступает в конфликт с традиционными ценностями своего племени: стремлением к славе, честолюбием, высоким званием вождя и пр. Сомневаясь в этих духовных ценностях, споря с отцом своей любимой, молодой вождь восклицает словами Гамлета: «Words, words, — empty words...» (43, 209)<sup>27</sup>.

Эта реплика хорошо была знакома Пушкину. Позднее он процитировал ее со ссылкой на «Гамлета» в стихотворении «Из Пиндемонти»<sup>28</sup> и, уж конечно, при чтении романа Вальтера Скотта должен был узнать скрытую цитату. Возможно, и в «Тазите» склонность героя к размышлениям, столь несвойственная молодому черкесу, навеяна некоторым гамлетизмом литературного прототипа. И тогда «младые сны», уводящие из «дольнего мира», тоже, возможно, являются реминисценцией знаменитого монолога Гамлета:

.....To die, to sleep —  
To sleep—perchance to dream: ay there's the rub,  
For in that sleep of death what dreams may come...  
(III: 1, 64—66)

Тазит последовательно проявляет гуманные, христианские чувства. Так, он не нападает на безоружного, отпускает с миром беглого раба. Наконец, он сталкивается со своим злейшим врагом — убийцей брата, но убийца «был один, изранен, безоружен» (V, 77), и молодой черкес, как Гамлет, не в силах прикончить беззащитного врага, тем самым отвергая священный для черкесов обычай кровной мести («наследственные мщения», «долг крови», как называет его Пушкин в автобиографических заметках, относящихся к «Путешествию в Арзрум». — VIII, 1034).

Моральные принципы Тазита: милосердие, жалость, любовь к ближнему, прощение зла — приходят в полное противоречие с установлениями его жестокого племени. Естественное объяснение этого конфликта — воспитанием молодого черкеса в иных условиях, в иных нравственных нормах, чем те, которые существуют в его родном ауле.

Подобный конфликт существует и в романе Вальтера Скотта. Горец Конахар объясняет свою трусость (т. е. неумение и нежелание убивать) воспитанием в христианском духе: «...be it from my peaceful education, and the experience of your strict restraint...» (43, 218).

В планах Пушкина подробно зафиксированы моральные испытания, через которые должен пройти Тазит. Их них *купец, раб, убийца*, как мы видели, разработаны самим автором в тексте поэмы. Остальные эпизоды, видимо, были задуманы, но отброшены Пуш-

киным в процессе работы: они остались в первом плане. *Казак*, если он не является убийцей брата, легко объясним, как встреча в горах с врагом, *почта* — возможно, такая же легкая добыча, как купец, однако молодой горец не захватил ее. А вот непонятная *лань* как раз и может быть расшифрована с помощью романа Вальтера Скотта. Она невольно заставляет нас вспомнить о той «лани», которая вскормила шотландского горца в лесной чаще. Позднее он отказался прирезать затравленную собаками белую лань: «I must not kill the likeness of my forest-mother» (43, 224). Этот эпизод характеризует милосердие молодого шотландца, его неприятие жестокости. (Может быть, что-то подобное произошло и с орлом). Возможно, Пушкин собирался включить подобный же эпизод в число испытаний молодого черкеса, наряду с купцом, рабом и убийцей брата. Может быть, рудиментом этого замысла осталось странное сравнение самого Тазита с оленем:

Так в сакле кормленный олень  
Все в лес глядит, все в глушь уходит. (V, 73)

В черновиках было: «девой вскормленный олень» (V, 348). В этом неожиданном сравнении (олень в доме, в жилище) можно, кажется, увидеть смутную реминисценцию вальтерскоттовского романа: молодой горец был вскормлен молоком лани.

Далее в планах Пушкина было: *отец его гонит* (первый план), *изгнание* (второй и третий планы). Эти пункты были осуществлены в тексте неоконченной поэмы. Здесь и возникает тема трусости, которая была главной причиной трагедии Конахара у Вальтера Скотта.

Тазит себя трусом не называет, напротив, он говорит отцу возлюбленной:

Я беден — но могуч и молод.  
Мне труд легок. Я удалю  
От нашей сакли тощий голод. (V, 79)

Трусом его считают и называют другие. Старик-отец обвиняет сына:

Ты не чеченец — ты старуха,  
Ты трус, ты раб, ты армянин! (V, 77)

А Конахар, в отличие от Тазита, сам называет себя трусом («I am a COWARD» (43, 215) — выделено автором).

Следующая тема поэмы: *любовь, отвергнутый; любовь, сватовство, отказ; любовь* — проходит через все три плана. Пушкин лишь начал ее обработку в черновиках и даже не довел до белого автографа. Тазит уговаривает старика, отца любимой девушки:

Тебе я буду сын и друг,  
Всегда заботливый и нежный  
.....  
А ей заботливый супруг. (V, 364)

Конахар в романе Вальтера Скотта гостов был отречься от звания вождя и уговаривал перчаточника Гловера отдать ему дочь, обещая старику покой и счастье у их семейного очага: «...Catharine will love me the better that I have preferred the path of peace to those of bloodshed... Catharine will enjoy all that unbounded affection corner, the happiest and most honoured man...» (43, 218—219) (Перевод: Кэтрин будет любить меня крепче, потому что я предпочел мирную жизнь кровопролитию... Кэтрин будет радоваться безграничной любви, которая выпадет на ее долю... и ты, отец Гловер, займешь место у очага как самый счастливый и самый почитаемый человек).

Однако почтенный буржуа отнюдь не склонен отдавать свою дочь трусу: «... this overpowering fain-heartedness... And to propose himself for a husband to my daughter, as if a bride were to find courage for herself and the bridegroom! No, no — Catharine must wed a man to whom she may say, — «Husband, spare your enemy» — not one in whose behalf she must cry, — «Generous enemy, spare my husband» (43, 220—221). (Перевод: «... эта угнетающая слабость духа... И он смеет предлагать себя в мужья моей дочери в расчете, что у невесты хватит мужества на себя и на жениха! Нет, нет — Кэтрин должна выйти замуж за человека, которому она может сказать: “Муж, пощади своего врага”, — а не за такого, чтобы ей умолять: “Великодушный враг, пощади моего мужа”»).

Поэма Пушкина имеет много общего с ситуацией, описанной в романе Вальтера Скотта. Старик-отец сурово отвечает Тазиту, отказываясь отдать дочь трусу и отщепенцу. Он снова, как и родной отец, обвиняет юношу в слабости и трусости:

Тому, кто в бой вступить не смеет,  
Кто слаб и телом и умом,  
Кто мстить за брата не умеет,  
Кто робок даже пред рабом,  
Кто изгнан и проклят отцом,  
Какой безумец, сам ты знаешь,  
Отдаст любимое дитя <...>  
(V, 356—366)

Эти стихи, необработанные и незаконченные, сохранились только в черновиках поэмы. В одном из вариантов тема трусости была подчеркнута еще резче: «Кто робок женскою душою» (V, 365). Эта

инвектива напоминает мысли Гловера о Конахаре. Но если у Вальтера Скотта размышления отца представляются читателю, по замыслу автора, вполне справедливыми, то в поэме Пушкина они — результат полного взаимонепонимания между молодым черкесом и его соплеменниками. Черновой отповедью старика-отца неудачливому влюбленному заканчивается работа Пушкина над поэмой.

В течение всей своей творческой жизни Пушкин охотно обращался к произведениям других авторов, ища в них импульсы для собственного творчества. Такие обращения особенно часто встречаются в последние годы жизни поэты. Пушкин как бы «переписывал» тексты своих предшественников и современников в собственных творческих целях. Хорошо известный читателю сюжет давал возможность с величайшей лаконичностью выразить в готовой раме новые идеи. Таков был замысел «русского Пелама» (по роману Бульвера Литтона), таков был «Рославлев» (по одноименному роману М. Загоскина). В рамки известнейшего сюжета (Тирсо да Молина, Мольер, Байрон) включается «Каменный гость». Изложением «шекспировской» «Мера за меру» является повесть в стихах «Анджело». Таким же обращением к чужому сюжету, хотя и не столь очевидным, является, как нам представляется, фабула поэмы «Тазит».

Можно думать, что сюжет этой поэмы, если бы работа над нею продолжалась, соотносился бы с романом Вальтера Скотта. Тогда можно попытаться реконструировать замысел Пушкина, исходя не только из неосуществленных пунктов первых двух планов (третий отражает лишь написанную часть), но и с учетом некоторых мотивов «Пертской красавицы», которые могли послужить готовыми моделями для развития сюжета неоконченной поэмы.

Следующий (десятый) пункт второго плана — *священник*. Слово затем было зачеркнуто и написано: *миссионер*. Десятому пункту соответствует шестой в первом плане: *юноша и монах*. Мы помним, что Конахар находился под сильным влиянием монаха, отца Климента, который является носителем гуманных идей, проклиная братоубийственные войны и жестокость своих современников. Горец обязан ему наставлениями в вере («the religious instructions»). Отец Климент проповедует мир и всепрощение («peace and forgiveness»). Конахар часто вспоминает священника. Его влиянием объясняет он свое неумение вписаться в жизнь родного племени.

Судя по планам, Тазит должен был встретиться с монахом или священником (своим воспитателем?) после изгнания из дома (первый план) или после отказа отца возлюбленной (второй план). На л. 11 уже упоминавшейся рукописи со вторым и третьим планами

поэмы (ПД 842) имеется рисунок, по всей вероятности, изображающий эту встречу<sup>29</sup>. Рисунок, кажется, иллюстрирует ненаписанную часть поэмы: встречу Тазита с наставником. Монах, с длинной бородой, в рясе, с капюшоном, надвинутым на голову, ноги вытянуты, внимательно из-под густых бровей смотрит на сидящего перед ним на корточках юношу. У юноши характерные для черкеса усы, на голове круглая войлочная шапка, похожая на тубетейку. Такие и сейчас носят в Сванетии. Он внимательно смотрит на монаха. Разговор, очевидно, происходит перед битвой, т. к. рядом с юношей лежит ружье. После этого разговора Тазит отправится на войну (пункт 11 второго плана).

Может быть, замена во втором плане «священника» на «миссионера» имеет какую-то связь с реально существовавшей недалеко от Пятигорска колонией шотландских миссионеров, что было известно Пушкину<sup>30</sup>. Среди этих миссионеров мог бы жить или поселиться там, расставшись с воспитанником, наставник Тазита. Тот факт, что миссионеры были шотландцами, может быть, как-то подкреплял пушкинские ассоциации с романом Вальтера Скотта из шотландской жизни.

Однако общение с наставником не могло отвлечь Тазита от страстей и трагедий жизни действительной. В планах настойчиво повторяется тема военного столкновения: *битва* (первый план), *война, сражение* (второй). Волей обстоятельств, а может быть влекомый собственными желаниями, уязвленный жестокими упреками близких, Тазит стремится в битву. И тут мы снова соприкасаемся с романом Вальтера Скотта.

Центральным эпизодом «Пертской красавицы» является описание группового поединка (с каждой стороны по тридцать человек) между самыми доблестными представителями двух шотландских кланов. Со свойственным ему мастерством и выразительностью английский романист описал кровавую братоубийственную бойню, когда на маленьком огороженном клочке земли окровавленные воины наносили друг другу смертельные удары. В результате битвы один клан был полностью истреблен, от другого уцелело только семеро истекающих кровью людей (43, 321—356).

Пушкин, только что побывавший на Кавказе, не только воочию повидал там ожесточенные кровавые схватки. Они запечатлелись в его стихах:

Мчатся, сшиблись в общем крике...  
Посмотрите! Каковы?...  
Делибаш уже на пике,  
А казак без головы. (III, 199)



Пушкин и сам принимал (вернее, пытался принять) участие в этих столкновениях. Храбрый по природе, он с пикой в руке бросился в самую гущу битвы<sup>31</sup>. Возможно, описание Вальтера Скотта оживило перед ним картины рукопашных схваток, свидетелем которых он был, хотя, конечно, мы не знаем, какие битвы имел в виду в своих планах Пушкин, куда увлекла молодого горца его судьба: междоусобные схватки (что наиболее вероятно при ориентации на ситуацию в романе Скотта), или какое-то сражение с русскими войсками, или что-нибудь иное.

Однако была еще одна битва, которая чем-то походила на коллективный поединок из романа Скотта и которую поэт, несомненно, часто вспоминал во время своей кавказской поездки. 14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Петербурге на небольшом участке земли, ограниченном с трех сторон зданиями (Адмиралтейство, Синод, Исаакиевский собор), а с четвертой — широкой Невой, в братоубийственной схватке сошлись несколько тысяч человек. Первым результатом этой схватки явилось бессмысленное убийство общего любимца, героя войны 1812 года, блестящего генерала М. А. Милорадовича. В восстании декабристов солдаты были русскими с обеих сторон, а руководители восстания и офицеры правительственных войск принадлежали к одному и тому же образованному дворянскому петербургскому кругу и хорошо знали друг друга. Столкновение продолжалось несколько часов и закончилось разгромом, бегством и гибелью восставших.

На Кавказе Пушкин постоянно встречался, общался, беседовал и с участниками восстания, и с людьми, причастными к нему. Среди них были: В. Д. Сухоруков, В. Д. Вольховский, М. И. Пущин, Н. Н. Раевский, И. Г. Бурцов, З. Г. Чернышев, Н. Н. Семичев, А. С. Гангеблов, П. П. Коновницын<sup>32</sup>. Несомненно, они вновь и вновь возвращались к тому роковому дню, который не только изломал их судьбы, но и наложил отпечаток на всю историю России последующих десятилетий.

На Сенатской площади люди вели себя по-разному. Сугубо штатский В. Кюхельбекер, принятый в общество за две недели до восстания, стрелял в Великого Князя Михаила, брата царя, пытался построить солдат и повести их в штыковую атаку на вражеские пушки<sup>33</sup>, а бесстрашный военный, участник многих сражений Сергей Трубецкой, избранный диктатором, испугался и на площадь не явился. Пушкин, несомненно, задавал себе вопрос, как бы он сам вел себя в подобных обстоятельствах. Вопрос был не праздный. Поэт едва не явился в Петербург накануне восстания прямо к Рылеву<sup>34</sup>. На прямой вопрос Николая I: «Что бы вы сделали, если бы

14 декабря были в Петербурге?» — он смело и искренне отвечал: «Был бы в рядах мятежников»<sup>35</sup>. При этом Пушкин, конечно, понимал, что непосредственное участие в мятеже не могло бы пройти ему даром. Воображение рисовало страшные сцены, и рядом с рисунком виселицы с пятью повешенными появилась зловещая надпись: «И я бы мог...»<sup>36</sup>

Рассказ Вальтера Скотта о бегстве молодого горца из самой гуши кровопролитной схватки, где с обеих сторон были шотландцы, накладывался на недавние разговоры о мятеже на Сенатской площади, о поведении там участников восстания. Все это, весьма вероятно, отразилось бы на батальных эпизодах поэмы: битва, война, сражение. Заметим кстати, что глубинные автобиографические мотивы постоянно присутствуют в произведениях Пушкина 1830-х гг., следующих за неоконченной поэмой<sup>37</sup>.

Пушкин должен был сочувствовать Тазиту, который вопреки своему характеру оказывался вовлеченным в кровавую сечу. Может быть, Тазит проявил бы в битве храбрость и мужество и погиб, а монах отпел бы его (первый план). Если судить по осуществленной части пушкинского замысла с учетом модели Вальтера Скотта, то можно предположить, что размышления Пушкина могли быть иными. Сам он не имел основания сомневаться в собственной личной храбрости, но ведь и Сергей Трубецкой был храбрым и мужественным человеком. И Тазит, по-видимому, должен был убежать с поля битвы не по трусости, а не выдержав жестокой, бессмысленной бойни, в силу своих христианских убеждений, не желая, не имея душевных сил принять участие в убийстве, нарушить одну из важнейших христианских заповедей. Так, возможно, и Трубецкой усомнился в последний момент в нравственной состоятельности им же затеянного кровавого возмущения.

К началу 1830-х гг. Пушкин приходит к мысли, что человек сам выбирает свой путь в жизни, сам принимает решения, и каждый в мире имеет право на счастье, как он его понимает<sup>38</sup>. Такова основная концепция «Повестей Белкина». По этой концепции и Тазит имел моральное право решать, принять ли ему участие в кровавой битве или уклониться от нее. Тогда и естественная робость героя скоттовского романа тоже, по Пушкину, может быть оправдана. Ведь струсил же на какое-то время добрый и смелый граф Б., стоя под пистолетом Сильвио («Выстрел»). Когда вождь могучего племени Конахар предлагает себя в зятя скромному перчаточнику, он хочет того же спокойного семейного счастья, к которому стремились обычные герои «Повестей Белкина».

Далее, исходя из характера Тазита (и с учетом схемы Вальтера Скотта), можно думать, что *смерть* (пункт 13 второго плана) пушкин-

ского героя могла последовать не на поле боя, а наступить позже, при других обстоятельствах, может быть, в результате самоубийства от раскаяния в слабости. Как мы помним, Конахар, бежавший с поля боя, окруженный общим презрением, бросается в водопад (43, 369—370). По другому варианту, он спасся, выбрался из потока и в келье отца Климента провел остаток своих дней в посте и молитве: «Father Clement converted the heart broken and penitent Conachar, who lived with him in his cell, sharing his devotion and privations till death removed them in succession» (43, 370).

Возможно, именно этот вариант отразился в последнем пункте первого плана: *битва — монах*. Однако не исключено, что в *эпilogе* второго плана мог быть описан и другой вариант судьбы главного героя (самоубийство), а может быть, в *эпilogе* содержался бы намек на спасение главного героя и соединение его, как в романе Скотта, со своим духовным отцом. Пушкин вообще любил такие открытые неопределенные финалы, вполне соответствовавшие нормам романтической поэтики. Таковы, например, финалы «Бахчисарайского фонтана» и «Цыган».

В 1829 году Пушкин вновь возвращается к проблеме взаимоотношения человека со своим временем, цивилизацией и системой культуры. Шесть лет назад в «Цыганах» Пушкин решил ее в твердой уверенности, что человек не может вырваться за пределы нравственных канонов, определенных ему его средой и социальным статусом. Алеко не мог отказаться от эгоистических норм поведения, выработанных цивилизацией, и стать свободным цыганом. Тазит, напротив, показан Пушкиным именно отвергающим национальные и социальные традиции во имя гуманных, христианских, но чуждых его среде представлений о добре. Разработку этой же проблемы Пушкин нашел в «Пертской красавице», и сюжет его поэмы впитал в себя мотивы скоттовского романа. Может быть, сюжетная близость к роману Вальтера Скотта, которая чем далее, тем более могла бы проявиться, остановила работу Пушкина над поэмой. Как бы то ни было, поэма осталась незаконченной.

P. S. Пушкин и позднее не забыл прославленного романа Вальтера Скотта. Любопытные реминисценции «Пертской красавицы» проступают в «Скупом рыцаре» (1830). Почти наверняка эти реминисценции не являются случайным совпадением.

В монологе барона Филиппа можно увидеть некоторые мотивы рассуждений лекаря Двайнинга (Dwining) из «Пертской красавицы»<sup>39</sup>. Двайнинг называет место, где хранит деньги, часовней (chapel), сундук с деньгами — алтарем (the altar of mine idol), золото

— образами и иконами (images), а себя — богомольцем (worshipper) (43, 83, 298).

Для барона Филиппа, скупого рыцаря, его сундуки — «священные сосуды», а золото — «елей»:

Он разобьет священные сосуды,  
Он грязь елеем царским напоит...

(VII, 113)

Вальтер Скотт рассказывает, как скупец-хирург навещает свои спрятанные в сундуке сокровища «... he gazed in delight upon the hoards which he secretly amassed, and which he visited from time to time ...he added the gold he had received ...to the mass of his treasure, and having gloated over the whole for a minute or two turned the key of his concealed treasure house» (43, 83, 84). (Перевод: Он с восторгом взирал на богатства, тайно им собранные, на которые он иногда приходил посмотреть ... он добавил недавно полученное золото к своим сокровищам и, пожирая их глазами в течение одной-двух минут, повернул ключ, запирая хранилище своих богатств).

Не забыта Пушкиным даже такая мимолетная деталь вальтер-скоттовского романа, как ключ, запирающий сокровищницу. Он становится важной деталью для характеристики внутреннего мира скупца:

Когда я ключ в замок влагаю, то же  
Я чувствую, что чувствовать должны  
Они <убийцы. — М. А.>, вонзая в жертву нож: приятно  
И страшно вместе.

Как и скоттовский хирург, барон Филипп спускается в подвал, чтобы пополнить свои сокровища:

В шестой сундук (в сундук еще не полный)  
Горсть золота накопленного всыпать.

(VII, 110)

Дваининг гордится своей никому не ведомой силой, ему нравится прятать ее от людей («it suits my humor to hide the source of it») и наслаждаться сознанием своего могущества, хотя он и не прочь в будущем явить свою власть воочию: «I will make you feel my power» (43, 85).

Эти размышления развернуты Пушкиным в мрачную, «подпольную» философию его героя. Для Скупого рыцаря золото привлекательно именно как источник полной, абсолютной власти над миром:

Что не подвластно мне? как некий демон  
Отселе править миром я могу...  
(VII, 110)

Разумеется, Пушкин только отталкивался от текста Вальтера Скотта. Его формулировки глубже, трагичнее, чем размышления второстепенного персонажа скоттовского романа. Пушкинский Скупой рыцарь — настоящий демон, которому подвластно все: гений, музы, добродетель, злодейство, и ему вполне достаточно ощущения могущества:

Я знаю мощь мою: с меня довольно  
Сего сознанья...

---

---

## ПЛАНЫ ПОВЕСТИ О СТРЕЛЬЦАХ

---

---

В 1833 году возникает у Пушкина замысел исторического романа из петровской эпохи (о стрельцах и стрелецких бунтах). Сохранились пять планов этого неосуществленного замысла<sup>1</sup>. В 1830-х гг. поэт активно работает над подготовкой «Истории Петра». Однако, может быть, непосредственным толчком для разработки темы стрелецкого бунта послужило появление в 1832 году романа Константина Масальского «Стрельцы»<sup>2</sup>. Масальский привел в своей книге массу исторических материалов, и Пушкин внимательно прочел их. В его библиотеке сохранились две части романа Масальского. Книги разрезаны<sup>3</sup>.

Как бы то ни было, в бумагах Пушкина появляется несколько черновых набросков, по-видимому, подготовительных записей к будущему роману. Установить хронологическую последовательность этих набросков достаточно трудно, а с полной достоверностью, кажется, и невозможно. Однако обращение к рукописям поэта заставляет отвергнуть последовательность, предлагаемую Большим Академическим изданием. Мы считаем **первой** записью набросок в верхней части чистого листа (№ 4 по Академическому изданию):

«Стре<лец> влюбленный в боярскую дочь — отказ — приходит к другу заговорщику — вступает в заговор —»<sup>4</sup>.

Текст написан ясно, легко читается, в нем нет зачеркиваний и поправок. Перед нами очень короткий план будущего произведения. Сразу назван его главный герой: *стрелец*. Это слово позднее пройдет через все записи, объединяя их общим протагонистом. В большинстве своем стрельцы (кроме начальников) были просто-го происхождения. Так в романе сразу возникает драматический мотив социального неравенства, который позднее будет уточняться. Здесь еще, что характерно именно для первоначального наброска, нет ни собственных имен, ни исторических деталей. Время

Стрелц. в монастыре — в дворец —  
— отсюда — в монастырь —  
заговорником — Стрелц. в  
дворце —

Первый план. А. С. Пушкин. Рабочие тетради. Т. III.  
СПб.: Лондон, 1995, ПД. 831, л. 60 об.

заговора, участие в нем исторических персонажей проясняются в дальнейшем.

Затем Пушкин в тетради заполняет планами будущего произведения целую страницу<sup>5</sup>. Сначала заполняется левая сторона следующими друг за другом двумя планами и с множеством зачеркиваний и поправок.

Потом с правой стороны уже почти без поправок Пушкин записывает еще два плана. (В Академическом издании они напечатаны под одной цифрой: 1). Эти записи сделаны, вероятно, чуть позднее, другим, более тонким пером. Этим же пером Пушкин вносит несколько исправлений в предыдущие два плана. Первый из правых планов он помечает цифрой: 1). Это, видимо, и послужило основанием редактору академического издания начать публикацию записей с этого плана и объединить две записи под одним номером. Мы считаем вторым план, открывающий левую часть страницы (в квадратных скобках зачеркнутое):

«[Софья сваха]  
Софья во дворце. [Софья в монастыре]

---

Нищие, скоморох

---

Скоморох и ст.<арый> раскольник  
[скоморох и раскольник]

---

Молодой стрелец. Заговор. [стрелец и молодой жених]».

В задуманном произведении появляется историческое лицо (царевна Софья), уточняются исторические реалии (скоморох, раскольник), место действия (монастырь, дворец). *Старый раскольник*, как мы узнаем из дальнейших планов, является отцом протагониста. Среди стрельцов было много раскольников. Так что пуш-

кинский *стрелец* — лицо вполне типичное для своего времени и положения. Нищие, скоморохи, раскольники образуют исторический фон будущего произведения, его подлинную историческую ауру.

Упоминание о заговоре вводит нас в атмосферу стрелецких бунтов. Действие задуманной повести должно было, по всей вероятности, происходить в 1682 году. 15—17 мая стрельцы, подстрекаемые Милославскими, соперниками Нарышкиных (Наталья Нарышкина была матерью Петра), учинили в Кремле кровавое побоище. В результате бунта 26 мая было провозглашено правление обоих малолетних императоров (Ивана и Петра). 29 мая правительницей была объявлена их старшая сестра Софья.

События продолжали развиваться следующим образом: активизировались представители раскола, которым покровительствовал новый начальник стрелецкого войска князь Хованский. В Грановитой палате прошли прения между раскольниками и руководителями духовенства. Каждая сторона утверждала свою победу. Софья приказала отрубить голову одному из руководителей раскола — Никите Пустосвяту. Отношения Хованского с Софьей обострились, и Хованский с сыном были казнены 17 сентября 1682 года.

В пушкинском плане речь, по-видимому, идет об этих событиях. Стрельцы волнуются. Софья ищет среди них сторонников. Протагонист, которому уже известно о заговоре, оказывается между лагерем стрельцов, политические цели которых еще не ясны, и рвущейся к власти Софьей. Религиозные симпатии, домашнее воспитание (он раскольник) влекут его к противникам Софьи. Царевна была известна своей западной ориентацией, тайной связью с князем Голицыным. Да и вообще верховное правление женщины было для староверов недопустимо.

В то же время, возможно, умная, властная, энергичная Софья привлекает к себе протагониста. Важную роль должно было сыграть и обещание Софьи помочь *стрельцу* в его матримониальных делах. Правительница выступает в роли свахи, как Император выступал сватом Ибрагима в незаконченном «Арапе». В такой роли (свата, или посаженного отца, или гостя-благодетеля на свадьбе) Петр I регулярно появлялся в русских исторических повестях и романах, в том числе и в только что вышедших «Стрельцах» Массальского<sup>6</sup>.

С историческими событиями соединяется любовный, романтический сюжет. У стрельца, кажется, появляется соперник, *молодой жених*. Впрочем, мотив этот почти сразу исчезает: строка зачеркивается. Однако тема соперничества вновь возникнет в последующих планах.





См. см. Рус.

45

1) счастливый Андрей Бурлакин в молодости, поэт, поэт  
вспомнил Пушкина — он и после себя не  
забыл фактов — и после себя —

—  
Минувшая эпоха — автор Бурлакин  
вспомнил не только, но и после себя —  
не был пережит — он переживал

2) как бы обрел свое место — и пробил —

3) О чем же он так писал — об этом —  
— и так — подвиг — Б.

45.

План 4. — А. С. Пушкин. Рабочие тетради.  
Т. V. СПб.; Лондон, 1996, ПД 837, л. 45

Следующий план, **третий** по нашей нумерации, записан непосредственно за предыдущим на левой стороне листа. Он гораздо пространнее. Здесь много зачеркиваний и поправок. Уточняется и разрабатывается намеченный сюжет. Этот план начинается, как первый, с разработки любовной темы (в скобках — зачеркнутое):

«Стрелец влюбляется в Ржевскую, сватается, получает отказ — он становится уныл — товарищ открывает ему заговор [товарищ его принимает его в заговор] ... Он объявляет обо всем правительнице. Софья принимает его как заговорщика [Софья хвалит его и посылает прямо под арест], объяснение. — Софья сваха, комедия у боярина. Бунт стрелецкой. Боярин спасен им. Обещает выдать за него дочь [выдает за него дочь — другую. Обед у тестя, бедная родственница. Комедия у Боярина.] Ржевская замужем. [Мать топится и выдает ее за боярина, думного дворянина]».

Пространная запись (самая длинная из всех планов и самая запутанная и сложная) с достаточной полнотой проясняет содержание задуманного романа (или повести). Влюбленный молодой герой. Отказ родителей девушки. Политические события властно вторгаются в любовную интригу. Герой переходит на враждебную сторону. Это происходит достаточно драматично: Софья поначалу не доверяет ему, в одном из вариантов даже сажает под арест. Затем происходит примирение. Софья соглашается быть свахой и терпит неудачу. Может быть, на пиру, в доме боярина устраивали игрища скоморохи. Старый раскольник (отец протагониста) выступил против бесовской потехи (по свидетельству историков, на улицах и площадях Москвы шли непрерывные церковные прения, часто кончавшиеся драками). Произошел скандал. О браке с раскольником, сыном скандалиста, не могло быть и речи. Вскоре разразился бунт. *Стрелец* спасает отца возлюбленной. Эта строка, несомненно, ведет нас к оставленному замыслу об Арапе Петра Великого, где Ржевский вспоминает, как некий стрелец «во время бунта спас ему жизнь» (VI, 45). Пушкин, видимо, решил использовать мотив оставленного замысла в новой ситуации. Предположение это представляется тем более логичным, что Ржевские, так же, как и Ганнибалы, были предками Пушкина. Поэт, забросив работу над «Арапом», тем более охотно стал работать над романом, в котором снова появлялись его предки<sup>7</sup>.

Итак, благородный отец обещал отдать спасителю руку дочери (на мгновение, может быть, возникает библейский поворот сюжета: Ржевский отдает *другую* дочь, как Лаван Иакову Лию вместо Рахили. Но этот вариант сразу отменяется, зачеркивается). Однако же противодействие матери имеет несомненный результат: «Ржевская замужем».

Мы уже говорили (см. главу о «Тазите»), что в 1830-е гг. Пушкин, как, впрочем, и все европейские писатели, находился под сильнейшим влиянием Вальтера Скотта. Он, несомненно, знал, читал и перечитывал все его романы. Поэтому обращение к текстам Вальтера Скотта, что мы будем делать неоднократно на протяжении этой главы, поможет нам прояснить замыслы Пушкина.

Мотив насильственного брака по настоянию злобной матери составляет основу знаменитого романа «Ламермурская невеста». Это один из немногих романов Скотта без обычного для этого автора happy end. В начале романа молодой протагонист Рэвенсвуд спасает от верной гибели своего врага лорда Эштона и его дочь Люси, в которую влюбился. Богатый вельможа не прочь выдать за знатного бедняка Рэвенсвуда свою дочь, чтобы загасить старинную вражду между двумя домами. Однако жена Эштона, гордая, надменная, упрямая и злая, противится этому браку. Не помогает и заступничество и уговоры влиятельного и знатного вельможи, маркиза Э. Люси насильно выдают замуж. У Скотта роман заканчивается трагически: Люси умирает, Рэвенсвуд кончает жизнь самоубийством. Соответствий этим событиям в записях Пушкина нет. Однако из последующих планов можно предположить трагическую гибель стрельца (он будет назван «казненным») и не очень счастливое замужество героини.

Закончив работу над третьим планом, Пушкин переходит на правую часть листа. Появляется **четвертый** по нашей нумерации план (первый по Большому Академическому изданию):

«Стрелец, сын старого раскольника, видит Ржевскую в окошко, переодетую горничной девушкой — сватает через мамушку-раскольницу — получает отказ».

Запись не имеет исправлений. Только *сын старого раскольника* вписано сверху. Она подводит итог предыдущим раздумьям автора и составляет, кажется первую часть задуманного романа. Получает логическое объяснение сватовство протагониста: он увидел переодетую боярышню, принял ее за свою ровню и послал сваху. (Неясно, почему девушка была переодета. Может быть, в связи с надвигающимся бунтом. Однако мотив переодевания в костюм более низкого социального статуса Пушкин незадолго до того использовал в повести «Барышня-крестьянка»).

Немного отступя и отделив предыдущую запись чертой, Пушкин продолжает развивать содержание задуманного романа:

«Полковник стрелецкий имеет большое влияние на своих; Софья хочет его к себе переманить — он рассказывает ей каким образом узнал он о заговоре — —

Софья. О чем же ты был печален? Об отказе — Я сваха — Но будь же etc.»

Как видим, содержание этой заметки уже было разработано в предыдущих записях: встреча с Софьей, заговор, сватовство правительницы. Единственное, и важное, отличие — здесь *стрелец* назван полковником, но это, несомненно, тот же самый человек, получивший отказ от Ржевских. Может быть, чин полковника возник под влиянием романа Масальского. Там протагонист Василий Бурмистров командует стрелецким полком<sup>8</sup>. Во всяком случае, как мы видели ранее, ни в одном плане протагонист не имел чина. Полковничье достоинство, однако же, лишало смысла решительный отказ боярина Ржевского (или его жены): стрелецкий полковник имел все-таки относительно высокий социальный статус.

Случайно ли появилось у протагониста это звание или Пушкин собирался как-то изменить сюжет, мы не знаем. Больше *стрелец* в записях Пушкина не появляется. Зато в замыслах Пушкина возникает и записывается на отдельном листе исполненный напряженного интереса **пятый** план повествования уже о сыне протагониста:

«Сын казненного стрельца воспитан вдовой вместе с ее сыном и дочерью: он идет в службу вместо ее сына. При Пруте ему Петр поручает свое письмо —

*Приказчик* (сосед?) вдовы доносит на своего молодого барина, который лишен имения своего и отдан в солдаты. Стрелецкий сын посещает его семейство (посещает ее, офицер) и у Петра выпрашивает прощение молодому барину».

Итак, в **пятом** плане протагонистом становится уже сын *стрельца*. Это ключевое для замысла слово поддерживает тематическую связь пятой заметки с предшествующими четыремя. Можно думать, что *стрелец*, отвергнутый родителями возлюбленной, Ржевской, женился вскоре после событий 1682 года. Вероятно, он остался верен правительнице Софье и после ее падения и воцарения Петра в 1689 году. Тогда естественно предположить, что *стрелец* был казнен в кровавой расправе, которую учинил Петр в 1698 году, во время последнего стрелецкого бунта, когда после страшных допросов и пыток были лишены жизни более 1200 человек.

Возможно, бурная биография *стрельца* могла стать предысторией романа о его сыне. Тогда все изложенные в предыдущих планах события могли бы быть рассказаны во вступительной главе (главах) романа. Подобный композиционный прием встречается у Вальтера Скотта. Так, в романе «Гай Маннеринг» предыстория протагониста описана в первых десяти главах, после чего следует перерыв в семнадцать<sup>9</sup> лет.

С большой долей вероятности можно предположить, что «вдова» последнего плана есть та самая дочь Ржевского, за которую сватался *стрелец*. Она взяла к себе в дом и воспитала сына человека, который спас ее отца и любил ее самое.

Поступок этот требовал от вдовы немалого мужества. Как показал В. С. Листов в своем очень ценном исследовании, посвященном пятому пушкинскому плану, укрывательство родственников казненных было чревато для лиц, дававших убежище, серьезными неприятностями. К 1700 г. относится указ Петра I «О высылке из Москвы *остаточных* стрельцов и о недержании их никому». По этому указу запрещалось давать пристанище не только стрельцам, но и их женам и детям<sup>10</sup>.

Эта сюжетная линия, как справедливо заметил Д. П. Якубович, была разработана Пушкиным еще в «Арапе Петра Великого», где героиню зовут Наталья Ржевская (фамилия, фигурирующая в планах о стрельцах), а мальчик взят в дом потому, что «отец его во время бунта спас жизнь» отца Натальи, боярина Ржевского<sup>11</sup>. Не забудем, что «Арап» к этому времени уже окончательно оставлен Пушкиным и заготовки для него, в том числе сюжетные, вполне могли быть использованы в другом романе.

В «Арапе» трагическую завязку сюжета должна была определить любовь Натальи к сироте, сыну стрельца. Видимо, по замыслу Пушкина, *стрелецкий сын* и дочь вдовы должны были полюбить друг друга (как Наташа и Валериан в «Арапе»).

В пятом плане сюжета о стрельцах Пушкин намечает неожиданный и острый поворот: приемный идет в службу вместо законного сына. Труд Листова позволяет нам прокомментировать эти события. В 1706 году Петр I приказал призвать дворянских детей в военную службу. Если *сын стрельца* родился вскоре после 1682 года, где-то в 1684—1685 гг., то в 1706 году ему было бы чуть больше или около 20 лет. (Таков обычно возраст молодого героя в романах Скотта.)

Указ Петра 1706 года выписан в пушкинской «Истории Петра» дважды, причем в первый раз со специальной отметкой NB<sup>12</sup>: «...недорослей из дворян *укрывающихся* (курсив мой. — М. А.) записывать в службу»<sup>13</sup>.

Возможно, выписывая этот указ и отмечая его знаком NB, Пушкин думал о своем стрелецком сюжете. Таким «укрывающимся» был молодой сын вдовы. Может быть, речь идет не о трусости молодого человека, а о сознательном нежелании служить царю-преобразователю, нарушителю традиций и устоявшихся норм жизни.

Попробуем теперь реконструировать завязку неосуществленного произведения, помня, что это могут быть всего лишь неопреде-

ленные предположения, но не забывая и знаменитой пушкинской формулы: «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная». Если справедливо наше предположение, что *стрелецкий сын* и дочь вдовы полюбили друг друга, то несомненно, что эта любовь неродовитого приемыша да еще и сына государственного преступника должна была привести в ужас вдову-боярыню. И тут же на нее обрушивалось новое горе: сына насильственно забирали в службу. В такой ситуации молодой герой, *сын стрельца*, проявляет большое душевное благородство, разрубая этот Гордиев узел. Жертвуя собой, своим счастьем и счастьем любимой девушки, он не только успокаивал приемную мать, но и спасал ее от разлуки с родным сыном, обреченным идти в подневольную службу.

Отказываясь от службы, сын вдовы вступает в конфликт с законом и с самим государем, усугубляя вину своего семейства, которое не только воспитало в своем доме врага-сироту, но и уклоняется от обязательной службы. Сам же *стрелецкий сын* не только незаконно остался в Москве после казни отца, но теперь, очевидно, меняет имя и свой социальный статус (из человека простого звания становится боярином-дворянином) (Листов, 106—107).

Следующая фраза: «При Пруте ему Петр поручает...» переносит нас сразу в 1711 год, к неудачному походу Петра I против турок. Из этой фразы следует, что молодой человек лично известен Петру. Как это могло получиться? Заполняя пятилетнюю лауну в биографии сына стрельца, Листов предполагает, что молодой герой принял участие в Полтавской битве (1709), в преследовании после этой битвы разбитых наголову Карла XII и Мазепы (в пушкинской «Истории Петра» подробно и в деталях упоминается о преследовании разгромленных шведов вплоть до реки Прут, где спустя два года Петр капитулировал перед турками) (Листов, 111—114; X, 122—123).

В этих исполненных трудов, опасностей и приключений событиях мог проявить себя и *стрелецкий сын*, здесь он, должно быть, и получил офицерский чин и стал лично известен Петру. Он, естественно, принимает участие и в дальнейших боевых действиях, вместе с войском Петра попадает в западню на Пруте, когда царь вынужден был признать свое поражение и согласиться на все условия неприятеля.

Фраза: «при Пруте ему Петр поручает свое письмо...» — показывает, что по замыслу Пушкина *стрелецкий сын* становится одним из ближайших и доверенных лиц Петра I. Именно ему поручает Петр отвести сенаторам апокрифическое письмо-завешание, в котором во имя интересов государства отказывается (или готов отка-

заться) от власти. В этом письме царь проявляет удивительную силу воли, ясность мысли и хладнокровие: «Уведомляю вас, что я со всею армиею без всякой вины или неосмотрительности с нашей стороны, единственно по полученным ложным известиям, окружен со всех сторон турецким войском, которое вчетверо наших сильнее, и лишен всех способов к получению провианта, так что без особой Божией помощи ничего иного предвидеть не могу, как что со всеми нашими людьми погибну либо взят буду в плен. В последнем случае не почитайте меня царем и государем своим и не исполняйте никаких приказаний, какие тогда, может быть, от меня были бы к вам присланы, хотя бы они и собственной моею рукой были писаны, пока сам я не возвращусь к вам. Если же я погибну и вы получите верное извещение о моей смерти, то изберите достойнейшего из вас моим преемником»<sup>14</sup>.

Такого письма Петра не существует, и Пушкин прекрасно это знал и первый сформулировал: «Штелин уверят, что славное письмо в *Сенат* хранится в кабинете его величества при императорском дворце. Но, к сожалению, анекдот, кажется, выдуман и чуть ли не им самим. По крайней мере письмо не отыскано»<sup>15</sup>.

Однако волнующий документ, отвергнутый историком (Пушкин и пишет: «к сожалению»), очевидно, должен был найти место в романтическом повествовании, придавая облику Петра дополнительные благородные и самоотверженные черты. Как в «Капитанской дочке» кровожадному Пугачеву приданы черты благородного разбойника, так и в романе о стрелецком сыне Петр выступал не царем, чьи указы «писаны кнутом», по выражению Пушкина-публициста, а внимательным, добрым и великодушным государем. *Стрелецкий сын* должен был стать его верным конфидентом, выполняющим сложное, ответственное и опасное поручение: пробраться сквозь неприятельские войска и доставить в столицу документ первостепенной важности.

Анекдот, рассказанный Штелином, содержит некоторые подробности об этом эпизоде, которые Пушкин, по-видимому, собирался использовать в своем романе. Так, в нем говорилось о большом доверии, которое Петр питал к офицеру: «At last, when he thought all was irrecoverably lost, he entered his tent, sat down with great tranquillity, wrote and sealed a letter, and sent for the officer in whom *he placed the greatest confidence* <курсив мой. — М. А.>. — “Will you undertake, — said he, — to pass through the enemy’s camp, and carry a letter to Petersburg?” — The officer, who was well acquainted with the country, answered in the affirmative, and assured His Majesty that his letter should be delivered. Peter, relying on the word of this



servant, gave him the letter, addressed to the senate, kissed his forehead, and added these words: "Go, then, and God be your guard".

In nine days the officer reached the capital, and delivered his letter to the assembled senate»<sup>16</sup>.

(Перевод: «Наконец, когда он <Петр. — М. А.> подумал, что все безвозвратно потеряно, он удалился в палатку, сел и совершенно спокойно написал и запечатал письмо и послал за офицером, к которому он питал высочайшее доверие <курсив мой. — М. А.>. "Сможешь ли ты пробраться через вражеский лагерь и доставить в Петербург письмо?" Офицер, хорошо знакомый с местностью, отвечал утвердительно и заверил Его Величество, что письмо будет доставлено. Петр, полагаясь на слово своего подданного, вручил ему письмо, адресованное сенату, поцеловал его в лоб и сказал: "Ступай, и да хранит тебя Господь".

Через девять дней офицер добрался до столицы и вручил письмо собранию сената»).

Если бы лаконичный план превратился в развернутый текст, то можно не сомневаться, что в романе было бы рассказано, как успех молодого человека завел его еще большую благосклонность государя и сделал его еще более близким Петру человеком.

Второй абзац пятого пушкинского плана охватывает заключительные главы задуманного произведения. «Приказчик вдовы доносит на своего молодого барина...». Эта строка должна быть соотнесена с записью Пушкина в «Истории Петра», под 1711 годом, в которой конспектируется указ самодержца: «Объявить: кто сыщет скрывающегося от службы, или о таковом возвестит, тому отдать все деревни того, кто ухоронивался». После этой записи Пушкин ставит двойное *Nota bene*<sup>17</sup>. Эта отметка показывает важность записи для автора. Может быть, она уже тогда предназначалась для использования в будущем романе.

К этой же теме относится и другая запись Пушкина о 1713 году: «Прибывшие из Москвы сенаторы донесли Петру, что вопреки указу 1711 года многие дворяне от службы укрываются. Тогда Петр издал тиранский свой указ (от 26 сентября), по которому доносителю, из какого звания он бы ни был, отдавались поместья укрывающегося дворянина» (X, 175; Листов, 109).

Эти записи об указе, который сам Пушкин называет «тиранским», служат ключом к объяснению ситуации, в которую попадает сын вдовы и все его семейство. Разъяснение 1713 года позволило ввести в действие романа и простолюдина («из какого звания он бы ни был»), и Пушкин колеблется между двумя доносчиками: приказчиком, т. е. человеком простого звания, из холопов или дво-

ровых, или соседом, очевидно, дворянином, человеком того же круга, что вдова и ее сын, «молодой барин». Поэтому слово «сосед» появляется в плане позднее (надписано сверху) и сопровождается вопросительным знаком.

Передача имения холопу обостряла и без того трагические обстоятельства, в которые попадало облагодетельствовавшее *стрелецкого сына* семейство. С другой стороны, завладевший имением доносчик может стать претендентом на руку сестры молодого барина (например, обещал не доносить, не забирать имения в случае согласия молодой девушки на брак). Таким образом он становился соперником *стрелецкого сына*, выступая в той роли, которая была отведена позже Швабрину в «Капитанской дочке». На такую роль более подходил сосед, негодяй-дворянин, а не холоп-приказчик. Тогда становятся понятны колебания Пушкина и вопросительный знак возле слова «сосед».

Как бы то ни было, положение семейства, которое облагодетельствовало *стрелецкого сына*, становилось критическим. Нищее, находящееся во власти бывшего раба или жестокого аморального соседа (доносчика), оно лишалось и единственной опоры в брате и сыне, насильственно отданном в солдаты.

Д. Якубович расшифровывает последнюю запись пушкинского плана следующим образом: «Стрелецкий сын посещает (ее) его семейство офицером и у Петра выпрашивает прощение молодому барину», — и затем совершенно точно интерпретирует ее: «Примыш, уже ставший офицером, по просьбе любимой девушки, обращается к Петру, и тот, помня старую услугу, в награду прощает молодого барина»<sup>18</sup>. К сказанному следует только добавить, что *стрелецкий сын*, естественно, получает прощение и за свой, вызванный благими и благородными намерениями, обман: присвоение чужого имени.

Думается, что этой счастливой развязкой и должен был закончиться роман. Листов, однако, предполагает, что роман *мог* завершиться трагически, т. к. вмешавшийся в дело Петр *мог бы* захотеть женить *стрелецкого сына* на другой и *мог бы* тем самым погубить его счастье и разрушить его любовь, как это *могло бы*, по мнению Листова, произойти в «Арапе», где навязанная Петром женитьба должна была разрушить счастье Ибрагима (Листов, 115—118).

Такое предположение ни на чем не основано. Во-первых, Ибрагим никого не любит (графиня Д. взяла себе нового любовника и забыта им), он сам, добровольно, женится на Наташе, которая ему нравится и которая (о чем он не знает), к несчастью, любит другого. Во-вторых, скорее в уме Пушкина должна была возникнуть ори-

ентация не на старый, а на новый, уже задуманный роман (первые планы «Капитанской дочки» относятся к 1832 году). Там Маша Миронова выпрашивала прощение жениху у женщины-императрицы Екатерины II, здесь жених спасал семью невесты, испрашивая прощение у императора Петра I. Получалось как бы зеркальное отражение:

Маша	— Екатерина II	— жених
Стрелецкий сын	— Петр I	— невеста

Наконец, и это, может быть, самое главное, тема прощения виновного, и именно царем, и именно Петром I, сильно занимала Пушкина как раз в это время (он сам был помилован — прощен царем, надеялся на прощение декабристов). В 1835 году, несколько позже планов о *стрелецком сыне*, написано стихотворение «Пир Петра Первого»:

...он (Петр I) с подданным мирится,  
Виноватому вину,  
Отпуская, веселится,  
Кружку пенит с ним одну ...  
И прощенье торжествует,  
Как победу над врагом.

Стихотворение оценивалось современниками как просьба о прощении декабристов<sup>19</sup>.

Естественно предположить, что такой финал мог рисоваться воображению Пушкина как счастливое завершение, happy-end, исторического романа, сюжет которого был исполнен острых приключений и трагических происшествий.

Восстановив, по возможности, содержание задуманного произведения, можно попытаться наметить некоторые точки сближения этого замысла с романами Вальтера Скотта. Тем самым прояснятся некоторые идеи, некоторые черты композиции и фабулы этого, к сожалению, ненаписанного романа. Разумеется, обладая лишь несколькими строчками чернового плана, мы почти не можем говорить о сходстве мотивов и о сюжетных параллелях. Речь в основном пойдет об общей системе скоттовского романа и принципах его построения, которые могли бы отразиться в пушкинском произведении.

Замысел пушкинского романа возникает на основе глубокого и тщательного изучения исторических материалов. Если «Арап Петра Великого» вырос на семейных преданиях и, создавая его, Пушкин опирался лишь на семейный архив да на талантливые очерки

Корниловича, то замысел романа о стрелецком сыне набрасывается автором, давно и плодотворно изучающим эпоху. Памятником этого труда остаются сотни страниц пушкинских конспектов и размышлений<sup>20</sup>. Ход работы здесь примерно такой же, как и в случае с «Капитанской дочкой»: когда художественные замыслы и исторические изучения идут почти параллельно и исторический труд предшествует появлению художественного текста.

Подобное отношение к истории как к тщательно изучаемому фону, становящемуся фундаментом исторического романа, характерно для художественной манеры Скотта, впервые в истории литературы соединившего в единое целое историю и художественный вымысел. Подчеркнутое декларирование правдивости и даже научности художественного текста становится важнейшим признаком художественной манеры Скотта. Он сообщает о своих научных разысканиях в обширных предисловиях и пространственных примечаниях. И дело здесь не только в декларациях. Все романы Скотта проникнуты (часто обманчивым) ощущением подлинности, исторического правдоподобия, о чем предшественники Скотта несколько не заботились. Осуществление романтического принципа *color local* приводит Скотта к созданию широких исторических полотен, которые воспринимаются современниками как подлинные картины жизни далекого прошлого (эффект, видимо, похожий на *fact based stories* современной литературы). Достоверности несколько не мешает введение в текст анахронизмов, недостоверных фактов и даже прямого вымысла. Часто Скотт нарочно обращает внимание читателя на эти неточности в подстрочных примечаниях и предисловиях, тем самым создавая иллюзию полной истинности всего остального.

Пять планов повести или романа о стрельцах, при всей их схематичности, явственно обнаруживают эти основные принципы вальтерскоттовой поэтики. Все наброски показывают безукоризненное владение историческим материалом и превосходное знание эпохи: раскольники, стрелецкий заговор, бунт, Софья и ее отношения с Петром, указы Петра, его войны и т. д. и т. п. Пушкинский роман должен был воплотить бурную петровскую эпоху с не меньшей яркостью, чем кровавый мятеж Пугачева отразился в «Капитанской дочке». При этом Пушкин, как и Скотт, несколько не боялся вводить в роман вымышленные и не соответствующие действительности факты. Таково апокрифическое письмо Петра с берегов Прута, которое должно было сыграть важнейшую роль в сюжете романа. Кто знает, может быть, Пушкин, на манер Скотта, снабдил бы его скептическим примечанием историка?

Неоднократно отмечалось, что герой Скотта, честный и благо-

родный молодой человек, обычно оказывается между двумя станами врагов и яростных политических противников. В силу своих политических убеждений, личных качеств, свойственной европейцу толерантности Скотт никогда не делает своего героя фанатиком, слепым приверженцем какой-либо политической доктрины. Его герой отличается гуманностью, терпимостью, он может менять свои политические взгляды, но всегда остается человеком честным, благородным, добрым и порядочным.

Позволим себе обратиться к нескольким примерам. Айвенго — саксонец. По происхождению и воспитанию он принадлежит к покоренному народу, однако становится близким другом короля завоевателей, Ричарда Львиное сердце, принимает образ жизни и обычаи норманов, но никогда не поступается гордостью, чувством собственного достоинства, остается преданным и почтительным сыном отца, разъяренного его «изменой».

Маркем Эверард («Woodstock or the Cavalier») переходит, по своим внутренним убеждениям, на сторону революции и становится приближенным Кромвеля, что не мешает ему спасти своего друга-роялиста, любить дочь другого роялиста, смеяться над фанатизмом своих единомышленников.

Особенно справедливо сказанное в отношении знаменитого романа Скотта «Old Mortality» (в русских переводах, с французского «Шотландские пуритане» или «Пуритане»). Протагонист этого романа Генри Мортон бесконечно далек от фанатизма, узкой религиозной нетерпимости своих соотечественников-шотландцев, он не хочет принимать участие в бунтах и восстаниях. Но жестокость и несправедливость англичан заставляет его искренне присоединиться к восставшим. Однако и вовлеченный в борьбу, он стремится избежать ненужных насилий и жестокости, найти разумный компромисс.

Сравнивая скоттовские ситуации с замыслами Пушкина, можно отметить, что *стрелецкий сын*, как Мортон в «Пуританах», по своему происхождению принадлежит к фанатикам-староверам. (Любопытно, что М. Погодин в 1827 году сравнил русских раскольников с шотландскими пуританами, явно имея в виду роман Скотта: «Наши раскольники <...> представляют черты, которых не имеют и пуритане шотландские»<sup>21</sup>).

Религиозная принадлежность отца протагониста сильно занимала Пушкина, и он дважды подчеркнул это в планах («сын старого раскольника», «сватает через мамушку-раскольницу» (VIII, 430)). (К раскольникам, вероятно, принадлежит и семья, принявшая *сына стрельца*: и сваха была раскольница, и, возможно, «молодой барин»).

Среди стрельцов вообще, как известно, было много раскольников. Хотя, по словам исследователя, версия о создании и бытовании легенды о Петре-антихристе, главным образом, в старообрядческой среде «не подтверждается»<sup>22</sup>, тем не менее ясно, что именно среди раскольников она получила широкое распространение и всячески ими поддерживалась. См., например, старообрядческое «Сказание о царе Петре истинном и царе Петре ложном»<sup>23</sup> или «Челобитную об антихристе еже есть Петр I»<sup>24</sup>.

Таким образом, мы можем думать, что *стрелецкий сын* воспитывался в атмосфере религиозного фанатизма, нетерпимости и, естественно, в ненависти к еретическим западным новшествам петровского царствования. Для староверов Петр был царем-антихристом, немцем, которым басурманы подменили во время заграничного путешествия настоящего царя. Этот антихрист и казнил, вернувшись в Россию, отца героя.

Так судьба *стрелецкого сына* становится похожей на судьбу протагониста «Пуритан» — Генри Мортон. Отец этого молодого человека, полковник Мортон, сражался на стороне пуритан. Сам Генри волею обстоятельств и семейных традиций тоже оказывается в лагере нонконформистов, далеко не разделяя присущей им узости взглядов, сектантства и нетерпимости.

Можно думать, что и *сын стрельца* отличался более широкими взглядами, чем его окружение. Может быть, он, как и Мортон, тяготился узостью и ограниченностью окружающей его обстановки и, как герой Скотта, порывался оставить постылый дом, где его удерживала только любимая девушка.

Вместе с тем жизненные обстоятельства *сына стрельца* гораздо более острые, напряженные и политически более определенные, чем у Мортон, который не имеет причин кого-либо ненавидеть. *Сын стрельца* должен быть врагом царя-преобразователя: ведь Петр I не только резко изменил и изуродовал жизнь русских людей, но и казнил его отца. Жизнь в доме вдовы должна была закрепить и усилить ненависть к новшествам, введенным в России Петром.

Снова нарушается закон и снова подымается волна страха и ненависти к царю, когда, обманывая власть, *стрелецкий сын* идет служить под чужим именем, оставляя трепещущих благодетелей в доме, который вскоре им предстоит потерять.

Однако уже в следующей фразе: «...ему Петр поручает свое письмо», — мы видим молодого человека доверенным лицом царя. Вряд ли это искусная маска, личина, притворство. Герой задуманного Пушкиным романа явно благородный, честный и пылкий молодой человек, напоминающий молодых героев Вальтера Скотта и, может быть, уже предвосхищавший Петрушу Гринева, над

образом которого уже задумывается (или работает) в это время Пушкин.

*Стрелецкий сын*, познакомившись с Петром, видимо, попал под обаяние его могучей личности, может быть, проникся идеями гениального преобразователя, и восхищение Петром сменило прежнюю ненависть и мстительные чувства. Молодой человек начинает служить верой и правдой, как верноподданный, законному государю. При этом он ни в малейшей степени не утрачивает ни чувства благодарности к приемной матери, из раскольников, ни привязанности и любви к памяти отца. Он оказывается в положении Гринева, который остается верным слугою царствующей императрицы, верным своему долгу офицером и в то же время испытывает горячее сочувствие и даже сердечную привязанность к жестокому самозванцу. Таким же Пушкину представлялся его дед Лев Александрович, сохранивший верность Петру III и заслуживший, несмотря на то, уважение императрицы Екатерины II (см. в этой книге главу «Мистификация семейного предания»).

Таким образом *сын стрельца* оказывается, вполне в духе вальтерскоттовских героев, способным к восприятию «правды» обеих сторон. Он и верный помощник царя, и преданный друг своего будущего шурина, и заступник своей приемной матери, связанной памятью и сердечными привязанностями с врагами царя, стрельцами, раскольниками и, наконец, сын, чей отец казнен его нынешним покровителем.

Композиционно, насколько мы можем судить, *сын стрельца* оказывается в том же положении, что и герои некоторых романов Скотта. Как Айвенго или Квентин Дорвард, он близок царю. Как Людовик XI — Квентину, Петр дает *сыну стрельца* поручение, похожее на поручение Квентина: пробраться через занятую противником (неприятелем), враждебную территорию.

В. С. Листов, наиболее тщательно проанализировавший пятый план Пушкина, отметил непосредственное, читательское ощущение сходства этого плана с романами Скотта: «Молодые люди <*сын стрельца* и молодой барин, — М. А.> как бы меняются жребиями... Такого рода переодевания (в духе Вальтера Скотта) нередки в творчестве Пушкина в 1830-е годы. Вспомним “Барышню-крестьянку”, “Анжелю”, “Дубровского”, “Капитанскую дочку”» (Листов, 106).

Действительно, перемена судьбы, подмена одного персонажа другим встречается, правда, не очень часто, в романах английского писателя. Такова, например, подмена одного брата другим во время свадебной церемонии «Сен-Ронанские воды»), отмечавшаяся исследователями в связи с пушкинской «Метелью»<sup>25</sup>. В знаменитом «Роб Рое» положительный, похожий на Гринева и, может быть,

на сына стрельца Осбалдистон меняется, впрочем, не по своей воле, своим общественным положением со злодеем Рэшли. Король Иаков («Приключения Найджела») появляется в облике приветливого дядюшки на пиру у простого горожанина, а Людовик XI предстает Квентину Дорварду («Квентин Дорвард») при первой встрече зажиточным купцом. Все это могло подтолкнуть воображение Пушкина к мотиву «подмены», который становится ключевым моментом занимательного и напряженного сюжета.

Тема приемыша, неродного ребенка, вырастающего в чужой семье, тоже не чужда романам Вальтера Скотта. Таков, например, Ричард Мидделмас («Seargent Daughter», 1827) или Эннот Лайл в романе «A Legend of Montrose». В этой же связи Д. Якубович называет два романа Скотта: «Монастырь» и «Аббат»<sup>26</sup>. В первом тема приемыша никак не развивается (в сравнительно бедной семье Глинденингов живет принадлежащая к знатному роду Мери Эвенел, на которой в конце романа женится старший из двух братьев Гленденинг).

Зато второй роман, «Аббат» (русский перевод 1825), действительно содержит ряд любопытных параллелей к пушкинскому наброску. Герой этого романа Роланд Грейм становится приемышем (пажом) хозяйки в богатом замке Гленденингов. Он по рождению принадлежит к католицизму и тайно исповедует эту религию, тогда как его хозяева и большинство шотландцев — протестанты. Вспомним, что и пушкинский *сын стрельца* по происхождению связан с расколом (его отец — «сын старого раскольника»). Роланд колеблется в своей преданности католицизму и в конце романа принимает протестантство. Можно думать, что и *стрелецкий сын*, связанный с идеологией раскола не только происхождением, но и воспитанием в доме урожденной Ржевской, потом, став сподвижником Петра, отойдет от раскола.

«Приемыш» Рональд Грейм, как это обычно происходит с молодыми героями Скотта, оказывается между двух лагерей. Его хозяин сэр Гленденинг поддерживает существующее правительство и регента. Грейм послан к заточенной в замке Марии Стюарт в качестве пажа. После некоторых колебаний, связанных с его религиозными сомнениями, он решительно принимает сторону прекрасной королевы и помогает ее побегу.

*Сын стрельца* против своих убеждений начинает служить Петру. Центральный эпизод пушкинского плана — Прутская западня, почти плен Императора. *Сын стрельца* помогает Петру в этих трудных обстоятельствах.

Наконец, есть еще одна ситуация в романе Скотта «Аббат», на которую стоит обратить внимание. Брат девушки, в которую влюб-



лен Роланд, решительно отвергает всякую мысль о браке своей сестры с безвестным проходимцем. Может быть, подобная ситуация рисовалась и Пушкину при разработке сюжета. Брат, «молодой барин», противился чувству молодых людей. Тогда великодушие и самопожертвование *сына стрельца* придавали характеру этого молодого человека дополнительные черты вальтерскоттовских героев.

Следует также отметить, что финал задуманного Пушкиным сюжета тоже ведет нас к Вальтеру Скотту. Мы уже отмечали несомненную связь этого финала с финалом «Капитанской дочки» (встреча Маши Мироновой с Екатериной II), который, как это уже давно и прочно установлено, восходит к соответствующим главам романа «The Heart of Mid-Lothian» (в русском переводе «Эдинбургская темница»): храбрая Эффи Динс выпрашивает помилование для своей сестры у королевы Каролины.

Финал повести намечает будущий финал «Капитанской дочки»: *сын стрельца* выпрашивает у царя помилование семье своей невесты. Может быть, развязки обоих произведений как-то соединялись в творческом сознании Пушкина, и это вело к ассоциации с «Эдинбургской темницей».

Таким образом, планы повести о стрельцах, особенно пятый, строятся Пушкиным, как это обычно бывало у Скотта, вокруг любви молодого человека и прекрасной девушки. Преодоление препятствий, мешающих этой любви, могло бы завершить сюжет обычным для Вальтера Скотта *happy end*.

Наконец, в задуманной Пушкиным повести, несмотря на невероятную лаконичность плана, можно проследить использование знаменитого приема Вальтера Скотта для изображения реальной исторической личности. Исторический герой (Ричард Львиное Сердце, Кромвель, Людовик XI и мн. др.) всегда отодвигается Скоттом на периферию исторического повествования, в центре которого действует молодой влюбленный герой. Реальная историческая личность, не высвеченная пристальным вниманием автора, приобретает тем самым в глубине романного текста дополнительную рельефность. Так было уже в «Арапе Петра Великого»<sup>27</sup>. Кажется, что в задуманном романе Пушкин собирался изобразить и правительницу Софью, и Петра I, и других исторических деятелей тоже вполне по вальтерскоттовской системе.

Все это помогает нам в большей или меньшей степени восстановить содержание и идеи задуманного Пушкиным произведения.

---

## МИСТИФИКАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ПРЕДАНИЯ («... а дед мой в крепость — в карантин»)

---

В 1828 году закончилась неудачей попытка Пушкина написать на основании семейных преданий исторический роман. Условно названный редакторами «Арап Петра Великого», этот роман не пошел дальше седьмой главы. Два нравоописательных отрывка из него Пушкин напечатал в 1829—1830 гг., буквально вырвав один из них из незаконченной рукописи. Этот символический жест означал, что начатый роман был бесповоротно оставлен<sup>1</sup>.

Тем не менее семейственные связи с отечественной историей продолжали волновать воображение Пушкина. Его мысли неоднократно обращались к предкам, замешанным в самые крутые и кровавые повороты русской истории.

Экзотический африканский род ревностно служил правящей династии, начиная с «арапа», крестника и выученика Петра I, и продолжая боевыми генералами Екатерины II. Предки с отцовской стороны в сознании поэта были скорее «мятежниками». «Противен мне род Пушкиных мятежный...» — замечает Борис Годунов в одноименной трагедии. И действительно, Гаврила Пушкин изображен в ней чуть ли не главным сподвижником Самозванца (т. е. в данной ситуации законного наследника, сына Ивана IV). В уста его вкладывает автор свои важнейшие размышления о путях исторического процесса, о роли в этом процессе «мнения народного».

Таким же, как Гаврила Пушкин, противником узурпатора (Екатерины II) и сторонником законной власти (Петра III) представлялся поэту (или поэт представил его) и его дед с отцовской стороны, Лев Александрович Пушкин. Внук считал, что дед во время государственного переворота в июне 1762 года был посажен на два года в крепость. В 1830-е гг., когда Пушкин особенно интенсивно занимался историческими разысканиями, он несколько раз возвращался к этому эпизоду из жизни Льва Александровича.

В декабре 1830 г. в знаменитой «Моей родословной» Пушкин так сформулировал поэтическую версию участия своего деда в одном из самых значительных исторических событий XVIII века:

Мой дед, когда мятеж поднялся  
Средь петергофского двора,  
Как Миних, верен оставался  
Паденью третьего Петра.  
Попали в честь тогда Орловы,  
А дед мой в крепость, в карантин.  
И присмирел наш род суровый... (III, 262)

Затем поэт несколько раз возвращается к этому событию уже в прозе. В «Table-talk» он записывает: «Алексей Орлов, которого до тех пор гр<аф Кирилл> Разумовский не видывал, вошел и объявил, что Екатерина в Измайловском полку, но что полк, взволнованный двумя офицерами (дедом моим Л. А. Пушкиным и не помню кем еще) не хочет ей присягать. Разумовский взял пистолеты в карманы, поехал в фуре, приготовленной для посуды, явился в полк и увлек его. Дед мой посажен был в крепость, где и сидел два года» (XII, 162).

В «Опровержении на критики»: «... дед мой Лев Александрович, во время мятежа 1762 года остался верен Петру III, не хотел присягнуть Екатерине и был посажен в крепость вместе с Измайловым ... См. Рюлиера и Кастера. Через два года выпущен по приказанию Екатерины и всегда пользовался ее уважением. Он уже никогда не вступал в службу и жил в Москве и в своих деревнях» (XI, 161). Почти то же самое повторено в «Начале автобиографии»: «... Лев Александрович служил в артиллерии и в 1762 году, во время возмущения, остался верен Петру III. Он был посажен в крепость и выпущен через два года. С тех пор он уже в службу не вступал и жил в Москве и в своих деревнях» (XII, 311).

Рассказ Пушкина о своем деде по отцовской линии прочно вошел во все работы о предках поэта, исследователи послушно повторяли рассказ о стойком молодом воине, верном чести и присяге. Так, в фундаментальной «Родословной росписи» рода Пушкиных (1932) читаем: «Лев Александрович <...> сторонник Петра III, за противодействие восшествию на престол Екатерины II был заключен в крепость, где пробыл 2 года...»<sup>2</sup>. М. О. Вегнер в фундаментальном труде «Предки Пушкина» (1937) подверг сомнению некоторые рассказы поэта о своем деде, но в общем не усомнился в факте рыцарской верности Льва Александровича падшему сюзерену<sup>3</sup>.

Биографы Пушкина тоже не усомнились в рассказах поэта. Так, автор одной из самых популярных биографий нарисовал впечатля-

ющую картину: «Дед поэта прославился своим противодействием знаменитому дворцовому перевороту 1762 года. В день, когда Екатерине II принесли присягу гвардейские полки, сенат, синод, петербургский гарнизон, все население столицы и даже морские силы Кронштадта, командир бомбардирской роты Лев Пушкин пытался удержать преобразенцев на стороне Петра III. Попытка оказалась неудачной... гвардейский артиллерист Пушкин был признан государственным преступником и заключен в крепостной каземат. Это памятное событие ввело его имя в историю. В старинных описаниях «русской революции 1762 года» упоминается своенравный майор гвардии Пушкин»<sup>4</sup>.

Все, однако, было совсем не так, как рассказывал романтически настроенный внук. В 1988 году были опубликованы документы, проясняющие биографию Л. А. Пушкина<sup>5</sup>. Из архивных дел выясняется, что майор Лев Александрович Пушкин в 1761 году просился в отставку по причине болезни. Как удостоверляли врачи, майор Лев Пушкин «имеет болезнь, которую мы называем: малум хипохондрикум кум-материя, и оттого временами бывает у него рвота, резь в животе, боль в спине и слепой почечуй, от которой может приключитца меленколия хипохондриака, за которую болезнию, по нашему мнению, ни в какой службе быть не способен»<sup>6</sup>.

Военная коллегия, рассмотрев документы, 17 августа 1761 года уволила его на один год в отпуск, до 17 августа 1762 г. Государственный переворот, приведший Екатерину II к власти, произошел 28 июня 1762 г., т. е. тогда, когда Л. А. Пушкин находился в отпуске, из которого он, впрочем, не явился и год спустя.

По всей вероятности, в Петербурге его в этот день не было, т. к. он, кажется, сразу же уехал в Болдино. 10 августа 1761 года ему был выдан паспорт для проезда в Арзамасский уезд, где находилось село Болдино<sup>7</sup>. Но потом, как увидим, довольно быстро вернулся в Москву. Во всяком случае отставному майору, который никогда не служил в Измайловском полку, нечего было делать там в день переворота. Тем более никак не мог он «взволновать» (как писал внук) незнакомых солдат. Скорее всего, Лев Александрович спокойно пребывал в Москве, которая готовилась к торжественному въезду Екатерины II в древнюю столицу и коронации. В *этих* мероприятиях Лев Александрович принял самое деятельное участие.

Императрица въехала в Москву 13 сентября 1762 года. Ее встречали тридцать представителей «российского шляхетства <...> верхами на своих приличных к тому торжеству убранных лошадях и в цветном платье». Среди этих представителей был и майор Лев Александрович Пушкин, до этого аккуратно являвшийся на все репети-

ции предстоящей церемонии<sup>8</sup>. Включение его в подобный почетный эскорт, справедливо считает исследователь, свидетельствует «о безупречности его политической репутации в глазах властей»<sup>9</sup>.

Естественно, что ни в какой крепости Лев Александрович не сидел, тем более что во время переворота вообще никто из сторонников свергнутого императора не пострадал. Для самых стойких и вельможных его сторонников (Миниха, Воронцова) дело ограничилось лишь несколькими днями домашнего ареста. «В первый раз в России, при крутой перемене, торжествующая партия относилась кротко и снисходительно к побежденным противникам», — отмечает историк<sup>10</sup>.

Более того, мы знаем, что императрица очень благосклонно отнеслась к майору Пушкину. Уже 23 сентября (т. е. тогда, когда, по словам внука, Л. А. должен был отбывать свое двухгодичное заключение) она подписала указ о его отставке (никто из чиновников не обратил внимания императрицы на то, что майор так и не вернулся из годичного отпуска) с присвоением следующего чина полковника. Патент на это звание был подписан Екатериной уже в Петербурге 2 марта 1764 года. Он гласил: «Известно и ведомо будет каждому, что мы Льва Пушкина, который нам в артиллерии майором служил, для его о казенном в службе нашей ревности и прилежности в наши артиллерии подполковники 1763 года сентября 23 дня всемилостивейше пожаловали...»<sup>11</sup>

Итак, подведем итоги. Лев Александрович Пушкин:

*не участвовал* никак в «возмущении» 1762 г.  
*не был* арестован,  
*не сидел* в крепости,  
его вообще *не было* в это время Петербурге.

Все же семейные предания о каких-то серьезных неприятностях деда с властями действительно существовали. Они имели под собой реальные основания. И Пушкин, как увидим, знал их. Правда, эти неприятности отнюдь не носили политического характера. «... В декабре 1755 г. Лев Александрович Пушкин и его шурин Александр Матвеевич Воейков были осуждены военным судом за истязание домашнего учителя венецианца Харлампия Меркади и около двух с половиною лет, с 19 декабря 1755 по 1 мая 1778 г., содержались под строгим домашним арестом, имея право выходить из дома только лишь в ближайшую церковь, да и то в сопровождении караульных солдат»<sup>12</sup>. Эти сведения Р. В. Овчинникова гораздо подробнее и детальнее краткого сообщения Б. Л. Модзалевского, который

ссылался на формулярный список Льва Александровича, не указывая выходных данных: «За непорядочные побои находящегося у него на службе венецианца Харлампия Меркадия был под следствием, но по именному указу повелено его, Пушкина, из монаршей милости простить»<sup>13</sup>. К сожалению, Р. В. Овчинников тоже не указал выходных данных пересказанного или процитированного документа.

Пушкин знал семейные предания не только о Льве Александровиче, но и о отце его, своем прадеде Александре Петровиче, который «в припадке ревности или сумасшествия зарезал жену, находившуюся в родах» (XI, 161)<sup>14</sup>. По словам исследователя, «убийца был арестован, но прожил после этого недолго; умер в заточении в том же 1725 году. <...> мать Александра Петровича, Федосья Юрьевна, страдала падучею; следовательно, наследственность ее сыновей могла быть неблагоприятною»<sup>15</sup>.

Сын, дед поэта, очевидно, унаследовал крутой нрав и несдержанность отца. Однако под пером внука рассказ о бесчинствах деда, жестоких истязаниях, которым был подвергнут несчастный венецианец, превратился в миниатюрную изящную новеллу из средневековой жизни: «Дед мой был человек пылкий и жестокий. Первая жена его <...> умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем ее сыновей, и которого он весьма феодально повесил на черном дворе...» (XII, 311). Эта новелла приобретает новые детали (у жертвы появляется имя и звание) и излагается в иронически-любовном контексте в письме к невесте 30 сентября 1830 г. При этом в письме, написанном по-французски, Пушкин усиливает западноевропейский, средневеково-феодальный колорит (замок, ворота, аббат): «Мой ангел, ваша любовь — единственная вещь на свете, которая мешает мне повеситься на воротах моего печального замка (где, замечу в скобках, мой дед повесил француза учителя, аббата Николя, которым был недоволен)»<sup>16</sup>. (Аббат Николя звучит изящнее и аристократичнее, чем неблагозвучное имя — Харламбий Меркадий). Этот мотив француза-учителя и семейной драмы, возможно, позднее нашел отражение в «Дубровском».

Отец поэта, Сергей Львович, пришел в ярость, когда, уже после смерти сына, прочел в «Сыне отечества» за 1840 год его рассказы о семейных преданиях<sup>17</sup>. Однако версию о французе учителе, правда, с существенными поправками, он все же принял. Это было лучше, чем какой-то избитый венецианец Харламбий: «История о французе и первой жене его <т. е. Льва Сергеевича. — М. А.> чрезвычайно увеличена. Отец мой никогда не вешал никого, не содержал-

ся в крепости двух лет, — он находился под домашним арестом — это правда, но пользовался свободой. В поступке с французом содействовал ему брат родной жены его Александр Матвеевич Воейков. Сколько я знаю, это ограничилось телесным наказанием <вот они, *непорядочные побои!* — М. А.>, и то я не выдаю за точную истину»<sup>18</sup>.

Вместо романтической истории было грубое рукоприкладство, побои, нанесенные служителю (учителю)-иностранцу двумя разгулявшимися дебоширами, за что последовало не очень, правда, суровое наказание и вслед за тем милостивое прощение императрицы Елизаветы Петровны. Тем более не было политического противостояния властям и сидения в крепости. Как же возник толчок к романтическому и занимательному рассказу в записках и стихах Пушкина? О каком Пушкине может идти речь?

В 1762 г., по словам С. К. Романюка, в Преображенском полку числился только один Пушкин — Михаил Алексеевич<sup>19</sup>. Это не совсем справедливо. Модзалевский сообщает, что в 1762 г. сержантом Преображенского полка числился и Сергей Алексеевич Пушкин, брат Михаила. Однако, числясь в полку, он в это время находился в заграничной командировке, и, кажется, уже сидел в долговой тюрьме в Париже<sup>20</sup>. О Сергее Пушкине мы скажем чуть позже, а пока в нашем рассказе появляется очень любопытная фигура, связанная с поэтом узами дальнего родства, хотя Александр Сергеевич предпочитал никогда не упоминать о Михаиле Алексеевиче, т. к. его существование отнюдь не делало чести родословному древу Пушкиных.

Михаил Алексеевич Пушкин (год рождения неизвестен, ум. в 1791 или 1792 г.) получил, видимо, неплохое образование, т. к. воспитывался в Московском Университетском Благородном Пансионе (1759). Он действительно служил в Преображенском полку сержантом и в 1761 (или 1762) был произведен в подпоручики<sup>21</sup>. В день переворота, 27 июня 1762 года он находился в полку и, видимо, поддержал Екатерину. Во всяком случае, по рассказу княгини Дашковой, две главные заговорщицы, она и императрица, были одеты в дамские наряды. Нужно было срочно переодеться в военную форму: «Императрица позаимствовала мундир у капитана Талызина, я взяла для себя у поручика Пушкина — оба эти офицера-гвардейца были приблизительно нашего роста»<sup>22</sup>. Таким образом, вряд ли можно говорить о каком-либо противодействии Пушкина заговорщикам и о его приверженности свергнутому императору. Наоборот, есть сведения, что он в 1762 г. был уже поручиком<sup>23</sup>. Может быть, столь быстрое продвижение как раз объяснялось его активным участием в перевороте.

Дашкова посвящает молодому офицеру несколько страниц своих «Записок». Она была высокого мнения об его интеллекте: «Он был очень умен. Его утонченная, остроумная беседа пользовалась большим успехом у молодых людей. Между ним и князем Дашковым установились столь привычные и непринужденные отношения, что их можно было принять за дружбу»<sup>24</sup>. Пушкин был в доме Дашковых своим человеком и пользовался покровительством обоих супругов.

Дашкова помогла ему выпутаться из крупной денежной неприятности. Муж ее часто выручал Пушкина и его брата из денежных затруднений. Однажды Михаил Пушкин был «пойман на шалости самого скандального свойства». Дашкова заступилась за него перед императрицей<sup>25</sup>.

Пушкин оплатил Дашковым, по словам княгини, самой черной неблагодарностью, сплетнями, которыми попытался поссорить княгиню с императрицей. Дашкова называет его «бездельником», «коварным негодяем», «недостойным дружбы». Страницы, посвященные Пушкину, заканчиваются следующими словами: «Последующее его поведение оправдало мое мнение и низость его характера. Определенный с помощью Орловых начальником коллегии мануфактур, он стал подделывать банковые билеты, за что был сослан в Сибирь, где и окончил дни свои»<sup>26</sup>.

Действительно, Михаил Пушкин вскоре после переворота покинул военную службу и, вполне вероятно, по протекции Григория Орлова, врага княгини Дашковой, в чине коллежского советника стал членом (не начальником!) Мануфактур-Коллегии и опекуном Московского Воспитательного Дома<sup>27</sup>. У Алексея, как мы говорили, был младший брат Сергей. Шувалов послал его к Вольтеру передать подарки: 2000 червонцев и коллекцию русских медалей. Подарки эти Сергей присвоил. Потом он сидел в долговой тюрьме в Париже<sup>28</sup>.

Братья решили заняться изготовлением фальшивых ассигнаций. Младший поехал за границу изготовлять клише (формы). Когда он возвращался, «таможенный чиновник, осматривая его вещи, увидел одну из этих форм, долго рассматривал ее и не мог понять, на что она годится. Пушкин меньший, увидев, что дело плохо, думал поправиться, дал ему 25-рублевую ассигнацию. Чиновник взял ее, но формы не отдал и повез ее домой. В это время его жена пекла пироги. Он приложил форму к тесту и 25-рублевая ассигнация впечаталась. Пушкина задержали»<sup>29</sup>.

Автор этих строк Павел Радищев, сын писателя, сообщает интересные и в общем достоверные сведения о лицах, с которыми



общался А.Н. Радишев в Сибири. Колоритный эпизод из жизни братьев Пушкиных заслуживает доверия. Правда, другие авторы свидетельствуют, что правительству было заранее известно о замысле братьев и Сергея Пушкина задержали в Риге по высочайшему повелению<sup>30</sup>.

Братья были отданы под суд. 25 октября 1727 Сенат приговорил их к смертной казни. Екатерина, как обычно, смягчила приговор. Михаил был сослан «в дальние сибирские места с лишением прав состояния»<sup>31</sup>, а Сергей — на вечное заточение в Соловки. (Модзалевский сообщает, что Сергей был заклеямен буквою «В», заключен в Пустозерский острог и лишь в 1781 г. переведен в Соловки, где содержался в отдельной камере<sup>32</sup>.) Их было велено называть «бывшие Пушкины».

Михаил отбывал ссылку в Тобольске. Здесь он не утратил интереса к интеллектуальным занятиям. В 1784 году Михаил Веревкин, известный писатель, переводчик и драматург, послал Пушкину «три короба с книгами», которые были арестованы властями<sup>33</sup>. В 1778 и 1788 гг. двумя изданиями в Петербурге и Москве вышел его перевод книги Дора «Несчастия от непостоянства происходящие, или Письма маркизы Сирсе и графа Мирбеля».

Пушкин был женат на Наталье Абрамовне урожденной Волконской. Она приехала к нему в Сибирь, оставив в Москве новорожденного сына. Под Очаковом в 1788 году был убит ее брат Сергей Абрамович Волконский. Известный поэт Николай Николев написал стихи на его смерть, где помянул и «несчастную», «страждущую» сестру, в примечаниях назвав ее по имени: Наталья Абрамовна Пушкина.

В Тобольске в 1789—1791 гг. издавался журнал «Иртыш, превращающийся в Иппокрену». В этом журнале Михаил Пушкин ответил Николеву стихами, не лишенными выразительности:

Чрез горы и леса, чрез реки и стремнины  
В полночный льдистый край, где жизнь влачу стена,  
Плачевных дней моих где скоро жду кончины,  
Твой бесподобный глас достигнул до меня<sup>34</sup>.

Перепечатывая стихи Пушкина вместе со стихами «На смерть Волконского» в своем собрании сочинений, Николев слегка изменил в его стихотворении одну строку, намекая на преступность автора. Вместо *плачевных дней*, Николев напечатал *позорных дней* и заметил, что он помещает послание Пушкина «для показания редких дарований сего несчастного человека»<sup>35</sup>.

Неизвестно, знал ли Пушкин о поэтических опытах своего дальнего родственника, но о семейной трагедии, о позорном процессе, о «бывших» Пушкиных он, несомненно, должен был знать по семейным преданиям и разговорам. Тем более, что с сыном преступника Алексеем Михайловичем Пушкиным он сам был достаточно хорошо знаком<sup>36</sup>. С этим живым и остроумным человеком, поэтом и переводчиком, дружили ближайший друг Пушкина П. А. Вяземский и дядя, известный поэт Василий Львович Пушкин, над которым А. М. постоянно подшучивал. Вяземский писал Пушкину 7 июня 1825: «Бедный и любезный наш Алексей Михайлович умер и снес в могилу неистощимый запас шуток своих на Василия Львовича». Пушкин отвечал: «Как жаль, что умер Алексей Михайлович! и что не видал я дядиной травли!» (XIII, 181, 186).

По всей вероятности, Пушкин знал и о неприязненных отзывах княгини Дашковой. Его знакомство с «Записками» Дашковой несомненно. Он их читал: брал из собрания П. А. Вяземского, делал выписки, оставил помету на рукописи<sup>37</sup>. М. И. Гиллельсон относит чтение «Записок» к 1833—36 гг., когда Пушкин работал над статьями о Радищеве. Тогда же, считает исследователь, он сделал из этой рукописи большую выписку о Радищеве<sup>38</sup>. Однако это вовсе не значит, что Пушкин не мог читать их и раньше по той же рукописи Вяземского или какой-либо другой. Можно думать, что Пушкин знакомился с «Записками» Дашковой, по крайней мере, в самом начале 1830-х, когда особенно интересовался своей родословной и не мог не знать, что Дашкова поминает имя предка Пушкина.

Таким образом, судя по полковым спискам и с учетом рассказа Дашковой, единственным Пушкиным, как-то причастным к событиям 1762 года, должен быть признан Михаил Алексеевич Пушкин. Правда, его участие в этих событиях мало похоже на романтическую историю, рассказанную поэтом.

Фамилия Пушкин (без упоминания имени) встречается в двух французских книгах о событиях 1762 года. Эти книги сохранились в библиотеке поэта: J. Castéra. «Histoire de Catherine II»; C. Ruhlière. «Histoire ou anecdotes sur la révolution de Russie en année 1762». На них (Рулиер и Кастера) он ссылается в «Опровержении на критики» (XI, 161). Обе книги разрезаны<sup>39</sup>. По всей вероятности, рассказывая о событиях в Измайловском полку, авторы имеют в виду Михаила Пушкина.

Рулиер рассказывает, как заговорщики взбунтовали две роты Измайловского полка, которые и присягнули императрице. Ни о каком отказе от присяги Рулиер не упоминает. Тогда же, по его словам, «явился граф Разумовский», командир полка. Однако о та-

ких красочных деталях, как пистолеты, фура, приготовленная для посуды, Рулиер не вспоминает. Да и солдаты никак не отказывались от присяги, и Разумовскому не нужно было никого «увлечь», потому что, по словам Рулиера, «простые офицеры явились к своим местам и командовали к оружию». И тут у Рулиера появляется имя Пушкина, но совсем не в том контексте, о котором повествовал Александр Сергеевич в своих заметках. Этот офицер не сопротивлялся зачинщикам, а уклонился от участия в заговоре, скорее, по мнению Рулиера, по трусости: «Майор Шепелев, на которого полагались, не явился, и первый ордер, данный императрицей, был такой: “Скажите ему, что я не имею в нем надобности и чтобы его посадили под арест”. Простые офицеры явились к своим местам и командовали к оружию. Замечательно, что из великого числа субалтерных <т. е. младших. — М. А.> офицеров, давших свое слово, один только Пушкин, по несчастию или по слабости, не сдержал его»<sup>40</sup>.

Кастера сообщает: «Гвардейцы Семеновского и Преображенского полков повторили то, что уже сделали гвардейцы Измайловского. Офицеры послушно явились <присягать императрице. — М. А.> во главе своих отрядов, как будто все были в заговоре. Лишь двое офицеров Перображенского полка осмелились не послушаться своих солдат, но они были сразу арестованы, и среди победившей стороны отсутствовали только эти двое, майор Шепелев и лейтенант Пушкин, которых императрица отправила под арест, говоря, что больше в них не нуждается»<sup>41</sup> (перевод В. Ю. Проскуриной).

Рассказы французов имеют много общего и в целом согласны с историей: солдаты и офицеры с готовностью присягнули узурпатору-Екатерине. В обоих рассказах фигурируют две одинаковые фамилии нонконформистов: майор Шепелев и лейтенант Пушкин. Однако эти беглые упоминания французских книг совсем не похожи на занимательный пушкинский рассказ. Он мало посчитался со свидетельствами Рулиера и Кастера.

Рулиер, как видим, ничего не сообщает о противодействии Пушкина заговору. Скорее, он говорит о трусости. Возможно, здесь отразилось отношение к *этому* Пушкину информаторов французского автора, среди которых вполне могла быть и княгиня Дашкова. Кастера упоминает об аресте Пушкина, но, как мы знаем, никакого ареста не было. Возможно, последующий арест Пушкина за уголовное преступление был отнесен Кастера к 1762 году.

Однако Александр Пушкин без колебаний отождествил упомянутого французами Пушкина со своим дедом, не вспомнив (или не пожелав вспомнить) об отце своего знакомца или о «Записках»

Дашковой, которые он, наверное, уже читал. (Еще раз отметим, что при всем интересе поэта к семейной истории имя Михаила Пушкина ни разу не встречается в его сочинениях).

Приписав деду упомянутое французами имя, Пушкин последовательно начал превращать этого деда в романтического героя исторического романа. Могучее творческое воображение начало работать. Прав, наверное, был Сергей Львович, несмотря на все разногласия и ссоры, все же хорошо знавший своего сына, когда писал об этих заметках, протестуя против их публикации: «... рассказы сии брошены на бумагу единственно по причине их невероятности, на память того, чем воображение случайно поражено было...»<sup>42</sup>.

И постепенно из этих отрывочных записей начинает как бы вырисовываться занимательный исторический роман, героем которого становился дед поэта Лев Александрович Пушкин. Существенные мотивы этого «романа» были позднее реализованы Пушкиным в «Капитанской дочке» или намечались в планах неосуществленной повести о «сыне казненного стрельца».

Герой этого ненаписанного романа представляется молодым человеком. (Пушкин нигде не упоминает возраста деда. Реальный Лев Александрович родился в 1723 году. В 1762 ему было около сорока лет.) В ситуации, описанной Пушкиным, перед нами скорее молодой человек, порывистый и пылкий в принятии решений. Этот молодой человек оказывается в самом центре решающего исторического события, определившего судьбы России и Европы на многие десятилетия вперед.

Кто станет управлять громадной страной? Слабый, некрасивый, упрямый государь, готовый ввергнуть Россию в никому не нужную войну за крошечное Голштинское княжество, не знающий и не любящий России, ограниченный в своих умственных и политических интересах (таким он, по крайней мере, представлялся большинству русских дворян). С другой стороны, умная красивая молодая женщина, почитающая русские обычаи, щедрая, ласковая, открытая, привлекающая сердца молодежи. С одной стороны — законный государь. С другой — самозванка, почти отвергнутая жена, не имеющая никаких прав на престол. Может получиться, что от решения молодого человека будет зависеть, кто взойдет на престол, а следовательно, и судьба России.

Мы не знаем, на чьей стороне (Петра III или будущей императрицы) личные симпатии молодого человека. Однако в критическую минуту он остается верен долгу, чести, присяге, т. е. царствующему императору. В более поздней «Капитанской дочке» в

таким же положением оказывается Гринев. Перед виселицей он должен решить, присягать ли самозванцу или сохранить верность законной императрице. Молодой человек остается верен чести и присяге.

В пушкинских записях (и в соответствии с историей!) заговорщики, мятежники одерживают победу. В той же ситуации оказывается и Гринев, когда победитель Пугачев захватывает Белогорскую крепость. Гринев отказывается подчиниться победителю, присягнуть ему. Несмотря на это, Пугачев, как мы помним, испытывает к Гриневу уважение и симпатию за его искреннюю и честную позицию.

Императрица Екатерина II тоже испытывает симпатию к своему честному противнику. Она поступает так же великодушно с дедом поэта, как с Гриневым в «Капитанской дочке». Но в романе она *прощает* Гринева. И было за что. Молодой человек вступал в сношения с врагом-самозванцем (в черновом варианте сам обращался к нему за помощью), пользовался его защитой и покровительством. Не случайно Маша просит для жениха *милости*, а не *правосудия*<sup>43</sup>.

В пушкинских записях его деда не за что прощать. Он в глазах императрицы оставался до конца верен воинской присяге. Императрица, очевидно, *уважает* своего молодого противника за его преданность своему долгу, потому и приказывает выпустить его из крепости. Как мы помним, Пушкин пишет, что дед был «через два года выпущен по приказанию Екатерины и всегда пользовался ее уважением» (XI, 161). Но и сам герой, хотя более «и не вступал в службу и жил в Москве и своих деревнях» (XI, 161), все-таки, видимо, признал новую царицу и примирился с «заговором». И здесь мы встречаемся с ситуацией, которую Пушкин, кажется, начал разрабатывать в планах о сыне казненного стрельца. Там сын стрельца, казненного Петром I после стрелецкого бунта, поступал на службу под чужим именем. Хотя по семейным традициям и в память об отце он должен был ненавидеть царя, однако становился его преданным помощником. Петр полюбил его и доверял молодому человеку в самых критических ситуациях<sup>44</sup>.

Лев Александрович Пушкин сохраняет независимость, не вступает в службу, живет в своих деревнях или в Москве, всегда сохранявшей по отношению к Петербургу роль опальной, независимой столицы. В то же время экстраполируя короткую запись, можно, кажется, сказать, что эта независимость и честность опального военного, уважаемого императрицей, должна была и с его стороны вызывать ответное уважение к честному и великодушному

противнику. Тем более, что государственная деятельность Екатерины показывала ее явное превосходство над свергнутым императором.

Так могучее поэтическое воображение Пушкина преобразило семейные предания и превратило их в зародыш последующих богатых творческих замыслов, далеко не все из которых, к сожалению, осуществились.

*ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ*

**ПРОБЛЕМЫ ЖАНРА**





---

---

## «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» И ТРАДИЦИИ ИРОИ-КОМИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ

---

---

В 1844 году В. Г. Белинский в статье шестой знаменитого цикла «Статьи о Пушкине» писал по поводу «Руслана и Людмилы»: «... Русского в ней, кроме имен, нет ничего, романтизма ... в ней тоже нет ни искорки... поэма Пушкина должна была бы составить торжество псевдоклассической <т. е. сторонников классицизма. — М. А.> партии того времени. ... так называемые классики того времени должны были бы торжествовать как свою победу над так называвшимися тогда романтиками появление «Руслана и Людмилы»...»<sup>1</sup>

Более чем сто лет спустя один из самых блестящих и авторитетных пушкинистов нашего времени Б. В. Томашевский заметил: «У поэмы Пушкина нет далекой генеалогии, хотя история шуточных поэм и весьма богата различными памятниками ... Надо решительно сказать, что “Руслан и Людмила” была поэмой, обращенной не к прошлому, а к будущему»<sup>2</sup>.

Исследователь вправе задать себе вопрос, кто прав в этом растянувшемся на столетие споре: литературный критик, почти современник автора, или ученый, вооруженный знанием исторической перспективы, располагающий эпистолярным, рукописным материалом, который не был известен критику. От ответа на этот вопрос зависит наше представление о первой поэме Пушкина, о роли ее в творческом развитии поэта и в истории русской литературы в целом.

А сам ответ в значительной степени зависит от определения жанра пушкинской поэмы. Вопрос о жанре в данном случае не является праздным или схоластическим, ибо жанр произведения объясняет в значительной степени его поэтику. Ясное представление о жанре обеспечивает взаимопонимание автора и читателя. С поэмой Пушкина все оказалось сложнее. От молодого автора ожидали одного жанра, получили же совсем другой.

Современная критика определяла «Руслана» как волшебную, сказочную, «романтическую» поэму с русским народным сюжетом<sup>3</sup>. Такая поэма отвечала ожиданиям читателей и критиков. Литературная жизнь конца 1810-х гг. с ярко выраженными романтическими настроениями в творчестве В. А. Жуковского, повышенный интерес к национальной культуре в деятельности «Беседы любителей русского слова» делали появление русской волшебной романтической поэмы закономерным и ожидаемым.

Напиши поэму славную  
В русском вкусе повесть древнюю, —  
Будь наш Виланд, Ариост, Баян, —

обращался к Жуковскому А. Ф. Воейков в январе 1813 года<sup>4</sup>. Жуковский отвечал пространным посланием «К Воейкову», где набросал детальный план такой «славной», «в русском вкусе» поэмы<sup>5</sup>. Пушкин, по словам Томашевского, вдохновился этим планом и осуществил его в «Руслане и Людмиле», где находим князя Владимира с богатырями, златоверхий Киев-град, бусурманов тьмы, ручьи с живой и мертвой водой, жилище чародея, двенадцать дев и пр.<sup>6</sup> Такой «романтической эпопеей»<sup>7</sup> и считало «Руслана» большинство современных критиков. При этом их, однако, смущала явная «несерьезность» поэмы, насмешка автора над героями и, как результат этой насмешки, обилие просторечий и прозаизмов в самых, казалось бы, поэтических местах, обилие эротики и пр. Все это не укладывалось в ожидаемую схему.

Уже в первых отзывах критики всплывает по отношению к поэме эпитет *шуточная*<sup>8</sup>. Особенно подчеркивал шуточную стихию пушкинской поэмы в статье 1828 года И. В. Киреевский, один из самых пронизательных и тонких критиков пушкинской поры: «Эта легкая шутка, дитя веселости и остроумия, которая в «Руслане и Людмиле» одевает все предметы в краски блестящие и светлые, уже не встречается больше в других произведениях нашего поэта»<sup>9</sup>. Он же отмечал смешную, карикатурную концовку патетического рассказа финна и композиционную связь «Руслана» с ироико-комической поэмой Вольтера «Орлеанская девственность»<sup>10</sup>. Встречается также сопоставление пушкинской поэмы с «Налоем» Буало<sup>11</sup>.

И. И. Дмитриеву поэма Пушкина совсем не понравилась, и он писал П. А. Вяземскому 20 октября 1820 г.: «Что скажете вы о нашем “Руслане”, о котором так много кричали? Мне кажется, что это недоносок пригожего отца и пригожей матери (музы). Я нахожу в нем очень много блестящей поэзии, легкости в рассказе: но жаль, что часто впадает в *бурлеск*, и еще больше жаль, что не по-

ставил в эпиграф известный стих с легкою переменю «La mère en défendra la lecture à sa fille». Без этой предосторожности поэма его с четвертой страницы выпадает из рук добрая матери»<sup>12</sup>.

Итак, слово было произнесено: прямая связь пушкинской поэмы с жанром поэмы ирои-комической была названа. И Дмитриев на этом определении, которое, с его точки зрения, являлось отрицательным, настаивал. В письме к Карамзину он сравнил «Руслана» с ирои-комической поэмой Н. П. Осипова «Вергилиева Енейда, вывороченная на изнанку»<sup>13</sup>. Анализируя эти отзывы, Г. П. Макогоненко справедливо заметил, что Дмитриев «верно почувствовал традицию ирои-комической поэмы в “Руслане и Людмиле”»<sup>14</sup>.

Этот жанр к началу XIX века имел уже в русской литературе довольно долгую традицию, и генеалогия пушкинской поэмы, вопреки размышлениям Томашевского, оказывалась достаточно богатой. Предшественниками «Руслана» прежде всего могут быть названы «Душенька» И. Ф. Богдановича (1778) и «Елисей, или Раздраженный Вакх» В. И. Майкова (1771). Последнего Пушкин особенно любил и высоко ценил. Об этом свидетельствует как известный черновой вариант онегинской строфы (гл. 8, ст. 1):

Читал охотно Елисея,  
А Цицерона проклинал... (VI, 619)

так и известное письмо к А. А. Бестужеву от 13 июня 1823, где поэт не только хвалит поэму Майкова («“Елисей” истинно смешон»), но и обильно ее цитирует.

В «Руслане» мы найдем очевидные следы внимательного чтения «Елисея». Таков вставной эпизод, о котором нам еще придется говорить: хан Ратмир попадает в обитель двенадцати дев, которую можно бы было принять за монастырь, но которая оказывается приютом сладострастья. Елисей, попав в исправительный дом для проституток (... сей дом Калинкин назывался; // В него-то были все распутные жены // За сластолюбие свое посажены...), принимает его за монастырь:

Он красных девушек монахинями чтет,  
Начальницу в уме игуменей зовет ...<sup>15</sup>

Руслан, в первую же ночь лишился любимой жены:

Трепеща, хладною рукой  
Он вопрошает мрак немой ...  
Хватает воздух он пустой ... (IV, 9)

Несчастливая начальница проституток после бегства своего любовника Елисея обнаруживает, что:

... след уже простыл, любовник убежал.  
Подушку хватя рукой, нашла подушку  
хладну...<sup>16</sup>

Подобно Людмиле, похитившей шапку-невидимку Черномора и потому чувствующей себя в безопасности в волшебных чертогах, Елисей наслаждается полной свободой и независимостью («гуляет, пьет и ест») в Калинкином доме под защитой шапки-невидимки, подаренной ему Ермием (Гермесом).

«Душенька» Богдановича, как это уже неоднократно отмечалось, тоже представляет ряд параллелей к поэме Пушкина. Правда, здесь дело обстоит немного сложнее, поскольку сама «Душенька» является переделкой предшествующих текстов: сказки из романа Апулея «Метаморфозы» и романа Лафонтена «Любовь Психеи и Купидона». Однако непосредственным предшественником Пушкина, несомненно, является Богданович.

В обеих поэмах мы найдем волшебные сады, где обе героини, лишившись возлюбленных, предаются отчаянию. Обе совершают попытки самоубийства, которые вызывают у читателей лишь добродушную улыбку. Ничем окончились обе попытки утопиться. У пытавшейся повеситься Душеньки нахальный сучок лишь задрал подол платья, а решившаяся умереть голодной смертью Людмила «подумала и стала кушать» (IV, 32).

В поздних переработках Апулея (Лафонтен, Богданович) существенным эпизодом является любовная встреча героини с Амуром в темной пещере, гроте. Этот эпизод, несомненно, пародирует знаменитое свидание Энея и Дидоны в пещере во время грозы<sup>17</sup>, а еще далее восходит к мифологическому образу пещеры в мировом фольклоре, где пещера выступает как «*emblem of the female principle in nature, the womb. One of man's first homes ...*»<sup>18</sup>. В позднейшей европейской литературе образ пещеры трансформируется в «бесчисленные гроты для любовных утех»<sup>19</sup>, как это имеет место в «Душеньке», в романе Лафонтена, в «Девственнице» Вольтера (песнь 19) и во многих других текстах.

Этот характерный для ирои-комической поэмы эпизод находит отражение и у Пушкина, когда Руслан в пещере встречает доброго волшебника-финна. Пушкин продолжает здесь наметившуюся у предшественников травестию: снижение трагического мотива, связанного с пещерой (Дидона и Эней, Венера и Тангейзер и пр.). В «Руслане» пещера становится местом, где герою рассказывают тра-

гикомическую историю о влюбленной старухе-волшебнице.

В силу своей травестирированной природы, высмеивания серьезных, высоких текстов, где любовь изображается возвышенной и целомудренной, ирои-комическая поэма тяготеет к фривольности и повышенному эротизму. Особенно этими качествами отличается знаменитая «Девственница» Вольтера. Достаточно фривольны и русские ирои-комические поэмы. Изобилует подобными эпизодами «Елисей» Майкова, есть они и в «Душеньке» Богдановича. Совершенно непечатным характером отличается травестирированная «Душенька. Древнее повествование в вольных стихах». Два экземпляра этой поэмы хранятся в Российской Национальной библиотеке (бывш. ГПБ). В экземпляре из архива Г. Р. Державина автором назван Н. Осипов, что представляется вполне вероятным<sup>20</sup>. Может быть, Дмитриев и Карамзин, когда обменивались мнениями о «Руслане и Людмиле», говоря об «Энеиде» Осипова, вспоминали и по-таенную его поэму, соотнося ее с эротикой «Руслана и Людмилы».

Действительно, эротический элемент в пушкинской поэме очень силен<sup>21</sup>. Таково самое ее начало с описанием первой брачной ночи:

Вы слышите ль влюбленный шепот  
И поцелуев сладкий звук  
И прерывающийся ропот  
Последней робости?... (IV, 9)

Таков псевдо-монастырь, куда попадает Ратмир и где:

Потупя неги полный взор,  
Прелестные, полунагие,  
В заботе нежной и немой,  
Вкруг хана девы молодые  
Теснятся резвою толпой. (IV, 53)

Молодой автор с озорством описывает тщетные попытки старика-Черномора овладеть Людмилой:

О страшный вид: волшебник хилый  
Ласкает сморщенной рукой  
Младые прелести Людмилы... (IV, 59)

Особенно подробно этот эпизод описан в первом издании 1820 г. В последующих изданиях Пушкин выпустил и переделал 16 строк, среди которых были и такие:

К ее пленительным устам  
Прильнув увядшими устами,

Он, вопреки своим годам,  
Уж мыслит хладными трудами  
Сорвать сей нежный, тайный цвет,  
Хранимый Лелем для другого... и пр.  
(Ср. IV, 59, 279)

Таково, наконец, рассуждение, почему Руслан, путешествуя со спящей Людмилой, оставил ее невинной, т. к. «...без разделенья // Унылы, грубы наслажденья...» (IV, 66). В черновиках поэмы эта тема разработана в многочисленных вариантах (Ср. IV, 252—254).

Примеры можно бы было значительно умножить. Вся поэма пронизана пылкой и озорной эротикой, что и было с неодобрением отмечено современниками. Если бы «Руслан» рассматривался как ирои-комическая поэма, которая, особенно на русской почве, не боялась грубоватой откровенности и эротики, нападки в принятой автором и читателями системе жанров были бы бессмысленны, но волшебнo-романтическая поэма представлялась более целомудренной и утонченной. Впрочем, в отношении к Ариосто это не совсем справедливо: «Неистовый Роланд» изобилует эротическими картинками, и Пушкин позднее вполне справедливо писал: «Есть ли в “Руслане” хоть одно место, которое в вольности шуток могло быть сравнено с шалостями хоть, например, Ариоста, о котором поминутно твердили мне?» (XI, 145)<sup>22</sup>. Однако целомудренные российские критики думали иначе. Один говорил о картинах, «при которых невозможно не краснеть и не потуплять взоров», другой обвинял автора в «сладоэротии», третий замечал, что перо поэта «одушевлено не чувствами, а чувственностью»<sup>23</sup>.

По преданию, И. И. Дмитриев сказал о поэме Пушкина: «Я тут не вижу ни мыслей, ни чувств: вижу одну чувственность»<sup>24</sup>. По поводу нескромных картин в «Руслане» он, как мы видели, перефразировал Пирона: «La mère en défendra la lecture à sa fille», что Пушкин, которому этот отзыв стал известен, позднее перевел: «Мать дочери велит на эту сказку плюнуть» (IV, 284). Именно в связи с эротикой и назвал Дмитриев поэму Пушкина бурлеском, или ирои-комической поэмой (русская традиция практически не различала эти две разновидности одного жанра).

Рассмотрев некоторые признаки, сближающие «Руслана и Людмилу» с ирои-комической поэмой, мы должны теперь обратиться к тому, что составляет самое существо этого литературного жанра. Ирои-комическая поэма возникает и существует как литературная пародия, осмеяние устоявшихся (или возникающих и популярных) литературных форм, как активное явление литературных споров и литературной борьбы.

На самом общем уровне содержание и композиция «Руслана и Людмилы» вообще могут быть рассмотрены как пародирование схемы европейского (античного) романа. Вот как описывает эту схему авторитетный исследователь: «Юноша и девушка брачного возраста <...>. Они наделены исключительной красотой. Они также исключительно целомудренны <...>. Однако брак между ними не может состояться сразу. Они встречают препятствия, *ретардирующие*, задерживающие его. Влюбленные разлучены, ищут друг друга <...>. Обычные препятствия и приключения влюбленных: похищение невесты накануне свадьбы, <...> покушение на невинность героини, мнимые смерти, переодевания <...>. Большую роль играют встречи с неожиданными друзьями или неожиданными врагами, гадания, предсказания, вещие сны <...>. Кончается роман благополучным соединением возлюбленных в браке»<sup>25</sup>.

Нетрудно увидеть здесь значительное совпадение с сюжетной схемой пушкинской поэмы (цитата несколько сокращена за счет мотивов, не имеющих параллелей в пушкинском тексте). При этом все эпизоды, трактуемые в романе с полной серьезностью, подвергаются у Пушкина ироническому переосмыслению. Таким образом, вся поэма вписывается в систему европейской литературы и на этой фоне может быть воспринята как некоторое подтрунивание над важными и серьезными литературными текстами, т. е. как ирои-комическая поэма.

На этом общем фоне с особенной четкостью выделяются конкретные явления литературной жизни начала XIX века, становящиеся объектом довольно мягкой, но очевидной и недвусмысленно насмешки и пародирования.

Нужно отметить, что в начале XIX века ирои-комическая поэма особенно активно демонстрирует свои возможности полемиического литературного жанра. Непосредственными предшественниками «Руслана» являются две такие поэмы: «Опасный сосед» В. Л. Пушкина (1811) и «Расхищенные шубы» А. А. Шаховского (1815). В первой местом действия является бордель, далеко не такой поэтический, как романтическая обитель в поэме Пушкина. Во второй — немецкий Шустер-клуб.

Первый текст распространялся в рукописи, а второй, к сожалению, дошел до нас только в печатном варианте, утратив, наверное, значительную часть полемического задора.

В обеих поэмах главным является не сюжет, весьма незначительный, а острая литературная полемика, направленная в первой против «славянофилов»-шишковистов, во второй — против Карамзина и его последователей.

В самой середине «Руслана и Людмилы» (в начале четвертой песни, а вся поэма состоит из шести песен) находится известный вставной эпизод: хан Ратмир приезжает в роскошную обитель, где живут молодые и доступные красавицы. Автор не скрывает от читателей, что он пародирует здесь святую обитель, приют уединения и молитв, изображенную В. А. Жуковским в пространной поэме («старинной повести», как он ее называет) «Двенадцать спящих дев».

Если Пушкину действительно принадлежит баллада «Тень Баркова», то посмеиваться, и весьма непристойно, над поэтичной «повестью» Жуковского он начал еще в Лицее. В балладе последовательно травестируются лексика, отдельные сцены ситуации «Громобоя» (второй баллады из «Повести» Жуковского)<sup>26</sup>.

В «Руслане и Людмиле» травестируется без очевидных непристойностей, но вполне в эротическом контексте та же баллада «Громобой».

«Друзья мои, вы все слышали...» начинает поэт и далее излагает сюжет повести Жуковского о злодее Громобое, который продал дьяволу свою душу, а затем души двенадцати своих дочерей, которые стали инокинями «при гробе грешного отца»<sup>27</sup>. Пушкин говорит, что читатели, плененные «прелестью непорочных дев»,

... часто инокинь святых  
На гроб отцовский провожали.

И далее молодой поэт начинает дерзкую, фривольную травестию поэтичного романтического сюжета:

И что ж, возможно ль?.. нам солгали!  
Дерзну ли истину вешать?  
Дерзну ли ясно описать  
Не монастырь уединенный,  
Не робких инокинь собор,  
о... трепещу! в душе смущенный,  
Дивлюсь — и потупляю взор.  
(4, 51, 279)<sup>28</sup>

Разумеется, Жуковский не только не обиделся на забавную выходку, но и подарил Пушкину свой портрет с известной надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя в тот высокостепенный день, в который он окончил свою поэму “Руслан и Людмила”». Для Жуковского в поэме молодого Пушкина важнее был романтический русский (пускай и псевдо-) сюжет, а не литературная ирония<sup>29</sup>. Сам Пушкин позднее полусерьезно каялся: «За



пародию “Двенадцати спящих дев” можно было меня пожурить порядком, как за недостаток эстетического чувства. Непростительно было (особенно в мои лета) пародировать, в угождение черни, девственное поэтическое создание» (XI, 144—145). Тем не менее поэт и не подумал убрать этот вставной эпизод из последующих изданий (а их было еще два, в 1828 и 1835 гг.). Он только немножко смягчил, за счет пропуска нескольких стихов, фривольные размышления о двух обителях: у Жуковского и в его поэме.

Итак, повторим, в самом центре своей поэмы Пушкин помещает вставной эпизод, никак не связанный с ее содержанием, не нужный для развития сюжета и имеющий, очевидно, только одну цель: пародировать одно из лучших и самых характерных произведений романтизма в русской поэзии начала XIX века, что вполне справедливо и отметил Белинский: «<...> романтизма <...> в ней (поэме «Руслан и Людмила». — М. А.) нет ни искорки, романтизм даже осмеян в ней, и очень мило и остроумно, в забавной выходке против “Двенадцати спящих дев”»<sup>30</sup>.

Сам по себе, однако, один этот факт пародирования еще ни о чем не говорит. Другое дело, если включить его в поэтическую систему «Руслана» в целом. Тогда мы увидим, что травестирование современной Пушкину русской литературы составляет существенный фактор в поэтике «Руслана и Людмилы».

Так, еще в 1964 году В. Набоков в комментарии к «Евгению Онегину» пронизательно заметил: «In *Ruslan and Lyudmila* ...Ossian's father Fingal (or the Irish Finn nac Cumhail) becomes *Fin* the Hermit (a Finn) and *Moina* (the daughter of Reuthamir and Mother of Carton) becomes the maiden sorceress *Naina*, while Reuthamir becomes *Ratmir*, a young *Hazaran*...»<sup>31</sup>

Имена Фингала и Моины, несомненно, ведут нас к знаменитой трагедии В. А. Озерова «Фингал». А содержание вставного эпизода: рассказ волшебника-финна о любви и ненависти разъяренной старухи, — превращает этот эпизод в остроумную пародию на романтическую любовную трагедию Озерова. В этой трагедии на фоне сурового северного пейзажа, похожего, кстати, на пейзаж «Руслана», герой из-за любви к красавице Моине готов поступиться нравами и привычками сурового воина, а Моина погибает, спасая его от измены и предательства. «... Представляется справедливым высказывавшееся уже предположение, что в «Руслане и Людмиле» имена Финна и Наины, содержащиеся в иронической вставной истории о герое, который безуспешно пытался завоевать сердце красавицы, пока она не превратилась в дряхлую старушонку, должны были ассоциироваться в сознании современников с Финга-

лом и Моиной — героями оссиановской трагедии Озерова. А это соответствие бросало иронический отблеск на оссиановскую тематику вообще», — пишет современный исследователь<sup>32</sup>.

Наряду с Жуковским, Озеров был одним из самых знаменитых авторов русского преромантизма, хотя к концу 1810-х гг. слава его заметно поблекла. Вместе с Озеровым Пушкин, по справедливому наблюдению Ю. Д. Левина, иронизировал в целом над оссианизмом, который воплощал в себе русский и европейский преромантизм.

Вместе с тем история Финна и Наины, кажется, ведет нас к еще одному очень популярному тексту, тоже связанному со скандинавской тематикой и образами раннего русского романтизма.

В середине XVIII века читатели познакомились с вышедшими на французском языке книгами швейцарского ученого Поля-Анри Малле: *Introduction à L' Histoire du Danemarc où l'on traite de la religion, des lois, des moeurs et des usages des anciens Danois* (1755); *Monuments de la Mythology et la Poesie des Celtes et particulièrement des anciens Scandinaves pour servir de supplement et de preuve à l' Introduction de Danemarc* (1756)<sup>33</sup>. В 1785 году обе эти книги вышли на русском языке: *Г. Маллета. Введение в историю датскую, в котором рассуждается о вере, законах, нравах и обыкновениях древних датчан. Перевел с французского языка на российский Федор Моисеенко. Чч. 1 и 2, содержащая в себе достопамятности иконословия и стихотворения древних северных народов.* СПб., Имп. Акад. наук, 1785<sup>34</sup>.

В книге Малле русских поэтов более всего заинтересовала переведенная прозой «Песнь Гаральда Смелого», варяжского витязя, который горько жалуется, что русская красавица Елизавета, дочь Ярослава I, отвергает его любовь. Песнь Гаральда переводили стихами Н. А. Львов, И. Ф. Богданович, П. Ю. Львов<sup>35</sup>.

В 1816 году эту песню переложил К. Н. Батюшков. Его прекрасное стихотворение затмило предыдущие переводы и в сознании читателей запечатлелось как замечательный образец русской преромантической поэзии, обращенной к прошлому и овеянной скандинавско-оссиановским колоритом.

Можно думать, что рассказ неудачливого любовника в пушкинской поэме имеет некоторые параллели в жалобах скандинавского витязя. Гаральд рассказывает, как он оставил мирную жизнь, собрал дружину из верных друзей, совершил многие подвиги:

Я в мирных родился полночи снегах ...  
.....и в шумные битвы  
Вас, други, с собою умчал на судах.  
На суше, на море мы бились жестоко;

И море и суша покорствуют нам!  
Напрасно сдвигались народы; мечами  
Напрасно о наши стучали щиты ...<sup>36</sup>

Пушкинский Финн, оставив «родную кушу, сень дубров», решил

Морей неверные пучины  
С дружиной братской переплыть  
И бранной славой заслужить  
Вниманье гордое Наины.  
Мы десять лет снега и волны  
Багрили кровию врагов...  
.....горделивые дружины  
Бежали северных мечей.  
Мы весело, мы грозно бились ... (IV, 15—16)

Древний скандинав и сказочный Финн похожи. Сходны и их судьбы неудачливых влюбленных. «А дева русская Гаральда презирает», — восклицает варяг. «Герой, я не люблю тебя!» — отвечает надменная красавица храбрецу-финну. И тут, напомнив читателю о романтических текстах, оваянных поэтической дымкой прошлого, озорной автор превращает трагическую ситуацию в фарс. Осведомленный читатель знал, что Гаральд Смелый женился на своей неприступной красавице<sup>37</sup>. Пушкинский же бедолага должен был в ужасе бежать от влюбленной старухи.

Ирония над северной оссиановской тематикой разлита по всей поэме. С оссиановским миром, как отметил Набоков, связан своим именем хан Ратмир, герой вставного эротического эпизода.

«Руслан» начинается и кончается цитатой из поэмы Оссиана «Картон»: «A tale of the times of old! The deeds of days of other years!»<sup>38</sup> Эти поэтические строки Оссиана были известны русскому читателю по карамзинскому переводу «Картонна». У Карамзина оссиановские строки читались: «Повесть времен старых! Дела минувших лет!»<sup>39</sup> Пушкин, таким образом, начинает и кончает свою поэму парафразой из Карамзина, тоже повторенной дважды:

Дела давно минувших дней,  
Преданья старины глубокой  
(IV, 7, 85)

В общем контексте поэмы реминисценции из Оссиана принимают несколько иронический оттенок. Описания пиров у Оссиана мрачно торжественны и манерны, например: «A thousand lights from the stranger's land rose in the midst of people. The feast is spread around; the night passed away in joy»<sup>40</sup>. Карамзин несколько смягчает эту ма-

нерность и вымученную торжественность в своем переводе. Так, сложная парафраза Оссиана: *the joy of the shell* (радость чаши) *went round...*<sup>41</sup> — у Карамзина становится «чашей радости» («чаша радости вокруг ходила»<sup>42</sup>). У Пушкина по кругу двигаются просто чаши. И рядом с этими поэтическими *чашами* появляются, снижая высокий стиль, более просторечные *ковши*, наполненные не только поэтическим вином, но и простым *пивом*:

Не скоро двигались кругом  
Ковши, серебряные чаши  
С кипящим пивом и вином  
(IV, 7)

С тем же приемом снижения поэтизмов мы встречаемся и в других местах поэмы. Так, например, прекрасные типично «оссиановские» строки:

Уж побледнел закат румяный  
Над усыпленную землей,  
Дымятся синие туманы  
И всходит месяц золотой... —

тут же снижаются просторечной лексикой типа: *храпит*, *зевнула*, *чихнула*, *убирайся прочь*, *молчи*, *пустая голова* и т. д. и т. п. (IV, 43—44). Эту просторечную лексику (*удавлю*, *щекотит*, *чихнул*, *рукавица*), не понимая и не принимая жанра пушкинской поэмы, ставил автору в вину известный *Житель Бутырской слободы* (А. Г. Глаголев)<sup>43</sup>, хотя столкновение разных стилистических планов — прием обычный для ирои-комической поэмы. К нему часто прибегает, например, В. Майков, поясняя читателю, что он сознательно применяет разные стилистические ряды, меняет стилистические уровни:

В темницу лестницей тихонько стал сходить,  
Иль красться, ежели то вымолвить по-русски...  
И был растягнут весь на ней ее роброн,  
Иль, внятнее сказать, худая телогрея.  
Со мною у тебя едино будет ложе,  
А попросту сказать, единая кровать ...<sup>44</sup>

Количество подобных примеров можно бы было легко умножить.

Наконец, присутствует в пушкинской поэме и некоторая ирония по отношению к патриарху русской литературы, отцу русского преромантизма — Н. М. Карамзину. О Карамзине напоминают, как мы говорили, уже первые оссиановские строки поэмы. Тома-

шевский справедливо соотнес начало первой песни «Руслана» с первым томом «Истории государства российского», в котором рассказывается о княжении Владимира<sup>45</sup>.

Так, из «Истории» взяты имена Рогдай (в черновике у Пушкина: Рохдай (IV, 218), у Карамзина — Рахдай) и Фарлаф. Последнее имя встречается у Карамзина дважды<sup>46</sup>. Оно должно было понравиться Пушкину, ибо звучит почти как Фальстаф, который и является литературным прототипом этого персонажа. Дважды встречается у Карамзина и имя Рахдай. На этот раз и характеры героев совпадают у обоих авторов. У Карамзина: «Сильный Рахдай (который будто бы один ходил на 300 воинов)», в примечаниях он же назван «Рахдай удалой»<sup>47</sup>. И на той же странице, где говорится о Рахдае, встречается фраза: «расширил пределы государства на Западе»<sup>48</sup>.

У Пушкина читаем:

...Рогдай, воитель смелый,  
Мечом раздвинувший пределы  
Богатых киевских полей...  
(IV, 8)

Особенно явственны совпадения рассказа Карамзина о пирах Владимира и описание пира в начале поэмы. Карамзин: «... сей Князь всякую неделю угощал в *Гриднице*, или в прихожей дворца своего, *Гридней*, (меченосцев княжеских), воинских Сотников, Десятских и всех людей именитых или *нарочитых*. <...> память сего Великого Князя хранилась и в сказках народных о великолепии пиров его, о могучих богатырях его времени...»<sup>49</sup> Ср. у Пушкина:

В толпе могучих сыновей,  
С друзьями, в *гриднице* высокой (курсив мой. — М. А.)  
Владимир-солнце пировал ...  
(IV, 7)

Торжественно-величавый рассказ Карамзина, наложенный на историю незадачливого мужа, у которого прямо из постели украли жену, не успевшую лишиться невинности, принимает несерьезный, проказливо-насмешливый оттенок.

Жанровая природа первой пушкинской поэмы вызывает до сих пор горячие споры. Исследователи отмечают ее неоднородность, некоторую противоречивость ее поэтической системы. В одной из недавних монографий о Пушкине «Руслан и Людмила» названа «мнимой поэмой», поскольку она соединяет в себе черты лиризма и трагедии, «игровую двуплановость и амбивалентность»<sup>50</sup>.

В нашей работе рассмотрены именно черты комизма, шутливости, иронии и, главный образом, травестики, которые, являясь важнейшими, если не основными, мотивами поэмы, позволяют рассматривать ее как памятник литературных споров, литературной полемики этого периода, что позволяет определить ее жанр как ирои-комическую поэму.

Растянувшийся на столетие спор между исследователем и литературным критиком должен быть решен в пользу критика. Молодой поэт легко и изящно посмеялся над столпами раннего русского романтизма: Карамзиным, Озеровым, Жуковским, Батюшковым.

После «Руслана и Людмилы» в творчестве Пушкина наступил, впрочем, очень недолгий, творческий кризис. В «Эпилоге» поэмы (июль 1820) он пишет:

...огнь поэзии погас.

Ищу напрасно впечатлений (в черновике: вдохновений)

Она прошла, пора стихов ...

(IV, 87, 275—276)

Может быть, этот кризис объясняется не только фактами бурной биографии поэта. После «Руслана» нужно было искать новые литературные пути. Они были найдены в романтизме байроновского типа, о чем свидетельствовало стихотворение «Погасло дневное светило...», написанное уже в августе 1820 года.

И было сердцу ничего не надо,  
Когда пила я этот жгучий зной...  
«Онегина» воздушная громада,  
Как облако, стояла предо мной.

*Анна Ахматова*

Осип Манделъштам однажды сказал: «...если когда-нибудь был золотой век, это девятнадцатый. Только мы не знали»<sup>1</sup>. Пушкин это знал. Он знал больше: Золотым веком был не весь девятнадцатый, только его начало, та первая четверть, которую историки культуры недаром так и называют — *Золотым веком*. Этот Золотой век Пушкин описал во всех деталях в главном труде своей жизни — романе в стихах «Евгений Онегин».

Об «Онегине» написано невероятно много. Читатели и исследователи часто видят в этом классическом романе отражение реалий русской жизни: бытовых, культурных, идеологических. Тон такому пониманию задал Белинский: «... в лице Онегина, Ленского и Татьяны Пушкин изобразил русское общество в одном из фазисов его образования, его развития ... Везде видите вы в нем <в авторе. — М. А.> человека, душою и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса; короче, везде видите русского помещика... Он нападает в этом классе на все, что противоречит гуманности; но принцип класса для него — вечная истина... И потому в самой сатире его так много любви, самое отрицание его так часто похоже на одобрение и на любование...»<sup>2</sup>

Идеи Белинского были подхвачены Писаревым, увидевшим в Онегине, а заодно и в авторе, ничтожного носителя всех пороков паразитического эксплуататорского класса, «испорченного до мозга костей систематической праздностью мысли»<sup>3</sup>. От Писарева не ускользнуло идиллическое начало в «Онегине»: греза о гармоничной жизни интеллектуально развитой личности в благоприятных обстоятельствах. Естественно, что подобные идеи вызвали у него лишь сарказм: «... золотой век исчез, как легкое сновиденье; и смотрят юные потомки аркадских жителей на богатырский размах “Евгения Онегина” как на совершенно несообразную грезу...»<sup>4</sup>

И позднее роман Пушкина рассматривался как отражение русской жизни, ее непосредственных реалий и общественных проблем. Этот подход был четко и жестко сформулирован Г. А. Гуковским: «Именно «Евгений Онегин» был окончательной победой реализма на его первой ступени — исторической, поскольку метод искусства не находит полного применения, пока он не дал ключа к пониманию и истолкованию современности»<sup>5</sup>.

Как справедливо заметил современный исследователь, давно уже стало ясно, что «стараниями многих искусствоведов слово «реализм» лишилось какого бы то ни было смысла и приобрело характер упаковки, необходимой и достаточной для любого художественного продукта...»<sup>6</sup> Поэтому прочное прикрепление пушкинского романа к «реализму» сыграло роковую роль в истолковании и понимании «Онегина». В романе ищут и находят точную, по дням, хронологию событий, правдоподобие мельчайших деталей быта, отражение буквально *всех* общественных и идеологических течений и умственных интересов пушкинской эпохи, описание и оценку декабристского движения, реалии пушкинской биографии, включая любовные переживания поэта, и многое, многое другое. Естественно, что при таком подходе роман становится неисчерпаемым кладом для комментаторов, источником размышлений и выводов для историков, историков общественной мысли, социологов, биографов Пушкина и пр. В этой связи любопытно процитировать точку зрения А. М. Горького. Непосредственная наивность этого автора как нельзя лучше показывает утилитарный подход к художественному тексту, который вытекает из «реалистического» толкования романа: «<Пушкин> написал первый русский реалистический роман, — роман, который помимо неувядаемой его красоты, имеет для нас цену исторического документа, более точно и правдиво рисующего эпоху, чем до сего дня воспроизводят десятки толстых книг»<sup>7</sup>.

Естественно, что при таком утилитарном подходе исчезает художественное единство текста, то ощущение *громыды, облака* (и устойчивости: как облако *стояла*), о которых писала Ахматова.

Попробуем подойти к «роману в стихах» несколько с иной точкой зрения. Представляется, что существенную роль в художественной и идеологической системе романа играет идиллическое начало. Нельзя сказать, что эта проблема не занимала критиков и исследователей романа. Как мы видели, даже Писарев называл эпоху Онегина *золотым веком*. Правда, он вкладывал в это понятие только злую иронию по отношению к самому Онегину и к его современникам.



В 1981 году появилась статья, которая так и называлась: «Идиллические мотивы в “Евгении Онегине”»<sup>8</sup>. В этой статье автор вполне справедливо отмечает наличие в романе, пользуясь термином М. М. Бахтина, *идиллического хронотопа*, который сложился в жанре идиллии еще в античные времена и прочно прижился в русской литературе в элегиях Жуковского, Батюшкова и мн. др. В них идиллическое начало обычно было связано с печальными медитациями, сожалением о прекрасном и навсегда ушедшем прошлом и пр.<sup>9</sup> Последнее особенно важно для нашей темы.

Идиллическая жизнь, по представлению древних, существовала в Золотом веке, идея которого была разработана еще в античности, в поэме Гесиода «Труды и дни» и в «Метаморфозах» Овидия. Античные авторы обычно помещали идиллический мир в Аркадию, горную область в центральной части Пелопоннеса. Таким образом, представление об идеальной, счастливой и беспечальной жизни тесно связывается во времени с Золотым веком, а в пространстве с Аркадией<sup>10</sup>. Сожаление об этом утраченном счастье лучше всего передается знаменитой фразой: *Et in Arcadia ego*.

Она появилась как подпись под картиной итальянского художника Джованни Гверчино в начале XVII века и стала особенно известной после появления знаменитой картины Н. Пуссена, изображавшей могильную плиту с этой надписью. Фразу эту, как показал в своей известной работе Э. Панофский, можно понимать по-разному: и я некогда жил, и я тоже был рожден в Аркадии, — или же: даже в Аркадии существую я (Смерть); даже в Аркадии умирают<sup>11</sup>. Оба этих подхода к действительности, как мы попытаемся показать, имеются в «Евгении Онегине».

Идиллический мир может существовать в некоем отдаленном от автора пространстве или в некоем отдаленном от автора, чаще прошедшем, времени.

При этом мы будем понимать слово *идиллия* не в жанровом, а в семантическом смысле. Для нас идиллия есть некоторое состояние и место, где царствует гармония, где воплощаются мечты о некоем идеальном, совершенном мире, где интеллектуально развитая личность существует в благоприятных обстоятельствах.

Чтоб обосновать представление о пушкинском романе как об идиллии, отодвинутой от автора во времени и пространстве, попробуем в самых общих чертах, грубо, суммарно, вспомнить историю создания романа: содержание глав, время и место их написания.

1-я глава. Жизнь Онегина в Петербурге. 1823 (Кишинев, Одесса)

2-я глава. Жизнь Онегина в деревне. 1823 (Одесса)

- 3-я глава. Любовь. Письмо Татьяны. 1824 (Одесса. Михайловское)  
4-я глава. Объяснение Онегина с Татьяной. Деревенский быт. 1824—1825 (Михайловское)  
5-я глава. Сельский бал. 1826 (Михайловское. Москва)  
6-я глава. Смерть Ленского. 1826 (Михайловское. Москва)  
7-я глава. Деревня (без Ленского и Онегина). Москва. 1827—1828 (Москва?)  
8-я глава. Петербург. Любовь Онегина. 1830. Болдино

Принято считать, что в «Евгении Онегине» Пушкин очень точно обозначил хронологические рамки своего повествования. Его герой родился в 1795 году, начал светскую жизнь в 1811—1812 гг., уехал в деревню весной 1820, убил Ленского 14 января 1821 г., трагическое объяснение с Татьяной произошло в марте 1825 г.<sup>12</sup> Таким образом, у Онегина как раз оставалось время, чтобы вступить в тайное общество, принять участие в восстании 14 декабря, погибнуть на Кавказе. Воспоминания М. В. Юзефовича об оставленном замысле Пушкина<sup>13</sup> и так называемая «Десятая глава» как будто дают основания для подобных заключений и «продолжений»<sup>14</sup>. Правда, сам Пушкин к этому сюжету уже не имеет никакого отношения<sup>15</sup>.

В то же время Пушкин как будто сам подтверждает точку зрения исследователей, когда в 17-м примечании пишет: «Смею уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю».

На самом деле, как это убедительно показал В. С. Баевский, никакой точной внутренней хронологии в романе нет<sup>16</sup>. Замечание Пушкина имеет в виду лишь правильную смену времен года в романе. Оно было написано, когда в первое издание вкралась опечатка: «*Зимой* летят во весь опор» вместо «*Домой* летят во весь опор»<sup>17</sup>.

Суть размышлений Баевского сводится к следующему. Если Онегин родился в середине 1790-х, то его бурная светская жизнь: театр, ресторан, бал, любовные похождения — никак не вяжется с величественными событиями 1812—1815 гг. (герою 17—20 лет). Молодой шалопаи пьет «вино кометы», пока его сверстники (Чаадаев, Каверин, Грибоедов, Вяземский и многие-многие другие) служат в армии, находятся на полях сражений, где решались судьбы России и Европы. Кстати, блестящий гусар Каверин никак не мог обедать с Онегиным в то самое время, когда с русскими войсками шел от Москвы до Парижа.

Есть в привычной хронологической схеме и много других несообразностей: белые ночи в Петербурге в начале мая, скоропалительный духовный кризис Онегина, занявший при точном расчете

времени лишь несколько месяцев и пр. Все это убедительно и интересно показано Баевским, который пришел, с нашей точки зрения, к абсолютно справедливому выводу: «Можно сказать, что героям романа в каждом эпизоде столько лет, сколько требует художественная и психологическая правда»<sup>18</sup>.

А теперь попробуем взглянуть на изображение жизни Онегина с точки зрения реального автора, А. С. Пушкина, не заботясь о точной хронологической прикреплённости событий романа. Выясняется любопытная закономерность. Онегин всегда находится в том пространстве или времени, или ситуации, где хотелось бы быть автору. Можно сказать, перефразируя терминологию М. М. Бахтина, что это *желаемый* хронотоп.

В самом деле, в первой главе Онегин находится в Петербурге, откуда автор изгнан, возвращение куда для него невозможно: *Вреден север для меня*. И изображение Петербурга в первой главе превращается, как увидим, в некоторый идеально-прекрасный мир. Начало этому ощущению задано уже в предисловии к этой главе, впоследствии снятому, — в «Разговоре Книгопродавца с Поэтом». Здесь «наш век торгаш, сей век железный» противопоставлен миру вдохновений поэта. Если в одном мире поэт готов продать свою рукопись, то в ином мире, мире «пламенного восторга» господствуют «музы сладостные дары».

Там же на юге были написаны следующие полторы главы. Поэт так же был далек от идиллического, поэтического мира русской деревни, как и от роскошной северной столицы. Он мог только вспомнить в стихах о своем недолгом пребывании<sup>19</sup> в любимом Михайловском, где он

... в былые годы  
Провел в бездействии, в тиши  
Мои счастливейшие дни. (гл. I, стр. LV)

Главы четвертая, частично пятая и частично шестая написаны в Михайловском. Автор как будто соединился наконец со своим героем, в том самом Михайловском, где он сейчас живет и которое иногда с нарочитой документальностью возникает на страницах романа в стихах<sup>20</sup>. Однако и здесь разрыв, но уже ситуационный, между автором и героем сохраняется.

Онегин приехал в деревню по доброй воле, живет здесь тихой, мирной, покойной, «святой» жизнью, пролетающих дней «в беспечной неге не считая». Не то автор. Позади у него столкновение со всемогущим наместником Южного края Воронцовым, какая-то пылкая и трагическая любовь. Сюда, в Михайловское, он *сослан*

под надзор и опеку церковных властей. Это настоящая формальная ссылка. Пушкин был обязан «жить безотлучно в поместье родителя своего, вести себя благонаравно, не заниматься никакими неприличными сочинениями и суждениями, предосудительными и вредными общественной жизни и не распространять оных никуда»<sup>21</sup>. Таким образом, даже те беседы, в которых обсуждались «племен минувших договоры», «плоды наук», «добро и зло», «судьба и жизнь» — формально были запрещены поэту.

В главах шестой, седьмой, восьмой взгляд автора на события, происходящие в романе, меняется. Круто изменилась биография Пушкина. Судьба бросает его из деревенской хижины в Кремлевский дворец, где он ведет долгую беседу с новым императором. Этой беседе предшествовала смерть старого, кровь, трагедия. Пути героя и автора стремительно расходятся.

В 1826—1830 гг., когда Пушкин заканчивает свой роман, герои его еще живут *там*, в золотом веке России. Сам же автор уже смотрит на него из своего настоящего как на далекое и прекрасное прошлое. На двух последних главах романа лежит отпечаток грусти, скорби, трагедии. Эта та Аркадия, в которой уже не жить поэту и которая уже не существует в настоящем. Здесь как будто раскрывается второй смысл старинного изречения: даже в Аркадии умирают<sup>22</sup>. Впрочем, об этом мы поговорим несколько позднее. А пока попробуем взглянуть на содержание романа не с точки зрения исторических реалий, а как на цельный, замкнутый в себе поэтический мир.

Первая глава представляет собою описание жизни Онегина и его социальной страты в столичном городе Санкт-Петербурге. Онегинский Петербург несколько не похож на реальную столицу с ее дождями, сыростью, слякотью, какой она запечатлелась многократно в русской послепушкинской прозе<sup>23</sup>.

Зима здесь красива и привлекательна:

Морозной пылью серебрится  
Его бобровый воротник...  
Снег утренний хрустит.

Лето идиллически прекрасно:

...прозрачно и светло  
Ночное небо над Невою,  
И вод веселое стекло  
Не отражает лик Дианы ...  
Дыханьем ночи благосклонной  
Безмолвно упивались мы!

Недаром в примечании к этим идиллическим строчкам сам автор отсылает читателей именно к *идиллии* Н. Гнедича «Рыбаки», 26 стихов из которой и цитирует:

Вот ночь; но не меркнут златистые полосы облак.  
Без звезд и без месяца вся озаряется дальность. ...  
Тогда над Невой и над пышным Петрополем видят  
Без сумрака вечер и быстрые ночи без тени;  
Тогда Филомела полночные песни лишь кончит,  
И песни заводит, приветствуя день восходящий. ... и пр.

В «Рыбаках» вполне в буколическом духе описана белая петербургская ночь, и лодки на Неве, и музыка, и песни, упомянутые в следующей, 48-й строфе. А чуть позднее, снова подчеркивая литературность своего изображения Петербурга, Пушкин вспоминает и цитирует в примечании описательно-идиллическое с обилием античных реминисценций стихотворение М. Муравьева «Богине Невы». Где, читатель помнит, были такие строки:

Полон вечер твой пролады —  
Берег движется толпой,  
Как волшебной серенады  
Глас приносится волной.<sup>24</sup>

Осени же в этом Пушкинском Петербурге не бывает вовсе.

Столь же безмятежно прекрасен и описанный в первой главе русский дворянский быт. Много места в нем занимает еда. Живописны и красивы окровавленный ростбиф, трюфели, лучший цвет французской кухни, страсбургский пирог, лимбургский сыр, золотой ананас и пр. Эти изысканные кушанья так же определяют спокойный устойчивый уют эстетически совершенного дворянского бытия, как мнимо простая неприхотливая еда подчеркивает безмятежную прелесть пастушеской жизни в буколичках Феокрита или Вергилия, которых Пушкин и поминает в той же первой главе.

... у меня творога изобилье,  
Свежие есть плоды, созревшие есть и каштаны.<sup>25</sup>

Или:

Медом хотелось бы мне уста твои, Тирсис, наполнить!  
Сладостным медом из сот, виноградом от лоз на Айгиле.<sup>26</sup>

Изящны и красивы вещи, окружающие Онегина — принадлежность утонченной дворянской культуры: янтарь, фарфор, бронза,

граненый хрусталь — лучшие создания человеческих ремесел, призванные украшать жизнь обитателя петербургской Аркадии.

Буколические пастухи проводят свои дни в поэтических состязаниях, сочинении любовных песен и в уходе за стадом. Все это сродни театральному действию. Таким же утонченно изысканным театром является общественная жизнь Онегина. Из настоящего театра, «волшебного края», где для него пляшет «блистательная, полувоздушная» Истомина, он попадает на другой, не менее яркий и выразительный спектакль, где сам играет заглавную роль:

Взлетел по мраморным ступеням,  
Расправил волоса рукой ...  
Бренчат кавалергарда шпоры;  
Летают ножки милых дам...

Именно здесь проявляет герой свою осведомленность и практическое владение «наукой страсти нежной», о чем автор детально осведомил читателя в начале первой главы.

Однако жизненный пир, участником которого является главный герой романа, не ограничивается предметами материального быта. Напротив, обильное интеллектуальное пиршество и делает роскошный имперский Петербург настоящей Аркадией, землей обетованной. Горы бумаги исписаны, чтобы прокомментировать круг чтения и занятия Онегина. Обычно стараются показать, что герой Пушкина находится на уровне европейской образованности и что его интересы близки декабристским. (См. прежде всего интересные, во многом исчерпывающие комментарии Лотмана, Набокова). Все это, особенно первое, видимо, так и есть. И сам Онегин, и его окружение обладают широкими и разносторонними познаниями и интересами: античность и современные экономические и исторические проблемы, европейская и русская литература, философия и публицистика XVIII—XIX вв. и мн. др. Об этом так много писалось, что приводить цитаты о Гомере, Феокрите, Адаме Смите мы считаем излишним. Заметим только, что многие существенные упоминания о политическом и литературном кругозоре Онегина: де Сталь, Шатобриан, Байрон, Жомини, карбонарии и пр. — встречаются лишь в черновых набросках или в пропущенных строфах. Пушкин не хочет утяжелять повествование. Он сознательно говорит о занятиях и интересах своего героя шутивно, небрежно. Все, что тот знает, пришло к нему легко, без трудов и усилий. Так и должно быть. Ибо герой живет в Золотом веке, в Аркадии, где на поверхности лежат лишь золотистые плоды просвещения, а труд, которым они добыты, скрыт от глаз постороннего. По правилам игры в идиллии должна быть видима только красота бытия.

В черновиках уточнены, раскрыты, названы многие и многие имена, составляющие обширный и впечатляющий круг чтения Онегина. Так, библиотека Онегина в деревне по первоначальному варианту черновика состояла из писателей, философов, историков XVIII века и некоторых античных авторов: Юм, Робертсон, Руссо, Мабли, Гольбах, Локк, Кант, Фонтенель, Дидро, Гораций, Цицерон, Лукреций<sup>27</sup>. Этот список Пушкин частично реализовал позднее, в восьмой главе, рассказывая о серьезном чтении (историки, философы, ученые) зимой у камелька одинокого влюбленного в Татьяну Онегина:

Стал вновь читать он без разбора...

В седьмой главе Пушкин, может быть, имея в виду, что герой обратится к сугубо серьезному чтению позднее, набрасывает второй вариант этой строфы, где на протяжении 14 строк перечисляет наиболее выдающиеся произведения европейского романтизма, входящие в орбиту постоянных интеллектуальных интересов Онегина. Здесь *весь* (курсив мой. — М. А.) Вальтер Скотт, Бенжамен Констан («Адольф»), Шатобриан («Рене»), Матюрен («Мельмот-скиталец»), Мадам де Сталь («Коринна»), Байрон («Дон Жуан»).

В окончательном тексте, как он сделал это и в первой главе, Пушкин убирает все конкретные имена, оставляя их эрудиции и образованности читателя. Сохранился лишь Байрон («Певец Гяура и Жуана») и блестящая характеристика романтического героя, интеллектуальным раздумьям и противоречиям которого причастен сам Онегин:

... два-три романа,  
В которых отразился век  
И современный человек  
Изображен довольно верно  
С его безнравственной душой,  
Себялюбивой и сухой,  
Мечтанью преданной безмерно,  
С его озлобленным умом  
Кипящим в действии пустом.

Конечно, это напряжение страстей и переживаний далеко от идиллических простых и простодушных героев Феокрита, Геснера, Гнедича или Дельвига (впрочем, о последнем разговор особый, и мы к нему еще вернемся). И кажется странным, что в связи с эгоизмом, озлоблением ума и пр. мы говорим об идиллическом начале в романе. Однако мы уже отмечали, что под идиллией мы

имеем в виду полное и совершенное развитие личности, в том числе и, может быть, в первую очередь, интеллектуальное. А это значит, что герои не только находятся на современном уровне развития, но что интеллектуальные проблемы занимают в их жизни ведущее место и они имеют полную возможность предаваться своим умственным интересам.

Все, что мы говорили об образовании Онегина, относится и к Ленскому, и к Татьяне. Первый вводит в роман немецкую ученость (Кант) и немецкую литературу (Шиллер, Гете). Как всегда у Пушкина, об этом говорится легко, скороговоркой, как будто небрежно. Но так и должно быть у совершенного, идеального героя, в 18 лет обладающего богатством, красотой, поэтическим даром, умом, образованностью<sup>28</sup>.

Интеллектуальные интересы Татьяны не столь глубоки, но и она читает, страдает, думает. В кругу ее интересов не только уже наивные и устарелые Коттень, Крюднер и Ричардсон («который нам наводит сон»), но и Руссо, и де Сталь. Несколько позднее Татьяна приобщается к интеллектуальным интересам Онегина.

Деревня в пушкинском романе наиболее идиллична. Неслучайно уже упоминавшийся нами исследователь именно в деревенских главах «Онегина» нашел идиллические мотивы. Русская природа, как и петербургская, оборачивается к читателю своей благой стороной. Здесь нет грязной и холодной русской осени, о которой одновременно с «Онегиным» Пушкин, к примеру, писал в «Графе Нулине, (1825) или в стихотворении «Румяный критик мой...» (1830):

... грязь, ненастье,  
Осенний ветер, мелкий снег...

Или:

... серых туч густая полоса. ...  
Два бедных деревца стоят в отраду взора,  
Два только деревца. И то из них одно  
Дождливой осенью совсем обнажено,  
И листья на другом, размокнув и желтея,  
Чтоб лужу засорить, лишь только ждут Борея.

В «Онегине»: «луга и нивы золотые... Огромный запущенный сад, // Приют задумчивых дриад». «Луна обходит // Дозором дальный свод небес, // И соловей во мгле древес // Напевы звучные заводит».



Там соловей, весны любовник,  
Всю ночь поет; цветет шиповник,  
И слышен говор ключевой... (VII, 6)

Весна здесь лучезарна и безоблачна:

Улыбкой ясною природа  
Сквозь сон встречает утро года;  
Синяя блещут небеса ...  
Я наслаждаюсь дуновеньем  
В лицо мне веющей весны  
На лоне сельской тишины! (VII, 1–2)

Когда наступает зима, она является автору и героям своей «холодной красою», это «волшебница Зима»:

На стеклах легкие узоры,  
Деревья в зимнем серебре...  
...мягко устланные горы  
Зимы блистательным ковром,  
Все ярко, все бело кругом...  
На солнце иней в день морозный,  
И сани, и зарю поздней  
Сиянье розовых снегов ... (V, 1, 4)

Даже осень в «Онегине» совсем не такая, как мы видели ее в цитированных выше стихах Пушкина. Она близка той поэтической осени, источнику вдохновения, которая описана была поэтом в знаменитом стихотворении 1833 года. В пушкинском романе она столь же поэтична:

Лесов таинственная сень  
С печальным шумом обнажалась,  
Ложился на поля туман ...  
Встает заря во мгле холодной ... (IV, 40, 41)<sup>29</sup>

Столь же беспечален и изыскан, хотя, может быть, и менее прихотлив, чем в столице, деревенский дворянский быт, описанный Пушкиным:

Узде послушный конь ретивый,  
Обед довольно прихотливый,  
Бутылка светлого вина... (IV, 38, 29)

А зимой:

Прогулки тайные в санях... (V, 3)

(Пускай эти зимние наслаждения уже описаны Вяземским, но поэт с удовольствием включает эротику «зимних нег» в изображение красот русской зимы.)

Как всегда в романе Пушкина, быт удивительно поэтичен, и ощущение деревенской уединенной идиллии особенно ему свойственно:

Огонь потух; едва золою  
Подернут уголь золотой;  
Едва заметною струею  
Виется пар, и теплотой  
Камин чуть дышит. Дым из трубок  
В трубу уходит. Светлый кубок  
Еще шипит среди стола.  
Вечерняя находит мгла... (IV, 47)

Или:

Разлитый Ольгиной рукою,  
По чашкам темною струею  
Уже душистый чай бежал,  
И сливки мальчик подавал... (IV, 37)

Отметим еще раз, что жизнь простого народа (ремесленников в городе, крестьян в деревне) поэта не интересует. Герои романа полностью погружены в свой собственный быт (бытие). Если простолудины и появляются (очень редко) на страницах романа, то лишь как отдаленный, мимолетный фон, только оттеняющий эту экзистенциальность, полную интеллектуальную (и бытовую) замкнутость их существования в своем собственном мире. Реалии прозаического (тоже, впрочем, опозитизированного) простонародного быта возникают лишь мимолетно. Таковы немец-хлебник, молочница-охтенка, извозчик, разносчик, купец — в городе. В деревне дворовый мальчик, бегающий с Жучкой либо подающий, как мы только что видели, сливки, девушки, собирающие ягоды, пению которых «с небрежением внимает» Татьяна, или прядущая при лучине дева, или мужики, которым «ярем баршины» Онегин заменил легким оброком, или те рекруты, которым мать Татьяны «брила лбы», или служанки, которых она же «била осердьясь»<sup>30</sup>. Все они составляют не более чем необходимое условие идиллического бытия основных героев, и лишь мимолетно возникают на периферии поэтического описания, не останавливая на себе внимания ни автора, ни читателя.

Прав поэтому был Г. В. Плеханов, когда в 1885 году писал, что «Евгений Онегин» вовсе не интересен для простого народа. «В свое

время роман этот наделал много шума, да и теперь еще его с удовольствием читают люди высших классов. Но если, пользуясь воскресным отдыхом, за него возьмется человек, проработавший целую неделю на фабрике, то его вряд ли займут похождения «разочарованного» барина. Такой человек видел много настоящего неподдельного горя, но он не знал «хандры» и «разочарования» точно так же, как не знали этих мудреных вещей те крепостные крестьяне, с которых получал оброк господин помещик Онегин. Рабочий просто не поймет внутреннего содержания этого романа»<sup>31</sup>.

И немногочисленные читатели Пушкина из крестьян сами чуть позднее вполне подтвердили точку зрения Плеханова. Из всех произведений Пушкина они с наименьшим интересом относились именно к «Евгению Онегину»: барские проблемы их, очевидно, совсем не занимали.

Б. С. Мейлах проанализировал и процитировал многие письма крестьян о Пушкине, написанные в 1899 г. Вот что пишет об «Онегине» один из деревенских «грамотеев», может быть, сельский учитель: «И такое, например, прекрасное произведение Пушкина, как “Евгений Онегин”, к сожалению, тоже не особенно интересует нашего брата-мужика и читается немногими и не так охотно, как повести Пушкина. Сколько я ни допытывался узнать этому причину от берущих у меня читать эту книгу, но добиться ничего путем не мог. Один, впрочем, страстный любитель чтения из мастеровых (иконописный позолотчик) говорил мне об этом сочинении так: “Ну, что же в нем хорошего, не быть (быть, по его понятию, стихами не пишется) и не сказка, а так себе что-то такое... между правдой и ложью, поэтому, говорит, оно мне ничуть не нравится, а также не нравится и другим, которым я читал его...”. Другие же, которым я давал эту книгу, так просто отмалчивались на мои расспросы, по всему заметно, что некоторые ее даже не дочитывали, вот и все, чего я мог добиться от читавших “Евгения Онегина”»<sup>32</sup>.

На умиротворенном, спокойном, лишенном каких бы то ни было социальных конфликтов деревенском фоне происходят, однако, события, никак не вписывающиеся в наше представление о гармоническом, идиллическом бытии. И это прежде всего кровавая дуэль Онегина и Ленского. Дело обстоит, однако же, не так просто.

Дуэль, особенно в России, где поединки были строжайше запрещены, была непременно и обязательным институтом дворянского поведения. Это был жестокий и автоматический регулятор дворянской чести, защиты человеческого достоинства, норма поведения благородного человека<sup>33</sup>. Пушкин очень хорошо понимал и ценил моральную ценность жестокого и кровавого обычая. Он

дрался на дуэлях несколько раз. Его роковой поединок был последним и окончательным средством защитить семейную честь, доброе имя жены, утвердить чувство собственного достоинства.

В романе герои с удивительной шепетильностью относятся к вопросам чести (речь идет только об Онегине и Ленском; Зарецкий, лакей Гильо не входят в этот круг). О затеянной дуэли жалеет Ленский, оправдывая свое решение искусственными софизмами:

...буду ей спаситель.  
Не потерплю, чтоб развратитель  
Огнем и вздохом и похвал  
Младое сердце искушал и т. д. (VI, 15)

Онегин признает свою вину, жалеет о принятом вызове:

Был должен оказать себя  
Не мячиком предрассуждений,  
Не пылким мальчиком, бойцом,  
Но мужем с честью и умом и т. д. (VI, 10)

Однако механизм запущен, и каждый из героев подчиняется строгим правилам чести, заставляющим человека демонстрировать мужество, хладнокровие, пренебрежение к смерти.

Вместе с тем смерть Ленского несет в себе некоторое очищение, катарсис, она сохраняет в романе высокую атмосферу идеальной совершенной и в этом смысле идиллической жизни. В самом деле, сразу после гибели поэта автор приступает к обсуждению возможной его участи, если бы поэт не погиб. Возникает два варианта. Первый: человечество лишилось великого поэта:

Его умолкнувшая лира  
Гремучий, непрерывный звон  
В веках поднять могла. ...  
Погиб животворящий глас. (VI, 37)

И второй:

В нем пыл души бы охладел. ...  
В деревне счастлив и рогат,  
Носил бы стеганный халат...  
Пил, ел, скучал, толстел, хирел ... (VI, 39)

Между 37 и 39 строфами была еще одна, обозначенная в тексте как пропущенная 38. Она сохранилась в записи Одоевского (ныне утраченной) и была опубликована Я. Гротом только в 1887 г.

В этой строфе автор примеривал к Ленскому роль политического деятеля, полководца или газетного публициста:

Исполня жизнь свою отравой...  
Увы, он мог бессмертной славой  
Газет наполнить нумера.  
Уча людей, мороча братьий...  
Как наш Кутузов, иль Нельсон,  
Иль в ссылке, как Наполеон,  
Иль быть повешен, как Рылеев.

Бытует мнение, что строфа была выброшена по цензурным причинам<sup>34</sup>. В этом можно усомниться: строку о Рылееве легко можно бы было опустить, заменив ее точками. Остальные строки были вполне подцензурными. Включение третьего пути нарушало бинарную альтернативу: плохо — хорошо. При этом очевидно, что «третий» путь, с точки зрения автора, был столь же бесперспективен, как и второй: либо беспросветная пошлость, либо «отрава» и обман («мороча братьий»).

При этом возможность опошления (в деревне или на политической арене) делала смерть поэта менее трагичной: лучше умереть в расцвете сил, в пылу поэтических мечтаний, в расцвете любви. Недаром так поэтически-проникновенно описана в романе смерть Ленского:

Дохнула буря, цвет прекрасный  
Увял на утренней заре  
Потух огонь на алтаре!..  
Недвижим он лежал, и странен  
Был томный мир его чела. ... (VI, 31—32)

В то же время очень важно, что шестая глава целиком написана в 1826 году. 1825 год пролегал непроходимой чертой между русским Золотым веком и новой прагматической культурой. Умер или ушел в схимники император Александр I, при всех своих недостатках человек умный, красивый и добрый. Вслед за этим и произошло восстание на Сенатской площади, странная революция, где мечтатели-офицеры и пылкие поэты (обе эти ипостаси часто совпадали) принесли свои жизни на алтарь им самим неясной и неопределенной грезы. Пролилась кровь. Добрый, великодушный, восторженный Кюхельбекер зачем-то стрелял в Великого князя Михаила (тот потом выпросил у царя замену для преступника смертной казни двадцатилетней тюрьмой). Зачем-то убили любимца солдат, ученика Суворова, легендарного, блестящего генерала Милорадовича. И сами были готовы к неминуемой гибели. «Мы умрем, ах, как славно

мы умрем!» — восклицал накануне страшных событий юноша Александр Одоевский. Вторил ему Рылеев, с которым Пушкин сравнил Ленского: «...последние минуты наши близки, но это минуты нашей свободы; мы дышали ею, и я охотно отдаю за них жизнь свою»<sup>35</sup>. После этих событий отошел в прошлое и Золотой век России.

На фоне этих настроений и воспоминаний описал Пушкин гибель Ленского. Идиллия быстро и безвозвратно уходила. И здесь самое время вспомнить второе толкование знаменитого изречения об Аркадии. Оно, как нельзя лучше, объясняет важнейшие мотивы последних глав романа: «даже в Аркадии умирают», даже в Аркадии происходят трагические события. Замкнутый идиллический мир красоты и культуры уступает натиску враждебных сил, и этот натиск нарастает от главы к главе.

В первой главе враждебных сил нет совсем. Этому не противоречит несомненный налет иронии, которым проникнута вся первая глава. Действительно, Пушкин подтрунивает над «ученостью» Онегина:

Мы все учились понемногу  
Чему-нибудь и как-нибудь... (1, 5)

Уверяет нас, что наиболее совершенен был его герой в *науке страсти нежной*, и с мнимой серьезностью описывает его успехи в практическом приложении этой «науки»:

Как рано мог он лицемерить,  
Таить надежду, ревновать... и пр.

Кроме этой добродушной иронии, никакого отрицания в первой главе нет. Может быть, в начале Пушкину и виделось его произведение как сатирическое описание далекой петербургской жизни. 1 декабря 1823 года он писал А. И. Тургеневу: «...я на досуге пишу новую поэму “Евгений Онегин”, где захлебываюсь желчью». Инерция этого представления чувствуется в предисловии (впоследствии снятом) к отдельному изданию первой главы романа. Здесь автор называет себя «сатирическим писателем», однако же подчеркивая, что его новое произведение не *сатирическое*, а *шуточное*, похожее на «Беппо», «шуточное произведение мрачного Байрона», «шуточное описание нравов». Тут же он замечает, что первые главы «Онегина», «писанные под влиянием благоприятных обстоятельств <...> носят на себе отпечаток веселости...» (VI, 638).

Та же инерция, видимо, отразилась и в замечании о первой главе в письме к брату от января-февраля 1824, где он жалуется, что Раев-

ский не понял «сатиры и цинизма» в первой главе «Онегина». Однако уже в марте 1825 Пушкин решительно возражает Александру Бестужеву, который требовал от автора «Онегина» резкости и сатиры: «...поставил ли ты его <Онегина. — М. А.> в контраст со светом, чтобы в резком злословии показать его <т. е., очевидно, света. — М. А.> резкие черты?» И далее Бестужев противопоставляет Пушкину Байрона, сатира которого всегда «зла и свежа». Пушкин в ответ справедливо замечает, что его корреспондент «смотрит на Онегина не с той точки». Для него его новый роман отнюдь не обличительное произведение, и цели такой поэт перед собой не ставил: «Где у меня сатира? о ней и помину нет в “Евгении Онегине”»<sup>36</sup>.

Нет никакой сатирической линии и в последующих главах, где окружающий, скорее смешной, чем враждебный помещичий мир упоминается лишь мимоходом, вроде тех соседей Онегина, от которых герой вполне успешно убежал на «донском жеребце». В то же время мир Лариных, как уже отмечалось<sup>37</sup>, описан в основном в идиллическом ключе.

Чуждый идиллии, враждебный ей фольклорный (может быть, точнее, псевдофольклорный) мир появляется только в пятой главе, во сне Татьяны. Эти страшные чудовища не имеют аналогов в русском фольклоре: рак верхом на пауке, череп на гусиной шее, некто в рогах с собачьей мордой, другой с петушьей головой, остов чопорный и гордый, ведьма с козьей бородой, карла с хвостиком, полужуравль и полукот, в черновиках были еще какие-то уроды с мышиной головой, с хвостом, с козлячьей головой, петухи в цветной ливрее, крысы в розовой ливрее, рыба с лапками и пр. (VI, 389—390). Ю. М. Лотман замечает, что «такое изображение нечистой силы имеет западно-европейское происхождение и не поддерживается русской иконографией и фольклорными русскими текстами»<sup>38</sup>. Некоторые европейские аналоги безобразным видениям Татьяны приводит Набоков<sup>39</sup>.

Давно было вполне справедливо отмечено, что приехавшие на именины Татьяны гости напоминают чудовищ из ее сна. Облеченные в плоть и кровь, снабженные значащими именами (Трике, Пустяков, Петушков, Гвоздин) и именами всем известных литературных героев (Скотинины, Буянов), они заполняют пространство романа, и идиллический, прекрасный мир уходящей дворянской культуры начинает сжиматься, как шагреневая кожа.

Особенно мало места остается для этого идеального мира в седьмой и восьмой главах. Пространство заполняется московским, потом петербургским светом: «бессвязный пошлый вздор», «не вспыхнет мысли в целы сутки».

Вернувшись в Петербург, Онегин попадает в *другое* время, когда Золотой век кончился (глава пишется в 1830 году). Мир ничтожный и жалкий (в отличие от первой главы) теперь окружает Онегина и Татьяну. Последняя пытается в своей гостинной создать некий идеальный топос, который автор старательно и неубедительно противопоставляет остальному свету: легкий вздор без глупого жеманства, разумный толк без пошлых тем, старик, шутивший отменно и умно и пр. По черновикам видно, что Пушкин стремился описать салон Татьяны как последний островок петербургского Золотого века. Здесь умно разговаривают, здесь нет шекотливости мешанской, здесь принят слог простонародный, здесь нет холодных насмешек над старомодной деталью туалета и пр. Однако дальнейшего развития эти попытки не получили. Даже гостиную Татьяны заполняют в конце концов в основном тексте романа «необходимые глупцы», «сердитый господин», «прекрахмаленный нахал», «Проласов, заслуживший известность низостью души» и пр.

В этом пошлом и злом мире разыгрывается последний акт трагической идиллии нарисованного Пушкиным Золотого века.

Любовь в романе Пушкина прекрасна, но с самого начала несет на себе печать обреченности. В четвертой главе Онегин отвечает на любовь Татьяны так, как должен ответить порядочный человек, в полном соответствии с идеалами чести, уважения к другой человеческой личности, с добротой и мягкостью. Онегин не любит Татьяну, но шадит и ценит ее чувство. («В тот страшный час вы поступили благородно», — вспоминает позднее Татьяна). Разговор происходит в деревне, на фоне той природной идиллии, в которой разворачиваются центральные главы романа, и был он написан (начало 4-й главы), как мы помним, 1824—1825 гг., когда опальный поэт и сам жил в деревне, в Михайловском.

Иная ситуация в последней, 8-й главе. Она начата в конце 1829 и закончена в конце сентября 1830. Онегин теперь пылко, поэтично, преданно любит Татьяну:

Внимать вам долго, понимать  
Душой все ваше совершенство ...  
Желать обнять у вас колени  
И, зарыдав, у ваших ног  
Излить мольбы, признанья, пени...

Но и Татьяна любит Онегина, в чем откровенно и признается ему: «Я вас люблю (к чему лукавить?)». И теперь она поступает в полном соответствии с законами чести, морали, долга, теми законами, которыми на всем протяжении романа отмечено поведение



его героев, людей Золотого века России. Верность и долг оказываются важнее любви, сильнее личного счастья.

Татьяна и Онегин — прекрасны. Но в новом мире, пришедшем на смену Золотому веку, они обречены, как ранее погибший Ленский. Отсюда и печать глубокой грусти, лежащая на этой главе, и воспоминания об ушедших и погибших друзьях («Но те, которым в дружной встрече // Я строфы первые читал... // Иных уж нет, а те далеке, // Как Сади некогда сказал»). И самое главное — это трагичный, кажется, не имеющий аналогов в мировой литературе по событийной незавершенности финал романа, который внезапно оборван автором на мучительном переживании героя:

...Стоит Евгений,  
Как будто громом поражен.  
И здесь героя моего

.....  
... мы теперь оставим  
Надолго ... навсегда.

Так заканчивалась восьмая, последняя глава романа. В отдельном полном издании (1833) этот основной текст был дополнен «Отрывками из путешествия Онегина». Еще в предисловии к отдельному изданию восьмой главы автор признавался, что «выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России». Перепечатывая роман в полном виде, Пушкин присоединил к нему «Отрывки из путешествия», сохранив уже сложившуюся структуру из восьми глав и не восстановив первоначальный замысел: три части по три главы в каждой, где «Путешествие» («Странствие») должно было быть восьмой, а заключительная, последняя, — девятой.

Вторжение в идиллический, замкнутый мир громадной России с ее военными поселениями, Нижним и Великим Новгородом, Астраханью, Одессой и пр. разрушало целостный замысел романа. Включение же отдельных сцен в своеобразный эпилог, каким стало «Путешествие», подчеркивало крушение идиллии и выбрасывало героя из идеального хронотопа в Россию *реальную*, ту Россию, где для пушкинских героев уже не было места. Они живут в Петербурге (реже в Москве) или в уединенных усадьбах, своих «дворянских гнездах»: Михайловское, Тригорское, Малинники, Остафьево и пр. Онегин «Путешествия» — другой, и видит он другую Россию. Такому Онегину нет места на основных страницах романа. Не случайно именно в «Путешествии» появляются «прозаические бредни»: На небе серенькие тучи // Перед гумном соломы кучи <...>

пьяный топот трепака // Перед порогом кабака <...> скотный двор и пр. То, что «Путешествие» хронологически будто бы происходит до событий восьмой главы, значения не имеет. Внутренняя хронология романа, как мы видели, не существенна. Она к тому же и весьма неопределенна. Так, действие восьмой главы происходит то ли в 1825, то ли, по настроению, около 1830 года.

Тем не менее путешествие Онегина, несомненно, принадлежит роману<sup>40</sup>, и автор не преминул завершить и «Отрывки из Путешествия», и тем самым полный, окончательный текст романа поэтической концовкой, возвращающей нас в идиллический хронотоп:

Но поздно. Тихо спит Одесса;  
И бездыханна и тепла  
Немая ночь. Луна взошла,  
Прозрачно-легкая завеса  
Объемлет небо. Все молчит;  
Лишь море Черное шумит...

В 1829 году вышла из печати книга «Стихотворения барона Дельвига», единственный прижизненный сборник стихотворений поэта. Книга заканчивается, если не считать короткого в восемь строк «Эпилога», знаменитой идиллией «Конец золотого века». Здесь рассказывается о смерти (самоубийстве) пастушки Амариллы, обманутой городским юношей Мелетием.

Основная мысль стихотворения Дельвига выражена в его названии: Золотой век кончился и Путешественник (начало стихотворения) восклицает, оглянувшись вокруг:

Нет, не в Аркадии я!..

Обман, предательство, коварство пришли в Аркадию и изменили ее облик:

Бедная наша Аркадия! Ты ли тогда изменилась.  
Наши ль глаза, в первый раз увидавшие близко несчастье,  
Мрачным туманом подернулись? Вечнозеленые сени,  
Воды кристальные, все красоты твои страшно поблекли.<sup>41</sup>

Аркадские жители знают, что они «счастливы были», но они так же хорошо понимают, что счастье «гость на земле, а не житель обычный»<sup>42</sup>.

Не случайно, разумеется, что Дельвиг писал свои исполненные глубокой грусти стихи как раз тогда, когда его гениальный друг готовил трагический финал своего романа<sup>43</sup>. Оба чувствовали, что

лучшее время России безвозвратно ушло в прошлое. Название дельвиговской идиллии Пушкин мог бы поставить подзаголовком к своему роману.

Упорядоченность, завершенность, изысканную полноту и гармонию «Онегина» остро ощущали потомки, особенно в Серебряном веке, когда в предчувствии грядущих катастроф мечта об ушедшем Золотом веке становилась особенно осязаемой. Об этом говорит знаменитое четверостишие Анны Ахматовой, вынесенное эпиграфом к настоящей работе. И так же, оглядываясь в прошлое, писал Георгий Адамович: «...здесь <в «Онегине». — М. А.> жизнь достигла какого-то острия своего, какой-то завершенной формы, и исчезла»<sup>44</sup>.

Таким образом, можно сказать, что «Евгений Онегин» — никакая не «энциклопедия русской жизни», еще менее «документ эпохи». Это гениальный памятник маленькому отрезку времени и небольшому клочку пространства, на котором возникла и быстро закрылась, перевернулась лучшая, утонченнейшая страница русской культуры, называемая — Золотым веком.

---

---

## ДИПТИХ ПУШКИНА И ПСЕВДОПАЛИНОДИЯ МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА

---

---

В 1830 г. произошел обмен стихотворениями между Пушкиным и митрополитом Филаретом. Эпизод хорошо известен и пушкинистам, и теологам<sup>1</sup>. Однако некоторые проблемы этого поэтического диалога остаются непроясненными, и новое обращение к теме «Пушкин и Филарет» представляется заслуживающим внимания.

Обстоятельства, при которых возник этот диалог, давно описаны и сводятся к следующему.

В 1828 год Пушкин написал стихотворение «Дар напрасный, дар случайный...». Год этот был трудным для поэта. Анна Ахматова писала: «1828 г. — особенный год в жизни Пушкина. <...> И грешный и покаянный»<sup>2</sup>. Он начался стихами «Друзьям» («Нет, я не льстец...»), в которых поэту приходилось объяснять свое отношение к царю и оправдывать перемену своей политической позиции. Дело о стихах «Андрей Шенье» кончилась установлением секретного полицейского надзора. И тут же возникло новое дело о «Гавриилиаде», которое могло очень плохо кончиться для автора.

В личной жизни все тоже было неудачно. Отказом закончилось сватовство к А. А. Олениной, измучил и опустошил душу бурный и короткий роман с А. Ф. Закревской.

Тогда-то, 26 мая 1828 года, в день рождения, поэт написал известное стихотворение, которое позволю себе привести целиком, поскольку нам придется в дальнейшем обращаться к этим строкам.

Дар напрасный, дар случайный,  
Жизнь, зачем ты мне дана?  
Иль зачем судьбою тайной  
Ты на казнь осуждена?  
Кто меня враждебной властью  
Из ничтожества воззвал,  
Душу мне наполнил страстью,

Ум сомнением взволновал?..  
Цели нет передо мною:  
Сердце пусто, празден ум,  
И томит меня тоскою  
Однозвучный жизни шум.

В стихотворении нашли отражение события последних двух лет, вызвавшие пессимистические настроения, сомнения, свойственные всякой мыслящей личности в ту или иную пору жизни.

В стихах «Дар напрасный...» выражено сомнение в существовании Бога. Жизнь не есть Божественный дар человеку, а случайное, может быть, бессмысленное явление бытия. Вторая строфа проникнута агностицизмом. На вопрос, *Кто* создал душу и ум человека, почему человек смертен (на казнь осужден), — у поэта нет ответа. Отсюда следует отказ от телеологического подхода к миру, от идеи Божественного предназначения человека.

Подобные мотивы скепсиса и пессимизма не чужды поэзии Пушкина. Так, стихам «Дар напрасный...» непосредственно предшествует стихотворение «Воспоминание» (19 мая 1828), где звучат мотивы бесцельности, бесполезности, бессмысленности бытия человеческого:

... с отвращением читая жизнь мою,  
Я трепещу и проклиная ...

В стихотворении «Демон» (1823) подвергаются сомнению все ценности человеческой жизни: любовь, природа, творчество, красота.

Стихи «Дар напрасный...» были опубликованы только в 1830 г. в очень популярном альманахе Дельвига «Северные цветы». На них обратил внимание московский митрополит Филарет. Он получил их от большой поклонницы и друга Пушкина Елизаветы Хитрово, которая была почитательницей Филарета. Как писал П. А. Вяземский: «... пылает к одному христианскою, а к другому языческою любовью»<sup>3</sup>.

Для Филарета, естественно, было неприемлемо нехристианское, мрачное, скептическое содержание стихов Пушкина. Сам митрополит был не чужд поэтической деятельности (хотя стихи занимают среди его трудов ничтожно малое место<sup>4</sup>), и он решил возразить Пушкину, переписав его стихи в ортодоксальном духе. Пушкин узнал о стихах Филарета и, очевидно, познакомился с ними сразу же, во всяком случае вскоре после того, как они были написаны. Об этом свидетельствует его письмо к Е. Хитрово от, видимо, нача-

ла января 1830 г., где упоминаются стихи Филарета: «De vers d'un chretien, d'un évêque Russe en réponse à des couplets sceptiques! c'est vraiment une bonne fortune». («Стихи христианина, русского епископа, в ответ на скептические куплеты! Да ведь это в самом деле находка»)⁵. По вполне справедливому предположению В. Непомнящего, несколько ироничный, намеренно легкомысленный характер этого пушкинского замечания объясняется тем, что Пушкин не знал еще текста Филарета и думал, что иерарх собирается в собственных стихах поучать его, что и как нужно писать<sup>5а</sup>. Познакомившись в ближайшие дни со стихами Филарета, Пушкин, как увидим, отнесся к ним очень серьезно, сочувственно и внимательно.

Филарет своих стихов, естественно, не напечатал. Митрополит Московский, отличавшийся суровым благочестием, не хотел вступить в публичную полемику со стихами, напечатанными в сугубо светском издании, каким были «Северные цветы». Хотя биограф Филарета И. Н. Корсунский дважды отмечает, что стихи Филарета были напечатаны тогда же, когда были написаны<sup>6</sup>, по всей вероятности, это утверждение не соответствует действительности и психологически мало вероятно. Вместе с тем стихотворный ответ Филарета распространялся в многочисленных списках и был достаточно широко известен.

Пушкин ответил Филарету сразу же, в январе 1830 года. Но прежде чем перейти к анализу стихов Пушкина, следует выяснить, на какой текст митрополита отвечал поэт. Впервые стихи Филарета появились в печати уже после смерти Пушкина. В искаженном виде они были напечатаны в 1840 г. в статье-памфлете С. Бурачка «Видение в царстве духов»<sup>7</sup>. Это была запоздалая реминисценция популярных в XVIII веке «Разговоров в царстве мертвых». У Бурачка стихи были вложены в уста Гёте. Великий немецкий поэт читал их в назидание Пушкину, который по легкомыслию своему написал «в минуту заблуждения» «Дар напрасный, дар случайный...». Стихи Филарета были употреблены Бурачком для назидания Пушкину, которого, с его точки зрения, не по заслугам высоко ценит русское общество. Бурачок, видимо, обладал испорченным списком стихов Филарета и использовал его в своей статье.

Позднее, в 1848, стихотворение Филарета было напечатано в анонимной статье о русской литературе без указания имени автора в журнале А. О. Ишимовой «Звездочка»<sup>8</sup>. Выглядели стихи следующим образом:

Не напрасно, не случайно  
Жизнь от Бога мне дана,  
Но без воли Бога тайной

*lib.pushkinskiydom.ru*

И на казнь осуждена.  
Сам я своенравной властью  
Зло из темных бездн воззвал,  
Душу сам наполнил страстью,  
Ум сомнением взволновал.  
Вспомнись мне, забытый мною,  
Просияй сквозь мрачных дум,  
И созиждется Тобою  
Сердце чисто, правый ум.

В таком виде, с некоторыми разночтениями обращение митрополита приводится во всех комментариях к ответу Пушкина Филарету: к стихам «В часы забав иль праздной скуки...», и к письму Пушкина к Хитрово<sup>9</sup>. Между тем аутентичность этого текста тоже достаточно сомнительна.

В 1868 г. вышла из печати книга Н. В. Сушкова «Записки о жизни и времени Святителя Филарета, митрополита Московского», в которой автор сообщает слова Филарета о сочинении им ответа Пушкину: «Это было импровизировано после похвал, какие я слышал стихам молодого поэта, помнится, от Ел. Мих. Хитровой (дочери светлейшего Кутузова Смоленского...)»<sup>10</sup>. После долгих и настоятельных просьб Н. В. Сушков «получил наконец это стихотворение, благодаря, впрочем, одному из множества неверных с него списков: прослушав искаженные строфы, автор <т. е. Филарет. — М. А.> вспомнил свою давнюю «импровизацию»<sup>11</sup>. Вот текст этого авторизованного, по словам Сушкова, списка, который имел название:

### Пушкин

От мечтания перешедший к размышлению

Не напрасно, не случайно  
Жизнь судьбою мне дана,  
Не без правды ею тайно  
На печаль осуждена.  
Сам я своенравной властью  
Зло из темных бездн воззвал,  
Сам наполнил душу страстью,  
Ум сомнением взволновал.  
Вспомнись мне забвенный мною!  
Просияй сквозь сумрак дум —  
И созиждется тобою  
Сердце чисто, светлый ум.<sup>12</sup>

Во второй строке этого текста вместо Бога упоминается судьба, что создает прямую переключку со стихами Пушкина. *Просияй сквозь сумрак дум* звучит явно лучше, чем нарушающее грамматику *Просияй сквозь мрачных дум*. Строчная буква: *тобою* в предпоследней строке — несомненная опечатка, т. к. по смыслу стихотворения речь идет о Боге. Наиболее существенно для нашей темы — наличие в этом тексте пространного заглавия, о чем подробнее речь пойдет в дальнейшем.

Стихотворение Филарета и до, и после выхода книги Сушкова часто перепечатывалось. Однако очень мало вероятно, что Филарет когда-либо сам напечатал свою «импровизацию» в каком-либо светском издании или разрешил такую публикацию. У нас нет никаких оснований не доверять Сушкову, и с большой долей вероятности мы можем считать этот текст аутентичным. Тем более что один из списков, оказавшихся в нашем распоряжении, подтверждает такое предположение. Этот список был любезно предоставлен нам для ознакомления нью-йоркским коллекционером и собирателем К. А. Гинзбургом.

Текст написан выработанным почерком образованного человека, но не писарским. Бумага не имеет водяных знаков. В верхнем правом углу находится вдавленный оттиск вензеля Николая I. Сличение списка К. А. Гинзбурга с письмами митрополита Филарета показало, что список не является автографом (не совпадают написания заглавных букв, отсутствует характерный для Филарета длинный хвост в букве «у»).

Текст списка почти совпадает с авторизованным текстом в книге Сушкова. Разночтения невелики: отсутствует название, четвертая строка читается: *на тоску обречена*, в шестой строке вместо «...из темных бездн», читается «...из тайных бездн». Кстати, *Тобою* здесь написано с заглавной буквы. В одном месте текст исправлен. Седьмая строка была начата: «Душу сам наполнил...». Затем было исправлено как в авторизованном тексте: «Сам наполнил душу...». Для этого слово *душа* было зачеркнуто, а «с» исправлено на заглавное. Стихотворение подписано: М<итрополит> Ф<иларет>.

Поскольку текст написан на бумаге из кабинета царя, можно предположить, что он был сделан по памяти кем-то в самых верхних кругах государственной бюрократии. Возможно даже, и по просьбе царя, который получал все стихи Пушкина и мог заинтересоваться стихотворной перепискою поэта с иерархом. Сказанное позволяет предположить, что список составлялся в то самое время, когда произошла эта переписка, т. е. в 1830. Позднее стихи утрачивали актуальность.



И матушко, не шурајте  
Жизни судбину сама дама,  
Не баво губавди, ето тако  
Ка току обречена.

Самата своелазавна вестина  
Бил ево тајинскиј судна вестина,  
Душа Сват матушине души шурајте,  
Чит самантава вестина  
Вестина сам, шурајте сам,  
Душа самта шурајте сам,  
И шурајте самта самта  
Сердце матушко, самта самта.

М. Ф.



Вместе с тем близость списка Гинзбурга к тексту самого Филарета, воспроизведенному Сушковым, позволяет утверждать, что именно сушковский текст является наиболее близким к оригиналу и что Пушкин отвечал не на стихи, которые приводятся во всех комментариях, а на тот текст, который позже был напечатан Сушковым, или на очень близкий к нему.

Стихотворение Филарета является палинодией (лат. *palinodia*), точнее, псевдопалинодией, т. к. Филарет пишет *как бы* от имени Пушкина. Жанр палинодии существовал в античной поэзии. Палинодия представляет собою стихотворный текст, в котором автор отрекается от того, что было сказано им в другом стихотворении. Так, по античному преданию, поэт Стесихор написал оскорбительные стихи о Елене Прекрасной. Братья Елены Кастор и Поллукс ослепили поэта. Он написал палинодию, хвалебные стихи, и Диоскуры вернули ему зрение. У Горация есть стихотворение «Палинодия» (Оды, кн. 1, 16), где поэт рассказывает в не дошедших до нас стихах, в которых поносил какую-то женщину:

Сама придумай казнь надлежащую  
Моим, злословья полным ямба...

В другом стихотворении «К Канидии» (Эподы, 17) Гораций вспоминает историю Стесихора:

Ведь даже за Елену оскорбленные  
Кастор с Поллуксом поддались мольбам певца  
И вновь его глазам вернули зрение.<sup>13</sup>

Овидий написал «Науку любви» (*Ars amatoria*) и соответственно «Лекарство от любви» (*Remedia amoris*)<sup>14</sup>. В русской литературе имеется стихотворение под названием «Палинодия». Автор его Вячеслав Иванов. В стихотворении под этим названием Иванов отрекается от своей любви к античности и от эллинистических мотивов в своем творчестве и обращается к христианству:

И твой гиметский мед ужель меня пресытил?  
Из рощи миртовой кто твой кумир похитил?  
Иль в вешем ужасе я сам его разбил?  
Ужели я тебя, Эллада, разлюбил?...  
И я бежал, и ем в предгорьях Фиваиды  
Молчанья дикий мед и жесткие акриды.<sup>15</sup>

По определению, палинодию сочиняет сам автор, опровергающий свой текст. Поэтому Вячеслав Иванов однажды назвал «мело-

дической палинодией» стихотворение Пушкина «В часы забав и праздной скуки...», в котором поэт, под влиянием стихов Филарета, отказывался от безнадежного пессимизма стихов «Дар напрасный, дар случайный...»<sup>16</sup>. Во французской культуре слово палинодия, вероятно, более употребительно, и стихи Филарета недавно были названы «поучительной палинодией» в популярной с детективным сюжетом книге о рукописях Пушкина, изданной в Париже<sup>17</sup>.

В русской поэзии стихотворение Вячеслава Иванова, кажется, является едва ли не единственным примером палинодии. Впрочем, в качестве курьеза можно привести еще один пример палинодии, точнее, псевдопалинодии, написанной, как и стихи Филарета, тоже от имени Пушкина. В одном рукописном сборнике, относящемся ко второй половине 1820-х гг., может быть, к началу 1830-х (он датирован 1826 годом), находится следующее беспомощное стихотворение, интересное, однако, как одно из свидетельств читательского восприятия Пушкина в 1820-е гг. Вот его текст:

### Раскаяние

Я не поэт, возьмите лиру!  
Сорвите розовой с моей главы венок!  
Я не поэт, дерзнул коль славить миру  
Не добродетель, но порок.  
Я омрачил достойное искусство  
Поносной песнию своей  
И негодующее чувство  
Теперь кипит в душе моей!  
Я омрачил свою певичу <возможно, цевницу, — М. А.>  
И ознакомив с нею лесь, —  
Забыл богини гордой честь,  
Унизив истинну певичу!  
О музы! я не ваш, почто свою вы месть  
Доселе ниспослали  
И недостойного певца  
Почто доселе не лишали  
Лаврового венца  
Которым вы его неправо украшали.  
О музы! я не ваш! с пороком соединяюсь  
Не уважая правды честь,  
Не сохранив ее, поклонником быв лести,  
Я должен рушить с вами связь,  
Я не поэт, мою разбейте лиру,  
Сорвите розовой с моей главы венок!  
Я не поэт, дерзнул коль славить миру  
Не добродетель, но порок.

Пушкин

Стихотворение то ли написано весьма неумело, то ли сильно испорчено переписчиками (убогие рифмы, поломанный размер и пр.). Составители плохо понимали и сильно искажали и другие переписываемые ими и хорошо известные стихотворения сборника. По-видимому, автор «Раскаяния» имеет в виду эротические и так называемые вольнолюбивые стихи Пушкина, а также приписывавшиеся Пушкину многочисленные другие стихотворные тексты. Они широко расходились по России в первой половине 1820-х гг.<sup>17а</sup>

Во всяком случае эти незамысловатые стихи представляют собой настоящий пример палинодии (или псевдопалинодии): «Пушкин» резко порицает свои стихи, отрекается от своего предшествующего творчества, раскаивается. Правда, автор этих неуклюжих стихов, как известный мольеровский герой, вряд ли понимал, к какому изысканному жанру он обращается.

Вернемся, однако, к стихотворению Филарета. Оно тоже написано как бы от имени автора. Поэтому стихи Филарета правильнее было бы тоже назвать псевдопалинодией. Подчеркивая, что оно написано от имени Пушкина, автор дает ему длинный заголовок: *Пушкин, от мечтания перешедший к размышлению*. По замыслу Филарета, автором стихов будто бы является сам Пушкин, опровергающий свои собственные стихи и пишущий новые, те, которые, по мысли иерарха, поэт *должен бы был* написать. Как и полагается для палинодии, стихи пишет сам (здесь: якобы сам) автор и последовательно опровергает собственные мысли. Переписчики, плохо разбиравшиеся в жанровой природе текста, естественно, опускали заголовок, как это было, например, в списке Гинзбурга, близком аутентичному тексту.

Сам Филарет, по словам Сушкова, так характеризовал свои стихи: «Не возражение, а переиначенное стихотворение Пушкина, пародия»<sup>18</sup>. То, что стихи Филарета не возражение, — справедливо, но слово пародия не соответствует характеру стихов. Пародией его можно назвать только в том смысле, что пародируется жанр палинодии. Может быть, собеседник митрополита недослышал, неправильно понял или не знал слова, которое произнес Филарет: не пародия, а палинодия. Слово было достаточно редким. Оно не зафиксировано ни в словарях древнерусского языка, ни в «Словаре Академии Российской по азбучному порядку», ни в «Словаре языка Пушкина»<sup>19</sup>.

*Размышляющий* Пушкин у Филарета отказывается от сомнений в существовании Высшей силы, которую Филарет, следуя тексту Пушкина в первой строфе, называет не *Богом*, как в последующих списках, а как у Пушкина — *судьбою*. Далее во второй строфе раскаявшийся Пушкин на самого себя возлагает ответственность за

грех сомнения: *сам я...* А третья строфа возвращает поэта к Богу: ... *созидается Тобюю...* (напомню, что в списке Гинзбурга местоимение написано с большой буквы).

Можно не сомневаться, что Пушкин получил список стихов Филарета не позднее первых чисел января 1830 г. Цензурное разрешение на альманах «Северные цветы на 1830 год» датировано 20 декабря 1829<sup>20</sup>, а известный ответ Пушкина помечен уже 19 января 1830 г.<sup>21</sup> Позволю себе напомнить читателям этот текст:

В часы забав и праздной скуки,  
Бывало, лире я моей  
Вверял изнеженные звуки  
Безумства, лени и страстей.

Но и тогда струны лукавой  
Невольно звон я прерывал,  
Когда твой голос величавый

Меня внезапно поражал.  
Я лил потоки слез неожиданных,  
И ранам совести моей  
Твоих речей благоуханных

Отраден чистый был елей.  
И ныне с высоты духовной  
Мне руку простираешь ты,  
И силой кроткой и любовной  
Смиряешь бурные мечты.

Твоим огнем душа палима  
Отвергла мрак земных сует,  
И внемлет арфе Серафима  
В священном ужасе поэт.

Первым по времени комментарием к этим стихам является хорошо известное замечание Вяземского в письме к А. И. Тургеневу от 25 апреля 1830: «Ты удивишься на странице 94 («Литературной газеты», № 12, 1830. — М. А.) стихам Пушкина к Филарету: он был задран стихами Его Преосвященства, который пародировал или лучше сказать *палинодировал* <курсив мой, — М. А.> стихи Пушкина о жизни, которое нашел он у общей их приятельницы Элизы Хитровой...»<sup>22</sup>.

Вяземский очень точно определил жанр выступления Филарета: опровержение самого себя. И это снова подтверждает наше предположение, что Пушкин и Вяземский имели в своем распоряжении текст с заглавием, воспроизведенным Сушковым. Вяземский,

будучи человеком очень хорошо образованным, сразу почувствовал жанровую особенность, некоторую необычность для русской культуры стихотворения Филарета и употребил французский глагол палинодировать (palinodier). В то же время он увидел парадоксальность этого жанрового употребления: палинодия была сочинена псевдоавтором. Поэтому стихи можно было назвать и пародированием палинодии, поскольку Филарет отрекается не от своей концепции бытия, а делает это как бы от имени Пушкина, отрекаясь от самого себя. Таким образом, стихотворение Филарета можно назвать псевдопалинодией.

Стихи Пушкина к Филарету казались исследователям странными. Они ожидали от поэта не похвал митрополиту, а раздражения, недовольства. Так, Н. В. Измайлов писал: «Несправедливое осуждение по существу и примитивно-пародическая форма стихов митрополита должны были раздражить Пушкина, очень чувствительного к личным, выходящим за пределы литературной критики нападениям. <...> ответ Пушкина <...> не мог не казаться странным: так мало стансы Пушкина соответствовали и тому лицу, к какому были обращены, и настроению поэта, если рассматривать последнее в плане биографических его отношений с митрополитом»<sup>23</sup>. Комментарий Измайлова почти полностью повторил Л. Б. Модзалевский в издании писем Пушкина<sup>24</sup>. С тех же позиций подошел к стихам и В. В. Вересаев в книге «Спутники Пушкина» (1937). Он объяснил появление стихов двуличностью поэта, правда, называя эту двуличность несовпадением художественного и биографического планов<sup>25</sup>.

Вяземский своим рассказом о реакции Пушкина на стихи митрополита спровоцировал у исследователей ожидание ссоры Пушкина с Филаретом. Слово *задран* в его письме обычно трактуется как задет, раздражен и пр. Между тем в словаре языка Пушкина это слово объяснено как *сильно затрагивать, задевать за живое*, т. е. без какой-либо дополнительной отрицательной коннотации<sup>26</sup>. На неадекватное понимание исследователями слова *задран* обратил внимание Д. Д. Благой в 1967 г.<sup>27</sup>

Пушкин был скорее заинтригован, заинтересован, взволнован стихами митрополита. Да и отношение Пушкина к Филарету вовсе не было таким отрицательным, как об этом говорят биографы и комментаторы. Все тщательно подобранные Вересаевым факты не имеют столь тенденциозного характера, который Вересаев пытается им приписать, и, во всяком случае, произошли после описываемых нами событий.

Впервые Пушкин увидел Филарета еще в Лицее, куда тот приехал на переводной экзамен в 1815 г. (это был не знаменитый

публичный экзамен, где Пушкин читал стихи в присутствии Державина, а состоявшийся несколькими днями ранее, 4 января, экзамен «по Закону Божьему, логике, географии, истории, немецкому языку, нравственности») и на выпускной экзамен по Закону Божьему в 1817 г. Впрочем, на торжественном экзамене 8 января 1815 г. Филарет, кажется, тоже присутствовал. Об этом сообщает А. Д. Иллический в письме к П. Н. Фуссу от 25 февраля 1815 г.<sup>28</sup>

Филарет в эти годы был ректором Петербургской духовной академии, и современный исследователь называет его «выдающимся ректором»<sup>29</sup>. Видимо, *голос величавый* знаменитого митрополита, славившегося своим красноречием, впервые услышал Пушкин именно в лицейские годы. И позднее он высоко ценил ораторский дар Филарета, назвал одну из его речей прекрасною (V, 329). Особенно он ценил приветственную речь Филарета, обращенную к Николаю I в 1830 г.: «истинно красноречивая» в своей «умилительной простоте» (XII, 12).

Очевидно, Пушкину, как и Вяземскому, была ясна жанровая природа палинодии Филарета. Пушкин нисколько не обиделся. Скорее, он был польщен поэтическим отзывом знаменитого церковного иерарха и проявил к его стихам самый благожелательный интерес.

Сама попытка Филарета изобразить в стихах *другого* Пушкина оказалась не чуждой поэтическому самосознанию поэта. Еще в 1827 г. («Поэт») Пушкин говорил о двойственном, противоречивом, двуипостасном состоянии души поэта<sup>30</sup>. Она может вкушать *хладный сон*, что вполне корреспондирует со стихами «Дар напрасный...»: *сердце пусто, празден ум*. Но поэт перерождается, когда *божественный глагол // До слуха чуткого коснется*.

Проводником *божественного глагола* и явились для Пушкина стихи Филарета. Стихотворение «В часы забав...» построено на оппозиции *я* и *ты*, где *я* — это поэт, *ты*, как было ясно для посвященных, — Филарет. Атрибуты носителя Божественной истины: *голос величавый, чистый елей речей благоуханных, духовная высота, сила кроткая и любовная*. Под влиянием этих атрибутов происходит перерождение поэта, как в стихотворении «Поэт», но там этот процесс был внезапным: *но лишь божественный глагол...* В стихах к Филарету все происходит медленнее. Сначала, в 1-й строфе, атрибуты поэта: *изнеженные звуки, безумство, лень, страсти*. Во второй: *лукавая струна*. В третьей строфе на смену им приходят *потоки слез, раны совести*. В четвертой строфе буйные мечты *смирятся*. В пятой — душа отвергает *мрак земных сует*.

И в конце пятой строфы происходит важная метаморфоза. Легкомысленный лирический герой (*я* начала стихотворения) превра-



щается в *поэта*. Логично бы было ожидать, что место *ты* займет тоже названный в третьем лице адресат стихотворения — Филарет. Однако поэт внемлет не Филарету или митрополиту, а Серафиму. Почему он появился в печатном тексте, понятно: стихи Филарета не были напечатаны, церковный иерарх, очевидно, не желал упоминания своего имени в светской печати, в «Литературной газете».

Первоначальный автограф стихотворения «В часы забав...» не сохранился. Однако, наряду с печатным текстом, существует и апокрифический. В 1881 г. в журнале «Русский архив» были напечатаны «Заметки на новое издание сочинений Пушкина» харьковчанина Г. С. Чирикова. Он предлагал иное прочтение последней строфы стихотворения, «так как прежде было скрывается имя того лица, к коему были написаны эти стансы». Своим информатором Чириков называет М. Д. Деларю. Деларю (1811—1868), лицеист пятого выпуска, поэт и переводчик, был хорошо знаком с Пушкиным. Они тесно общались как раз в начале 1830-х гг. Деларю сообщил Пушкину о перлюстрации письма поэта к жене. Он же помог Пушкину ознакомиться с секретными пугачевскими материалами<sup>31</sup>. Поэтому к сведениям, им сообщаемым, следует отнестись со всей серьезностью и доверием. Согласно Деларю, последняя строфа стихотворения звучала следующим образом:

Твоим огнем душа согрета  
Отвергла мрак земных сует,  
И внемлет арфе Филарета  
В священном ужасе поэт.<sup>32</sup>

Церковные писатели с готовностью приняли это сообщение и стали, цитируя вариант Деларю, с уверенностью говорить, что в черновиках Пушкина находится текст, в котором прямо названо имя Филарета<sup>33</sup>. Ничего подобного в бумагах Пушкина нет. Но тот вариант строфы, который запомнил Деларю, вполне возможно, существовал в каких-то ранних записях или в замыслах, не зафиксированных на бумаге.

Недавно В. Непомнящий в упомянутом уже открытом письме попытался вновь полностью дезавуировать текст Деларю. Он считает слишком бедными, невыразительными, не соответствующими содержанию рифмы этого четверостишия, немислимую для Пушкина какофонию: *арфе Филарета*, несоответствующими замыслу поэтические образы этого четверостишия: *арфа, ужас* — и пр.<sup>34</sup> Все это в общем справедливо, если забыть самое главное: перед нами, в лучшем случае, черновик, ранний вариант стихотворения, а в черновиках Пушкина встречается и не такое. Во-вторых, этот ран-

ний, устный вариант передан нам по памяти, а в такой передаче могли произойти любые искажения, хотя основной смысл строфы — связь со стихами Филарета, которые и вызвали пушкинский текст — сохранился в упоминании имени иерарха.

Поэтому, на наш взгляд, представляется достаточно обоснованным включение этой строфы в будущее (если мы когда-нибудь доживем до выхода соответствующих томов) «Полное собрание сочинений Пушкина», может быть, для пушей осторожности, в раздел *dubia*, в качестве раннего варианта. Нельзя согласиться с формулировкой Полного собрания сочинений: «Текст последней строфы, сообщенный Г. С. Чирикову, по его словам, М. Д. Деларю, нужно признать сознательно подделанным» (III, 1203). При этом, конечно, не следует забывать, что издатели Полного собрания были вынуждены принять не текстологическое, а политическое решение.

В варианте Деларю, как это справедливо отметил Непомнящий, некоторое недоумение вызывает, однако, слово *ужас* в последней строке: почему силе кроткой и любовной митрополита Филарета нужно внимать с ужасом?<sup>35</sup> Другое дело Серафим. Неудивительно, что его появление вызывает ужас. Чтобы превратить «влачащегося в пустыне, томимого духовной жаждой» поэта во вдохновенного Богом пророка, Серафим «вырвал грешный язык», «сердце трепетное вынул» («Пророк», 1826).

Это явное противоречие было устранено в окончательной известной нам редакции. Автор отказался от слишком субъективного, биографического смысла стихотворения, снял имя Филарета, переведя стихи в более глубокий философский план. Так в окончательной редакции появился *Серафим*. Стихотворение оказалось включенным в один ряд с «Пророком». Стихи «В часы забав...» заканчиваются тем, с чего начинается «Пророк»: лирическому герою является Серафим и затем происходит превращение автора в пророка.

Так оба стихотворения: «Дар напрасный...» и «В часы забав...» — входят в систему стихов Пушкина о природе поэтического творчества, о назначении поэта. Они образуют своеобразный диптих, построенный на противопоставлении различных отношений поэта к Богу и миру. Между этими стихотворениями органически помещается псевдопалинодия митрополита Филарета.

*ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ*

**ЗАМЕТКИ И УТОЧНЕНИЯ**



---

---

## УПОМИНАНИЕ О ПУШКИНЕ В АНГЛИЙСКОМ ЖУРНАЛЕ

---

---

В 1819 году Россию посетил по торговым и дипломатическим делам английский дипломат и путешественник Джон Бауринг (John Bowring, 1792—1872). За время пребывания в России Бауринг познакомился и подружился с академиками Ф. П. Аделунгом и А. К. Шторхом, побывал в недавно открытой (1814) Публичной библиотеке, встречался с Крыловым и Карамзиным<sup>1</sup>. «О друге своем Карамзине» Бауринг вспоминал сорок лет спустя, уже будучи губернатором Гонконга<sup>2</sup>.

Сразу после возвращения из России (1821) Бауринг выпустил первый том, а в 1823 году второй том книги «Российская антология. Specimens of the Russian Poets: with Preliminary Remarks and Biographical Notices». Антология пользовалась у европейских читателей большим успехом и вызвала сочувственные отзывы в России<sup>3</sup>.

Английский исследователь называет Бауринга купцом очень скромного происхождения, который, однако же, сумел сделать карьеру, войти в доверие к Иеремии Бентаму и стать редактором основанного Бентамом вместе с Дж. Миллем «Westminster Review», официального органа наиболее влиятельной группы реформаторов, которых называли последователями Бентама, философскими радикалами, утилитаристами<sup>4</sup>. Бауринг стал редактором этого влиятельного журнала в 1824 году. И его статья «Politics and literature in Russia» появилась уже в первом номере журнала в январе 1824 года. Сведения о русской литературе для этой статьи Бауринг взял из немецкого перевода статьи А. А. Бестужева «Взгляд на старую и новую словесность в России», напечатанной в «Полярной звезде» за 1823 год<sup>5</sup>. В статье Бестужева содержался восторженный абзац, посвященный поэзии Пушкина. Бауринг, который знакомился со статьей Бестужева по немецкому переводу Ольдекопа, включил несколько слов о Пушкине в свою статью.

Упоминание Бауринга о Пушкине было включено М. А. Цявловским под 1825 годом в «Летопись жизни и творчества Пушкина»: Январь (?). Лондон. В журнале «Westminster Review» <«Вестминстерское обозрение»> (№ 1, р. 80—101) напечатана рецензия на «Полярную звезду» на 1823 г. Здесь дан сокращенный перевод статьи А. А. Бестужева «Взгляд на старую и новую словесность в России». О Пушкине сказано: «Пушкин очень оригинален. Его “Руслан и Людмила” и “Кавказский пленник” исполнены превосходных картин»<sup>6</sup>.

Это сообщение содержит небольшую неточность. Бауринг не рецензирует «Полярную звезду», а излагает только краткое содержание статьи Бестужева, что и отражено в подзаголовке («A Glance at the Ancient and Modern Literature of Russia...»). Большой абзац, посвященный Пушкину, превратился в несколько строк, процитированных Цявловским. Имени Бауринга Цявловский не назвал. В таком же виде эти строки вошли и в новое четырехтомное издание «Летописи»<sup>7</sup>.

Несколько невыразительных строк, приведенных Цявловским, свидетельствуют, скорее всего, что Бауринг с творчеством Пушкина не был знаком и им не интересовался. В свою антологию он не включил ни одного произведения молодого поэта.

Следующий материал о русской литературе появляется в четвертом номере журнала «Westminster Review», в январе 1825 года: рецензия на перевод басен Крылова на французский и итальянский языки. Этот перевод сыграл заметную роль в знакомстве европейских читателей с творчеством знаменитого баснописца. Издание было осуществлено графом Григорием Орловым. В него вошли 86 басен Крылова, напечатанных на русском языке с французским и итальянским переводами, выполненными по французскому подстрочнику. Книга вышла в 1825 году в Париже. Издание было замечено в России. Пушкин писал о нем в статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова»: «... мы должны благодарить графа Орлова, избравшего истинно-народного поэта, дабы познакомить Европу с литературою Севера» (XI, 34). С некоторой иронией, но и с явной заинтересованностью пишет А. И. Тургенев князю Вяземскому и просит достать ему экземпляр: «Слышал ли о французском издании Крылова 82-мя славнейшими литераторами Франции и с портретом? И для Библии Птолемея нашли только 70 толковников. Каков граф Орлов! Каков некогда Гриша, ныне автор, меценат, издатель и писатель, но все ли едва ли читатель! Он слышно у вас? Поклонись ему от меня в таком случае, если обещает экземпляр французского Крылова...»<sup>8</sup>

Во всяком случае, появление подробной рецензии на перевод русского баснописца во влиятельном английском журнале свидетельствовало о значительности этого культурного события. Автор рецензии в «Westminster Review», очевидно, был Джон Бауринг. Естественно полагать, что редактору журнала, только что написавшему большой обзор статьи из «Полярной звезды», принадлежит и новая рецензия о русской литературе. Авторство Бауринга подтверждает также следующее наблюдение. Пересказывая статью Бестужева, Бауринг заметил: «A volume of Russian fables would be an acceptable present of English Literature» (Том русских басен был бы приятным подарком для английской литературы)<sup>9</sup>. Сходную фразу мы найдем и в рассматриваемой рецензии: «A very pretty volume might be made out of the fabulists of Russia» (Из произведений русских баснописцев может быть составлен весьма порядочный том)<sup>10</sup>. В рецензию автор включил собственный перевод трех басен Крылова. Бауринг встречался с Крыловым в свою бытность в России. Русский баснописец подарил ему рукопись басни «Осел и соловей»<sup>11</sup>. Басни Крылова (2) Бауринг включил в свою «Антологию». Естественно, что именно Бауринг в рецензию на французский и итальянский переводы Крылова включил свои новые английские переводы. Таким образом, авторство Бауринга можно считать установленным.

Рецензия Бауринга представляет для историка русской литературы и некоторый специфический интерес. Здесь находится одно из ранних упоминаний о Пушкине в европейской печати. По поводу русских баснописцев, вынужденных при деспотическом режиме обращаться к иносказаниям, Бауринг вдруг пишет о печальной судьбе Пушкина, который не использовал этого приема: «A very pretty volume might be made out of the fabulists of Russia. Most of her poets have successfully treated this department of fiction. It suits a despotic sphere. Men may be the dexterous champions of good government allegorically — they may stab misrule through the side of a metaphor, and stand a chance of not being understood or, if understood, forgiven. One of the modern poets of Russia (Pushkin) lately made a more rash experiment; he ventured to animadvert on the not absolute wisdom of some decess of the Russian Autocrat, and was sent to Siberian snows. Write fables, then, ye men of Russia!» (Из произведений русских баснописцев можно составить порядочный том. Многие русские поэты успешно разрабатывают этот жанр, так как он отвечает деспотическому режиму. Писатели могут быть искусными защитниками хорошего правительства, пользуясь аллегорией. Они могут нападать на дурное управление с помощью иносказаний, и при том

сохраняют надежду, что их не поймут, а если поймут — простят. Один из современных русских поэтов (Пушкин) недавно произвел более опрометчивый опыт. Он рискнул усомниться в абсолютной мудрости некоторых указов Русского Самодержца и был сослан в снега Сибири. Пишите лучше басни, о русские писатели!»).

Сообщение о Пушкине было впервые обнаружено автором настоящей заметки<sup>13</sup>. Позднее М. П. Алексеев перепечатал этот текст, не побоявшись сослаться на имя публикатора, находившееся под запретом<sup>14</sup>. Слова Бауринга заслуживают внимания исследователей. Это вообще одно из ранних упоминаний о Пушкине в европейской печати и одно из самых ранних (в числе других пяти-шести<sup>15</sup>) о конфликте Пушкина с царем, об антиправительственных стихах поэта, о высылке его из Петербурга.

Трудно сказать, откуда получил Бауринг сведения о конфликте Пушкина с правительством. Как уже говорилось, произведений поэта Бауринг не знал и творчеством его не интересовался. Известие о Пушкине он включил в свою рецензию безо всякой связи с последовательным изложением именно из-за его политического интереса. Отрывочные сведения о политических преследованиях Пушкина появлялись в английской и французской печати, и Бауринг мог знать о них. Кто-то мог написать ему из России (почти весь архив Бауринга погиб во время кораблекрушения<sup>16</sup>). Но тогда вряд ли он стал бы говорить о сибирской ссылке.

Можно высказать еще одно очень робкое предположение. Как известно, основной причиной (точнее, поводом) высылки Пушкина из Одессы было письмо Пушкина к Вяземскому (?), где он писал, что «берет уроки чистого афеизма» у «англичанина, глухого философа, единственного умного афея, которого я еще встретил» (XII, 92). Этим умным афеем был домашний врач Воронцовых, доктор Гутчинсон (Hutchinson, 1793—1850)<sup>17</sup>. Анненков рассказывает: «Сведения о докторе-атеисте сообщил нам почтеннейший А. И. Левшин, который прибавил, что лет пять спустя после истории с Пушкиным, он встретил того же самого Гутчинсона, в Лондоне, уже ревностным пастором англиканской церкви»<sup>18</sup>. Сведения, сообщаемые Анненковым, обычно достоверны, тем более можно считать их достоверными в данном случае. Алексей Ираклиевич Левшин (1792—1879), писатель, историк, этнограф, одесский градоначальник (1831—1837), позднее товарищ министра внутренних дел, хорошо знал Пушкина, общался с ним в Одессе. Пушкин высоко ценил научные труды Левшина<sup>19</sup>. Если Левшин лет через пять встретил Гутчинсона в Лондоне, то приехать туда он мог и раньше. При интересе Бауринга к России вполне вероятно, что он встретился с



Гутчинсоном. Последний мог сообщить Баурингу о спешной высылке Пушкина из Одессы.

В сознании англичанина такая скоропалительная акция вполне могла представляться ссылкой в Сибирь. Для иностранца, плохо разбиравшегося в политической жизни деспотического громадного государства, всякая политическая ссылка в России казалась ссылкой в Сибирь. О ссылке в Сибирь Пушкина писал в 1830 году англичанин Мортон<sup>20</sup>.

Уже много позднее, спустя тридцать лет, книга Герцена «Тюрьма и ссылка» появилась в немецком переводе под названием «As den Memoiren eines Russen. Im Staatsgefängnis und in Sibirien» (1855), а в английском (несколько позднее) — «My Exile in Siberia» (1855). Герцену пришлось печатно объяснять свою непричастность к издательскому произволу<sup>21</sup>.

Короткое сообщение Бауринга, таким образом, заслуживает включения в «Летопись жизни и творчества Пушкина» как одно из ранних в европейской печати упоминаний о политических настроениях и политических преследованиях поэта<sup>22</sup>.

---

---

# МАТЕРИАЛЫ ПУШКИНА В ПУБЛИКАЦИЯХ А. Е. ГРЕНА

---

---

## 1. ПИСЬМО К МАРИИ ГРЕН

В 1838 году в «Современнике» было напечатано П. А. Плетневым «Воспоминание о Пушкине» А. Е. Грена<sup>1</sup>. Здесь рассказано о встрече 13-летнего автора на Петербургской ярмарке 9 апреля 1820 г. с Пушкиным и Дельвигом, которые сводили мальчика и его брата одноклассника в балаган известного силача Раппо. Братья тогда не подозревали, кто были эти добрые молодые люди. Во второй части воспоминаний говорится о некоей даме, госпоже Л., которая спустя 16 лет, в 1835 г., по совету Грена обратилась к Пушкину за денежной помощью, он ответил ей следующим письмом:

Милостивая Государыня!

Все что могу сделать для вас доброго, постараюсь, но не осудите, если пособие мое будет не так значительно, как вы, быть может, ожидаете. Я сам далеко не из числа богатых людей. На днях буду у вас.

С уважением и преданностью имею  
честь быть покорный к услугам  
А. Пушкин.

Малозначительный рассказ Грена в общем, как писал М. А. Цявловский, «ничего не заключает в себе невероятного»<sup>2</sup>. Некоторые неточности его (силача Раппо в 1820 г. в России не было, 9 апреля приходилось на Святую неделю не в 1820, а в 1819 г. и пр.)<sup>3</sup> свидетельствуют скорее о достоверности мемуаров и часто встречающихся ошибках памяти.

Письмо Пушкина к госпоже Л. неоднократно перепечатывалось и самим Греном, и в собраниях сочинений Пушкина<sup>4</sup>. Однако ре-

путация Грена для пушкинистов была настолько сомнительной, что редактор академического издания В. И. Саитов исключил из числа пушкинских писем письмо к госпоже Л.<sup>5</sup> В настоящее время есть основания пересмотреть вопрос о подлинности пушкинского письма и некоторых других публикаций Грена.

Александр Евгеньевич Грен родился около 1807 года (умер после 1880): в своих воспоминаниях о встречах с Пушкиным он говорит, что в 1820 году имел тринадцать лет от роду<sup>6</sup>. Отец мемуариста был полковником: мать его Мария Грен называет себя в письмах «вдовой шестого класса», «вдовой-полковницей»<sup>7</sup>. После смерти отца семейство, весьма многочисленное (Мария Грен называет себя матерью девяти детей), впало в бедность, может быть, и преувеличиваемую для получения благотворительной милостыни. Образование дети получили весьма скудное: как увидим, писали неграмотно, уровень общей культуры был у них весьма низок, французский язык в 13 лет Грен и его брат «...худо понимали»<sup>8</sup>.

Однако при этом дети очень сильно интересовались литературой. Об этих интересах семейства свидетельствует любопытный рукописный сборник, хранящийся в отделе рукописей Пушкинского Дома: «Собрание разных стихотворений в шести частях. Часть 1-я. 1826»<sup>9</sup>. Внизу л. 228 этого сборника внутри рисунка, изображающего лиру, находятся инициалы А<лександр> Г<рен>. В нижней части л. 236, в самом конце сборника, редкая для таких собраний с запрещенными стихами запись в столбик:

Читали:

Кадетского корпуса кадет Грен

Александр фон Грен

Н. В. Иванов сын С. П. М...а

Николай Селезнев

Константин фон Грен

П. Грен

Николай Грен

Читательские пометы свидетельствуют, что сборник, по всей очевидности, составлялся в семействе Грен, а содержание его показывает живой интерес Гренов к современной русской поэзии и их довольно хорошую осведомленность. На страницах сборника представлены Жуковский, Мерзляков, Слепушкин, Измайлов, Долгоруков, Карамзин, Ф. Глинка, Марков, Туманский, Д. Хвостов, Петров, Костров, Козлов, Давыдов и др. Особенно много места занимают Пушкин и Рылеев. Владелец сборника явно притяги-

вает запретная литература: в 1826 году и позднее они переписывают почти все думы Рылеева, «Войнаровского», «Исповедь Наливайки». Наряду с «Онегиным» и «Братьями-разбойниками» обильно представлена ранняя так называемая вольнолюбивая лирика Пушкина: «Деревня», «Вольность», «Кинжал». Следует, однако, заметить, что переписывание запрещенных стихов никак не сказалось на мировоззрении А. Грена: в своих сочинениях и письмах он всегда демонстрирует верноподданнические чувства, официальный патриотизм и благочестие.

При чтении сборника становится ясно, что его владельцы были далеки от литературных кругов. Они приписывают Пушкину, как это часто случалось, нелепые, не принадлежащие ему стихотворения. Не знают авторов многих произведений. Пользуются скверными, испорченными копиями. Как мы говорили, Грены не сильны в орфографии и малообразованны, отсюда бессмыслица и грубые ошибки в переписываемых текстах: луг, уставленный «душистыми кедрами», Онегин, «как Данти лондонский одет» и т. д. и т. п.

В 1824 году А. Грен познакомился с А. Е. Измайловым и довольно часто посещал его. У Измайлова, пишет Грен, он встречался с О. М. Сомовым<sup>10</sup>.

В 1832—1833 гг. Грен активно сотрудничает в издававшемся в Ревеле журнале «Радуга». Здесь печатаются его стихи и проза<sup>11</sup>.

В 1832 году Грен издает сборник стихотворений<sup>12</sup>. В эту пору он служит смотрителем лазарета лейб-гвардии Конного полка, что устанавливается из объявления на четвертой странице обложки<sup>13</sup>. Сборник 1832 г. позволяет уточнить круг литературных знакомств Грена: здесь напечатаны стихотворения, посвященные Ф. Н. Слепушкину («Сельский субботний вечер») и Б. М. Федорову («Деревня»). С Борисом Федоровым (прозванным в литературных кругах «Борькой») Грена, видимо, связывали дружеские отношения. Он хвалит Федорова в предисловии к своему сборнику «Моей малютке»<sup>14</sup>. А в 1837 году, выпрашивая у В. Ф. Одоевского статьи для задуманного детского альманаха, с наивной гордостью сообщает, что Б. М. Федоров, наряду с «другими известными литераторами», обещал участвовать в этом альманахе<sup>15</sup>.

Слепушкина Грен мог встречать на вечерах у Воейкова, где бывал крестьянский поэт-самоучка. Грен посещал эти вечера в 1830 году, вероятно, и позднее: его имя в числе других «борзописцев», посещавших Воейкова, называет В. П. Бурнашев<sup>16</sup>.

Знаком был Грен и с другим крестьянским поэтом-самоучкой, М. Д. Сухановым, с которым встретился у А. С. Шишкова в 1826 году (вероятно, позже, т. к. упоминаемая Греном книга стихотворений Суханова вышла лишь в 1828 году<sup>17</sup>), а затем виделся с ним

у Воейкова<sup>18</sup>. Грен печатался в издаваемом Воейковым «Северном Меркурии»<sup>19</sup>, бывал у Д. И. Хвостова, где встречал Сомова, Воейкова, Измайлова, Федорова и др.<sup>20</sup>

В 1835 году Грен, как упоминалось, опубликовал книжку для детей «Моей малютке», которую издал, чтобы «на вырученные деньги воспитать малютку дочь свою...»<sup>21</sup>. В 1836 г. он принял значительное участие в альманахе «Мое новоселье», о котором пренебрежительно отозвался Гоголь, назвав эту книжку «тощим мяукающим котом на крыше опустелого дома»<sup>22</sup>. Тогда же Грен напечатал несколько произведений в альманахе своего брата Николая<sup>23</sup>. Печатался Грен и в «Литературных прибавлениях» к «Русскому инвалиду», и в «Северной пчеле». Некоторой, правда, сомнительной известностью, он все же пользовался: П. А. Плетнев в письме к Я. К. Гроту назвал его «известным дураком»<sup>24</sup>.

Имена Измайлова, Федорова, Сомова, а также Воейкова и Хвостова (у последних собиралось пестрое литературное общество) позволяют отнести Грена к кругу литераторов, группировавшихся в 1823—1825 гг. около А. Е. Измайлова, о котором в несколько ином контексте П. А. Вяземский писал, что ему этот круг «напоминает как-то кружало»<sup>25</sup>.

В середине 1820-х гг. Б. Федоров, О. Сомов выступают против поэтов пушкинского круга — Дельвига, Баратынского, Гнедича и др. Федоров в стихотворении «Союз поэтов» высмеивает Дельвига, Кюхельбекера, Баратынского под именами соответственно Суркова, Тевтонова, Барабинского. Гнедича, Дельвига, Кюхельбекера (Вильгельма), Баратынского (Евгения) высмеивает Сомов, называя их ослами, которые хвалят друг друга<sup>26</sup>.

Те в свою очередь не остаются в долгу. Напомню характеристику Измайлова, Федорова, Сомова в известном послании Е. А. Баратынского «Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры» (Грен, естественно, был слишком мелкой сошкой, чтобы попасть в сатирические жернова поэтов пушкинского круга):

Измайлов, например, знакомец давний мой,  
В журналах мелкий враль, ругатель площадной...  
И Цертелев блажной, и Яковлев трахтирный,  
И пошлый Федоров, и Сомов безмундирный...  
Несут к тебе плоды своих лакейских муз.<sup>27</sup>

Естественно, что Грен, близкий Федорову, Сомову, Измайлову, не имел доступа в пушкинский круг, которому он был чужд и по воспитанию, и по образованию, и по уровню таланта. Однако он жадно тянулся к литературным знаменитостям. Юношеская страсть

к собиранию и переписыванию стихов, в том числе и малодоступных, запретных, вызвала интерес и к частной жизни писателей, их письмам. Многие Грен сочинял, кое-что слышал, кое-какими документами располагал.

Какие-то материалы Грен мог получить от своего двоюродного брата, профессора Ришельевского лицея К. П. Зеленецкого (1812—1858), которому Грен посвятил напечатанное в «Современнике» «Воспоминание о Пушкине». Может быть, через Зеленецкого, письмами которого располагал Грен<sup>28</sup>, он получил доступ к документам, о которых речь пойдет в дальнейшем.

Можно думать, что статьей Зеленецкого «Сведения о пребывании А. С. Пушкина в Кишиневе и Одессе»<sup>29</sup> Грен воспользовался для создания мифического дневника В. Г. Теплякова о встречах молодого поэта с Пушкиным в Кишиневе. Зеленецкий рассказал о пребывании Теплякова в Одессе в 1820-х гг., о железной палице с надписью *temento togі*, которую в подражание Пушкину носил Тепляков. Такую же палицу носит Тепляков в рассказе Грена<sup>30</sup>. Грен перенес пребывание Теплякова в Одессе в 1830 году на пребывание в Кишиневе в 1821 и заставил его встречаться с Пушкиным<sup>31</sup>.

Тепляков никогда не бывал в Кишиневе. В 1821—1824 гг. он сблизился с Измайловым и Хвостовым<sup>32</sup>, у которых его мог видеть молодой Грен, появлявшийся у Измайлова, как мы помним, в 1824 г. В 1836 г. Тепляков навсегда уехал из России, а в 1842 г. умер. Ему, таким образом, можно было приписать что угодно. Правдоподобие рассказу о давних дружеских отношениях Пушкина и Теплякова придавали сближение двух поэтов в 1830-х гг. и напечатанный в «Современнике» сочувственный отзыв Пушкина о «Фракийских элегиях»<sup>33</sup>.

К «Дневнику» были приложены будто бы подаренные Теплякову сочинения Пушкина: «Анекдот о Байроне», в котором (в 1821 году! Байрон умер в Греции в 1824) упоминалось о смерти английского поэта, и стихотворение «Старица-пророчица» (А. И. Одоевского!)<sup>34</sup>. Позднее к этим публикациям были добавлены «письма» Пушкина к княжне Абамелек и Дельвигу<sup>35</sup>. Кроме Пушкина, Грен печатал еще воспоминания о Гнедиче, Карамзине, Жуковском, главным образом восхваляя благотворительность этих писателей<sup>36</sup>.

Постепенно имя Грена исчезает со страниц журналов. О последних его годах ничего не известно. В 1880 г. он был еще жив и опубликовал в «Русской старине» текст из рукописного сборника: «Просьба о разрешении жениться из Дубна 1805»<sup>37</sup>.

Фальсификации Грена создали ему дурную репутацию. Его материалы о Пушкине были полностью исключены из научного обо-

рота, а итоги его деятельности подвел Н. О. Лернер: «Этот Грен вообще был личностью довольно темной и доверия не заслуживал. Еще в 1830 г. он был уличен в плагиате. Впоследствии он сочинял письма Пушкина к фантастической «бедной вдове», к Дельвигу, к никогда не существовавшей княжне Абамелек или записки Баратынского к Пушкину. Все эти упражнения так ничтожны и жалки, что никого не могли ввести в заблуждение и лишь характеризовали самого неудачника-мистификатора»<sup>38</sup>.

Однако маститый ученый был не совсем прав. Кое-что Грен все же знал. Так, «никогда не существовавшая» княжна Абамелек на самом деле существовала. Это княжна Анна Давыдовна Абамелек (1814—1899). Пушкин знал ее еще ребенком в Лицее, позднее (1832) писал ей в альбом: «Когда-то (помню с умиленьем) // Я смел вас нянчить с восхищеньем, // Вы были дивное дитя...» (III, 285). Она перевела на английский язык около 20 стихотворений Пушкина, а на французский — «Талисман»<sup>39</sup>. «Бедная вдова», как увидим, тоже не была полностью плодом воображения. И вообще с некоторыми письмами Грена дело обстоит далеко не так просто, как это казалось Лернеру.

Письма, сочиненные Греном, легко определяются как подделка безо всякого специального анализа. Приведем два примера, чтобы показать уровень фальсификаторской работы Грена. Читатель может сравнить их с письмами, о которых речь пойдет в дальнейшем. Первое — «письмо» княжне Абамелек.

«Кишинев, 8 апреля 1821 года <адресату 7 лет! — М. А.>

Милая княжна! вчера вечером я сидел у окна. Небо было чисто, безоблачно: но какая-то тайная, невыразимая грусть давила мое сердце. Смотрю вот на лазури неба блеснула звездочка — одинокая, печальная, как сирота на чужой стороне. Я вздохнул! Я тоже одинок, также страдалец, я также сирота — в общем обширном мире. Бури жизни оторвали меня от тихой пристани — покоя, и душа моя, пылкая и гордая, презирая бездушный мир сей, смотрит с холодным презрением на все окружающее»<sup>40</sup>.

Следующим днем помечено «письмо» к Дельвигу:

«Кишинев, 9 апреля 1821 года.

...Милый Дельвиг! Здесь, в Кишиневе, я ношу название отъявленного шалуна, негодяя, дуэлиста; вздор, друг Дельвиг; не верь болтовне людей; с горести, со скуки — я иногда прокажу, шалю,

показываю вид *негодяя*, но в тиши, когда я один, я плачу, страдаю, слезы мои чисты, они принадлежат Богу и *той*, которую я люблю выше всего в мире. Ты и *она* понимаете меня, любите меня, до других мне дела нет. Прощай! Будь счастлив и здоров»<sup>41</sup>.

Нет нужды доказывать, что в 1821 году Пушкин не мог писать А. Д. Абамелек и признаваться Дельвигу в любви к семилетней девочке. Стиль (помесь Грушницкого с Поприциным) и содержание этих беспомощных фальсификаций говорят сами за себя.

Письмо к госпоже Л. выгодно отличается от них безыскусностью, благородной простотой тона. Стремление помочь нуждающимся людям, сделать это быстро и незаметно от окружающих вообще было свойственно Пушкину. Вспомним, например, его поручение брату Льву: «Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному <пострадавшему от наводнения. — М. А.>, помогай из Онегинских денег. Но прошу, без всякого шума, ни словесного, ни письменного» (XIII, 127) или: «Слепой поп перевел *Сираха* смотр. Инв<алид> № какой-то, издает по подписке — подпишись на несколько экз.» (XIII, 147).

Воспоминания Грена о Пушкине при самом их появлении вызвали скептическое замечание Булгарина, писавшего сразу по выходе «Современника»: «В журнале, основанном Пушкиным, пишут, что Пушкин был в Петербурге в 1820 году и прогуливался под качелями с Дельвигом, а я <т. е. публика. — М. А.>, любившая и лелеявшая Пушкина, очень хорошо знаю, что Пушкина в 1820 году не было и что Дельвиг был в ту пору в отлучке»<sup>42</sup>. Булгарин ошибся: в апреле 1820 (1819 — тоже) и Пушкин, и Дельвиг были в Петербурге и встреча их с двумя мальчиками могла состояться. Видимо, так оно и было, только не в 1820, а в 1819 году. И Грен, обиженный, что ему не поверили даже тогда, когда он сказал правду, излил свое недовольство в письме к П. А. Плетневу, из которого выясняются дополнительные сведения о госпоже Л.:

«Ваше превосходительство!

Позвольте принести мою благодарность Вам за Ваш прекрасный “Современник”, который Вы подарили мне. Я сохраню его как память Вашего расположения ко мне.

Ваше превосходительство! имею честь препроводить к вам статью о Гнедиче и три стихотворения<sup>43</sup>, покорнейше прошу напечатать из сих пиэс то, что Вам понравится. Все недостатки и неисправности возьмите на себя труд исправить. Статья о Гнедиче справедлива. Ф. В. Булгарину тому назад три или четыре года угодно



было напечатать в Сев<ерной> Пчеле замечание на статью мою: “Воспоминание о Пушкине”, напечатанную в «Современнике», что Пушкин не был в то время в Петербурге, как означено в моей статье. Ваше превосходительство! г. Булгарин не справедлив. Матушка моя, которой покойный А. С. сделал благодеяние, жива. Она молится Богу за Пушкина. Зачем же отнимать благородную черту от бессмертного поэта? Я мог бы тогда же публично оправдать себя в напраслине Ф. В., но я так много уважаю г. Булгарина, что умолчал о его несправедливости.

Уверен, Ваше превосходительство, что Вы поместите статьи мои в 4-й книжке «Современника».

Имею честь быть с глубочайшим  
высокопочитанием и преданностию  
Милостивого Государя  
покорнейший слуга

10 августа 1840

А. Грен»<sup>44</sup>

Булгарин сомневался лишь в истинности рассказа о встрече с Пушкиным в апреле 1820 г. Грен доказывает его подлинность и свою правдивость ссылкой на мать, которой действительно помог Пушкин, — акт психологически маловероятный в случае заведомой лжи. В то же время другие обстоятельства подтверждают в данном случае правдивость Грена.

В 1832 г. были напечатаны «Стихотворения Александра Грена». В извещении «От сочинителя» сказано: «Цель сего издания: сделать пособие одной почтенной, но бедной матери, обремененной девятью сиротами»<sup>45</sup>.

Прославляя в своих сочинениях благотворителей, Грен и сам решил воспользоваться благотворительностью для успешного распространения книжки. В письме к В. Ф. Одоевскому, написанном самим Греном, и лишь подписанном его матерью, говорится:

«Сиятельнейший князь! Милостивый государь!

Матери девяти человек детей — при болезненном и бедственном ее положении, простительна смелость просить для них, пока еще смерть не сомкнула уста и не охладила навек сердце, страждущее скорбью при виде несчастных детей.

Просите и дасться вам, сказал Спаситель, и я, исполненная надеждою, просила везде, где только могла просить, но доселе еще безуспешно. Теперь по внушению сердца прибегаю к Вашему сиятельству; умоляю обратить Ваше внимание на стихотворения сына моего — помочь хотя малым горестную и несчастную мать. Вы

князь! как истинный друг человечества всегда стараетесь отереть слезу несчастья, надеюсь, что и я не буду оставлена благотворным вниманием Вашим. <...>

С глубочайшим уважением имею честь быть  
Вашего сиятельства милостивого государя  
покорнейшая слуга:

Мария Грен, вдова 6-го класса.

17 ноября 1833»<sup>46</sup>.

Одоевский откликнулся на просьбу, и спустя десять дней в письме, снова написанном рукой А. Грена, его мать благодарит жертвователя:

«Ваше сиятельство! Милостивый государь!

При письме Вашего сиятельства я имела удовольствие получить благотворную помощь Вашу. Всегдашняя признательность к Вам сохранится в сердце горестной матери.

По желанию Вашему, добродетельный князь! я имею честь препроводить 8 экземпляров стихотворений сына моего.

С глубочайшим высокопочитанием имею удовольствие быть Вашего сиятельства милостивого государя всепокорнейшая  
Мария Грен

28 ноября 1833».

Таким образом, «почтенная, но бедная мать», как это выясняется из письма, хранящегося в архиве В. Ф. Одоевского, была матерью самого предприимчивого сочинителя.

А теперь обратимся вновь к воспоминаниям Грена о Пушкине. Письму поэта предшествует следующий рассказ: «...в одно время я посетил одну благородную даму, которая лишилась своего мужа и осталась в самом бедном положении с большим семейством. Она просила у меня совета, к кому бы ей обратиться с письмом хотя о маленьком пособии, которое необходимо нужно было в тогдашних ее горестных обстоятельствах. Подумавши, я присоветовал этой даме послать письмо о помощи к А. С. Пушкину. Он жил тогда у Летнего сада в доме г-жи Оливей. Лично я его не знал и даже никогда не видывал; но знал, что поэт наш имеет добрую душу. По просьбе этой дамы я от имени ее написал небольшое письмо к Пушкину и послал к нему по городской почте. На другой день моя знакомая получила от Пушкина ответ следующего содержания...»<sup>47</sup>. Далее следует уже известное читателям короткое письмо Пушкина.

Пушкин жил в доме Оливье с 1 сентября 1833 до середины 1834 г.<sup>48</sup> К этому времени, очевидно, и относятся описанные Греном события: легче перепутать год, чем адрес. Таким образом, письмо Пушкину было послано тогда же, когда посылались слезные письма к Одоевскому. При этом Грен, как и в случае с Одоевским, сам написал письмо к Пушкину, а госпожа Л. (то бишь Грен, по признанию ее собственного сына в приведенном выше письме к Плетневу) лишь подписала его. Письмо, вероятно, было почти идентично письму, отосланному Одоевскому.

Очевидно, энергичный литератор, стремясь побольше выручить за свою книжку, от имени собственной матери обратился к литераторам, личного доступа к которым не имел. В библиотеке Пушкина сохранился экземпляр стихотворений Грена с эпиграфом из Пушкина (маленькая книжка — 45 стр.). Книга, вероятно, была послана вместе с просительным письмом, т. к. на ней нет дарственной надписи (вряд ли Пушкин сам купил ее). Экземпляр разрезан, так что книга, возможно, была просмотрена<sup>49</sup>.

Получив письмо, Пушкин, как и Одоевский, со свойственной ему отзывчивостью откликнулся на просьбу, написал письмо и посетил госпожу Грен. У своей матери Грен и увидел Пушкина второй раз в жизни, т. к. узнал в нем одного из тех молодых людей, которые когда-то сводили его с братом в павильон силача Раппо. Об этом Грен рассказал в заключительной части своего маленького мемуарного очерка. Таким образом, включение Грена в число мимолетных знакомых Пушкина, как это сделал Л. А. Черейский, вполне оправданно<sup>50</sup>. Самоё же записку Пушкина, опубликованную Греном, следует включить в эпистолярный поэта и назвать: «Письмо Пушкина к Марии Грен». Датировать его следует, скорее всего, ноябрем 1833 — началом 1834 (близко по времени, когда писались письма Одоевскому)<sup>51</sup>. Список знакомых Пушкина можно пополнить именем полковницы Марии Грен.

Небольшое письмо, опубликованное Греном, сохранило для нас несколько строк Пушкина, а по его собственным словам, «всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства» (XII, 75). Кроме того, письмо это добавляет несколько симпатичных штрихов к нравственному облику великого поэта.

## II. ЗАПИСКА БАРАТЫНСКОГО К ПУШКИНУ

В воспоминания Грена часто вкраплены письма писателей, о которых рассказывает мемуарист, — Пушкина, Баратынского, Козлова, Рылеева, Суханова и др. Далекое не все из них носят на себе печать его бездарного сочинительства.

Производят впечатление подлинности воспоминания Грена о Суханове и вкрапленные в них письма: они использованы в многочисленных работах о крестьянине-самоучке<sup>52</sup>.

Является подлинным и чрезвычайно интересное для историков литературы письмо Рылеева к Баратынскому, напечатанное Греном в следующем контексте:

Перечитывая записки Теплякова, я отыскал еще в оных записку Баратынского к Пушкину от 10 октября 1822 года и при записке подлинное письмо Рылеева к Баратынскому от 6 октября 1822 года. Полагаю не лишним напечатать их.

«Любезный Александр! Препровождаю тебе письмо Рылеева, из которого увидишь ты, что стихи твои не пропущены. Постарайся переделать их и пришли скорее к Дельвигу.

Твой весь Баратынский.  
10 октября 1822 года».

Письмо Рылеева Баратынскому.

«Милый Парни! — Сатиры твоей не пропускает Биров. На днях я пришлю ее тебе с замечаниями, которые впрочем легко исправить. Жаль только, что мы не успеем ее поместить в Звезде, в которую взяли мы Рим, к Хлое и Признание; в сей последней не пропущено слово *небесного* огня. Дельвиг поставил *прекрасного*. Нет ли чего новинького? Ради бога присылай. Трех новых пьес Пушкина не пропустили. В следующем письме пришлю тебе списки с них. В одном послании он говорит:

Прошел веселый жизни праздник!  
Как мой задумчивый проказник,  
Как Баратынский я твержу:  
Нельзя ль найти подруги нежной,

Нельзя ль найти любви надежной,  
И ничего не нахожу.

Усердный твой читатель  
и почитатель  
К. Рылеев

СПб  
Октября 6 дня  
1822»<sup>53</sup>

Письмо Рылеева было перепечатано в собрании его сочинений в 1907 г. без всяких оговорок и примечаний, но с ошибкой в дате: 6 *сентября* 1822 г.<sup>54</sup> Ни малейшего сомнения в подлинности письма не выразил и В. И. Маслов<sup>55</sup>. Исследователь творчества Баратынского П. П. Филиппович в 1917 году писал: «... по стилю письмо подходит к Рылеевским письмам. Анализ содержания тоже заставляет признать его подлинность, но передвинуть дату с 1822 на 1823 год. Но если данное письмо подлинно, то, может быть, подлинной является и опубликованная там же Греном записка Баратынского к Пушкину (не включенная в «Переписку» Пушкина, касающаяся данного письма). Мы здесь лишь ставим вопрос»<sup>56</sup>.

Прежде чем говорить о подлинности записки Баратынского, докажем лишь декларируемую до сей поры аутентичность письма Рылеева. Действительно, как пишет Филиппович, анализ содержания не оставляет сомнения в его подлинности.

Сатира, о которой идет речь в письме, — это «Послание к Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры», написанное, по всей вероятности, в 1823 г. (тогда в 1822 г. Рылеев не мог писать о нем). Сатира, не пропущенная цензурой, была напечатана в переработанном виде лишь в 1827 году в «Стихотворениях Евгения Баратынского».

Из стихов, упомянутых Рылеевым, «Рим» и «Признание» действительно напечатаны в «Полярной звезде», но только не на 1823 год (как должно было бы быть, если датировать письмо 1822 годом), а на 1824 год. При этом в «Признании» действительно читается:

Ты права, в нем уж нет прекрасного огня  
Моей любви первоначальной.<sup>57</sup>

Стихотворения «К Хлое» в этом томе «Полярной звезды» нет, но есть стихотворение «Аглае», напечатанное рядом со стихами В. Вердеревского «К Хлое»<sup>58</sup>. Оговорка Рылеева становится таким образом понятной. (Может быть, она вызвана также абберацией памяти: стихотворение Баратынского «Хлое» было напечатано в том же 1823 г. в «Новостях литературы»<sup>59</sup>).

«Три новые пиэсы Пушкина» без труда определяются из письма Рылеева В. И. Туманскому (напечатано впервые лишь в 1925 г. — Грену оно, таким образом, не могло быть известно): «...Все сии <Туманского. — М. А.> стихотворения вместе с пиэсами Консула нашей литературной республики <т. е. Пушкина. — М. А.> отданы Бирукову. Боюсь за послание к Алексееву и именно за то место, где исступленный любовник

Клянет ревнивого супруга  
Или докучливую мать.

Бируков цензор-деспот и *ревнивый* муж. Страшусь также за стихи к *Иностранке*, где есть слово *боготворить*: оно верно не будет пропущено. Попроси Пушкина, чтобы он пожертвовал им для Полярной звезды. Письмо твое к Алек<сандру> Бестужеву с приложением другого от Пушкина получено мною и по праву дружбы распечатано. Желания Пушкина все исполнены, а в отношении посланий к Кривцову и В. Л. П<ушкину> при помощи самой цензуры, не пропустившей их. <...>

Р. С. Сей час от Бирукова. Варвар не пропустил ни одной из пиэс Пушкина, за самые те места, об которых я писал выше; в пиэске же к приятелю находит он не нравственную цель; говорит: двое за одной волочатся...»<sup>60</sup>

Таким образом, в письме к Баратынскому Рылеев говорил о следующих стихотворениях Пушкина: «Алексееву» (напечатано в «Полярной звезде», но на 1825 год. Строки из него и цитирует Рылеев), «Иностранке» (напечатано в 1826 г.), «Кривцову» (напечатано в 1826 г.). Послание к В. Л. Пушкину, о котором Рылеев сообщал Туманскому, попало в «Полярную звезду» на 1824 год.

Письмо к Туманскому было написано в разгар борьбы Рылеева с Бируковым, а спустя три дня, 6 октября 1823 г., он уведомил Баратынского о неудачных попытках обойти сурового стража. Таким образом Филиппович был абсолютно прав, предлагая отнести письмо к 1823 г. Грен изменил дату, чтобы по условиям своей публикации приурочить письмо к пребыванию Пушкина в Кишиневе: 6 октября 1823 г. Пушкин был уже в Одессе и не смог бы передать письма, полученного от Баратынского, Теплякову. Между тем с датой 1822 оно было напечатано в полном собрании сочинений Рылеева и продолжает так же датироваться<sup>61</sup>.

Совокупность фактов в письме Рылеева к Баратынскому, их абсолютная достоверность не оставляют ни малейшего сомнения в подлинности документа: Грен не мог быть так осведомлен в мелочах и деталях литературной жизни 1820-х гг.

Сложнее обстоит дело с сопровождающей запиской. Она могла быть сочинена Греном, чтобы объяснить, как письмо Рылеева попало к Теплякову. Обращение «любезный Александр» в трех известных письмах Баратынского к Пушкину не встречается. Он пишет «милый Пушкин»<sup>62</sup>. Однако в других письмах Баратынского можно найти и более формальное обращение «любезный»<sup>63</sup>. Учитывая, как отмечает комментатор, некоторую принужденность и скованность дружеского тона в письмах Баратынского к Пушкину<sup>64</sup>, мы вполне можем считать закономерным появление слова «любезный» в коротенькой, но тщательно обдуманной записке, к тому же более ранней, чем известные три письма<sup>65</sup>.

В то же время эта короткая записка не похожа на многословные мистификации Грена. Она отличается непринужденностью, краткостью и простотой и, поскольку сопровождает безусловно подлинный документ, ее можно вместе с письмом Рылеева включить в переписку Пушкина и в собрание сочинений Баратынского.

После появления в печати настоящей работы<sup>66</sup> А. М. Песков в капитальной «Летописи» Баратынского отверг наше предположение: «... мы полагаем, что это сочинение самого Грена, ибо невероятно, чтобы Боратынский, оторванный от петербургской литературной жизни и обитающий в Роченсальме, получив письмо из Петербурга, стал бы посылать его в Одессу, да еще просил бы прислать переделанные стихи (которых сам еще не читал) Дельвигу в Петербург; в данной ситуации Боратынскому менее всего подходит роль посредника»<sup>67</sup>.

Аргументы кажутся достаточно основательными. И все же... Рылеев вовсе не просит Баратынского брать на себя роль посредника. Баратынский мог послать письмо (может быть, в копии) ссыльному Пушкину по собственной инициативе. Просьба переделать стихи, может быть, вызвана желанием увидеть стихи Пушкина в одной книжке со своими. Кстати, письмо (или его копия) в случае пересылки в Одессу могло достаться Грену через Зеленецкого. Таким образом, записку Баратынского, кажется, следует оставить в его эпистолярии и переписке Пушкина и Баратынского (может быть, со знаком вопроса, т. е. в разделе *dubia*).

В составе фальшивого «Дневника» Теплякова напечатано письмо И. И. Козлова к Е. А. Баратынскому, будто бы пересланное последним Пушкину. Это письмо, написанное по-французски, признается подлинным: «Подлинность самого текста опубликованного Греном письма немислимо заподозривать. Уж слишком характерен слог Козлова, достаточно прочесть его, чтобы убедиться в его принадлежности автору “Чернеца”»; так похоже оно по слогу

на все известные письма Козлова ...» Исследователь только предлагает датировать его не 1821, а 1824 годом (когда был написан «Чернец», о котором речь идет в письме)<sup>68</sup>. Грен мог сочинить дату, чтобы Пушкин прочел письмо Теплякову в Кишиневе в 1821 году.

А. М. Песков исключил это письмо из переписки Баратынского вместе с письмом самого Баратынского к Козлову от 7 января <1825> (опубл. «Русский архив», 1886). Письмо Баратынского, как убедительно показал Данилов, является ответом на письмо Козлова: «Это письмо, несомненно, представляет из себя *ответ на опубликованное Греном письмо Козлова* к автору “Эдды”»<sup>69</sup>. Песков очень последовательно и доказательно развил аргументацию Данилова. Однако бесспорный вывод лишь дал ему основание заключить, что оба письма суть «сочинения одного фальсификатора», которые в свое время не удалось опубликовать одновременно»<sup>70</sup>. Песков исключает оба этих письма из переписки Баратынского из-за отдельных несоответствий в датировке произведений Козлова и расхождении незначительных деталей в письмах Баратынского от 7 января и конца марта 1825 г. (последнее письмо не совсем ясного происхождения<sup>71</sup>). Однако несообразности, возникающие при исключении писем, оказываются гораздо серьезнее аргументации Пескова.

Оба письма написаны по-французски, а Грен пишет в «Воспоминании о Пушкине», что они с братом в 13 лет французский язык «тогда еще худо понимали», т. е. не поняли, о чем говорили Пушкин с Дельвигом<sup>72</sup>. Трудно предположить, чтобы фальсификатор сочинил два письма на языке, которым владеет недостаточно свободно.

Далее, письмо Баратынского напечатано в «Русском архиве» в составе большой статьи А. Хомутова «Из бумаг поэта И. И. Козлова»<sup>73</sup>. Автор, видимо, родственник Хомутовых, родственников И. И. Козлова (его мать была урожденная Хомутова. А. Г. Хомутова была особенно дружна со слепым поэтом. Он посвятил ей трогательные стихи<sup>74</sup>). А. Хомутов опубликовал «с согласия дочери поэта Александры Ивановны Козловой <...> рукописи, письма, стихи, записки разных литературных знаменитостей, писавших Козлову, ценивших его и вполне сочувствовавших как его таланту, так и его страдальческому положению»<sup>75</sup>. В составе этой публикации находятся:

1. Записочки Жуковского.
2. Письмо князя Вяземского.
3. Письмо Баратынского.



4. Письмо Гнедича.
5. Письмо Загоскина.
6. Письмо Мятлева.
7. Записка и письмо А. Н. Муравьева.
8. Стихотворение митрополита Филарета.
9. Письмо Шатобриана.
10. Стихи, посвященные Козлову (Среди них стихи Пушкина к Козлову с разночтением, восходящим к беловому автографу. Ср.: II, 347, 879).
12. Стихи самого Козлова на французском и итальянском языках и пр.

Возникает естественный вопрос: как в такую публикацию, т. е. первоначально в архив Козлова, откуда извлечены все эти материалы, могло попасть сочиненное Греном письмо Баратынского к Козлову (третий номер нашего списка)? Ответа на этот вопрос не существует. Тогда, естественно, нужно признать подлинность и письма Козлова, ответом на которое является письмо Баратынского.

Кроме того, письма Козлова и Баратынского, насыщенные литературным материалом, настолько не похожи на заведомо сочиненные Греном письма, что проблема об их принадлежности незадачливому фальсификатору, кажется, даже не нуждается в обсуждении.

Таким образом, можно достаточно уверенно сказать, что среди публикаций Грена, наряду с заведомыми фальсификациями, имеются несомненно подлинные документы и документы, вероятность аутентичности которых чрезвычайно высока.

Очевидно, следует вернуть в переписку Баратынского письмо к нему Козлова и ответ Баратынского. Что касается записки Баратынского Пушкину, то, наверное, ее место — в разделе *Dubia* в «Письмах» Баратынского и в «Переписке» Пушкина, тем более, что эта записка сопровождает безусловно подлинный текст.

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Произведения Пушкина цитируются (кроме специально оговоренных случаев) по репринтному воспроизведению Большого Академического издания: *Пушкин. Полное собрание сочинений*. М.; Л., 1937—1959. (Репринт: М.: Воскресенье, 1994—1997. Т. 1—19). Тома 17 и 18 этого издания являются дополнительными и содержат официальные документы, написанные «рукою Пушкина» (т. 17) и рисунки поэта (т. 18). Пагинация первых томов не всегда совпадает с Академическим изданием. В ссылках указывается том (римской цифрой), полумом и страница.

*Абрамович — С. Л. Абрамович. Пушкин. Последний год*. М., 1991.

*Альциуллер. Крылов. — М. Г. Альциуллер. Крылов в литературных объединениях 1800—1810-х годов // Иван Андреевич Крылов. Проблемы творчества*. Л., 1975.

*Альциуллер. Предтечи. — М. Г. Альциуллер. Предтечи славянофильства в русской литературе. (Общество «Беседа любителей русского слова»)*. Ann Arbor, 1984.

*Альциуллер. Эпоха Вальтера Скотта. — М. Г. Альциуллер. Эпоха Вальтера Скотта в России. (Исторический роман 1830-х годов)*. СПб., 1996.

*Альциуллер, Мартынов — М. Альциуллер, И. Мартынов. «Звучащий стих свободы ради...» (Очерки о читателях декабристской поры)*. М., 1976.

*Анненков — П. В. Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху*. Минск, 1998.

*Аринштейн — Л. М. Аринштейн. Пушкин. Непричесанная биография*. М., 1998.

*Базанов — В. Г. Базанов. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949.*

*Белинский. Т. 1—13. — В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений*. М., 1953—1959.

*Благой — Д. Д. Благой.* Творческий путь Пушкина (1826—1830). М., 1967.

*Бонди — С. М. Бонди.* Черновики Пушкина. М., 1971.

*Вигель.* Т. 1—2 — *Ф. Ф. Вигель.* Записки: В 2 т. / Ред. и вступ. статья С. Я. Штрайха. М., 1928.

*Герцен.* Т. 1—30 — *А. И. Герцен.* Собрание сочинений: В 30 т. М., 1954—1965.

*Жуковский.* Т. 1—2 — *В. А. Жуковский.* Полное собрание сочинений и писем. М., 1999—.

*Измайлов — Н. В. Измайлов.* «Медный всадник» А. С. Пушкина. История замысла и создания, публикации и изучения // *А. С. Пушкин.* Медный всадник. Л., 1978.

*Карамзин.* БП — *Н. М. Карамзин.* Полное собрание стихотворений. (Библиотека поэта. Б. с.). М.; Л., 1966.

*Кошелев — В. А. Кошелев.* Первая книга Пушкина. Томск, 1997.

Летопись, 1—4 — Летопись жизни и творчества Александра Пушкина: В 4 т. / Сост. М. А. Цявловский и Н. А. Тархова. М., 1999.

*Листов — В. С. Листов.* «Сын казненного стрельца» — неосуществленный замысел Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 13. Л., 1989.

*Лотман — Ю. М. Лотман.* Пушкин. СПб., 1995.

*Лотман.* Комментарий — *Ю. М. Лотман.* Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980.

*Макогоненко — Г. П. Макогоненко.* Пушкин и Дмитриев // Русская литература. 1966. № 4.

*Модзалевский.* Библиотека. — *Б. Л. Модзалевский.* Библиотека А. С. Пушкина. СПб., 1910.

*Модзалевский, Муравьев.* Родословная роспись — *Б. Л. Модзалевский, М. В. Муравьев.* Пушкины. Родословная роспись // Род и предки Пушкина. М., 1995.

*Н. Н. <В. Г. Мороз> — Н. Н. <В. Г. Мороз>* «Апокалипсическая песнь» Пушкина. Опыт истолкования стихотворения «Герой». М., 1993.

*Немировский — И. В. Немировский.* Декабрист или сервист. Биографический контекст стихотворения «Арион» // Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1995.

Остафьевский архив. Т. 1—3 — Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899.

ПД — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН.

Пушкин в воспоминаниях. Т. 1—2 — А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 1, 2.

Пушкин в прижизненной критике — Пушкин в прижизненной критике. 1820—1827 / Ред. В. Э. Вацуру, С. А. Фомичев. СПб., 1996.

*Смирнова-Россет — А. О. Смирнова-Россет.* Дневник. Воспоминания / Изд. подготовила С. В. Житомирская. М., 1989.

*Томашевский — Б. В. Томашевский.* Пушкин. Книга первая (1813—1824). М.; Л., 1956.

*Труайя — Анри Труайя.* Александр I, или Северный сфинкс. М., 1997.

*Черейский — Л. А. Черейский.* Пушкин и его окружение. Л., 1988.

*Шильдер.* Александр I. 1—4 — *Н. К. Шильдер.* Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. СПб., 1897—1898. Т. 1—4.

*Шильдер.* Николай I. — *Н. К. Шильдер.* Император Николай Первый. Его жизнь и царствование. СПб., 1903. Т. 1.

*Эйдельман.* Последний летописец. — *Н. Эйдельман.* Последний летописец. М., 1983.

*Эйдельман.* Пушкин. Из биографии — *Н. Эйдельман.* Пушкин. Из биографии и творчества (1826—1837). М., 1987.

*Эйдельман.* Пушкин. История — *Н. Эйдельман.* Пушкин. История и современность в художественном сознании поэта. М., 1984.

## ЧАСТЬ I. МЕЖДУ ДВУХ ЦАРЕЙ.

### 1. ОТ «СТАНСОВ» К «ДРУЗЬЯМ»

<sup>1</sup> *Томашевский.* С. 183; *И. Немировский.* Смывая «печальные строки» // *Pushkin Review.* Пушкинский вестник. 2001. V. 4. С. 56—57.

<sup>2</sup> *Ю. Г. Оксман.* К истории высылки Пушкина из Петербурга в 1820 г. // *Пушкин. Временник Пушкинской комиссии.* Т. 1. М.; Л., 1936. С. 192.

<sup>3</sup> *А. Н. Шебунин.* Пушкин по неопубликованным материалам архива братьев Тургеневых // *Пушкин. Временник Пушкинской комиссии.* Т. 1. М.; Л., 1936. С. 198.

<sup>4</sup> Остафьевский архив. Т. 2. С. 36.

<sup>5</sup> Записано Бартеневым со слов Вяземских (*П. И. Бартенев.* О Пушкине. М., 1992. С. 380).

<sup>6</sup> *Лотман.* Комментарий. С. 395.

<sup>7</sup> См.: *Аринштейн.* С. 148—153.

<sup>8</sup> См.: *Базанов.* С. 177.

<sup>9</sup> *А. З. Манфред.* Наполеон Бонапарт. М., 1987. С. 401. Французский оригинал см.: *Шильдер.* Александр I. 2. С. 281. Ср.: *Труайя.* С. 85—87.

<sup>10</sup> *Шильдер.* Александр I. 2. С. 202—203.

<sup>11</sup> *Н. И. Греч.* Записки о моей жизни. М., 1990. С. 117. См. также с. 88, 202, 251, 310.

<sup>12</sup> См.: *Шильдер.* Александр I. 4. С. 6—7, 450; *Н. Эйдельман.* Последний летописец. С. 66—89.

<sup>13</sup> *Ю. М. Лотман.* «О древней и новой России в ее политическом и

гражданском отношении» Карамзина — памятник русской публицистики начала XIX века // Ю. М. Лотман. Карамзин. СПб., 1997. С. 593, 599.

<sup>14</sup> В одной из последних по времени работ говорится о «сложной интриге Нессельроде и Воронцова, связанной с желанием последнего удалить от себя Пушкина. Александр I колебался в своем решении...» (С. В. Березкина. Пушкин в Михайловском. О духовном надзоре над поэтом (1824—1826) // Русская литература. 2000. № 1. С. 5). Впрочем, почти одновременно С. А. Фомичев в статье «Эпиграммы Пушкина на графа Воронцова» вполне справедливо заметил: «...Пушкин ... ответственность за гонения возлагал прежде всего на царя, а вовсе не на графа Воронцова» (Пушкин и его современники. 1999. Вып. 1 (40). СПб., 1999. С. 168).

<sup>15</sup> Пушкин и его современники. Вып. 37. Л., 1928. С. 140.

<sup>16</sup> Литературное наследство. Т. 58. М., 1952. С. 42.

<sup>17</sup> Русская старина. 1879. Т. 26. С. 292.

<sup>18</sup> Вигель. Т. 2. С. 245.

<sup>19</sup> Пушкин и его современники. Вып. 16. С. 68.

<sup>20</sup> Остафьевский архив. Т. 3. С. 57. Ср.: Летопись, 1. С. 413.

<sup>21</sup> Ю. М. Лотман. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. Л., 1981. С. 109.

<sup>22</sup> Анненков. С. 179, 182.

<sup>23</sup> Л. Поливанов. Александр Сергеевич Пушкин. Материалы для его биографии (1817—1825) // Русская старина. 1887. Т. 53. С. 246.

<sup>24</sup> Остафьевский архив. Т. 3. С. 58.

<sup>25</sup> Анненков. С. 184.

<sup>26</sup> Русская старина. 1879. Т. 26. С. 293. Все дальнейшие цитаты из письма Нессельроде к Воронцову от 11 июля 1824 по этой публикации (пер. с фр.).

<sup>27</sup> Анненков переводит французский оригинал еще сильнее — словом «беспутство»: «par son inconduite» (Анненков. С. 185).

<sup>28</sup> П. И. Бартенев. О Пушкине. М., 1992. С. 380.

<sup>29</sup> Остафьевский архив. Т. 3. С. 73—75.

<sup>30</sup> Анненков. С. 199.

<sup>31</sup> В. Якушкин. Рукописи Александра Сергеевича Пушкина, хранящиеся в Румянцевском музее в Москве // Русская старина. 1884. № 7. С. 21—23; С. М. Бонди подготовил текст «Воображаемого разговора» в Большом Академическом собрании и изложил свою текстологическую позицию в статье «Подлинный текст и политическое содержание “Воображаемого разговора с Александром I”» (См.: Бонди. С. 109—140; Б. В. Томашевский дал несколько иное прочтение текста в редактированном им малом десятитомном академическом издании; см. также: Д. П. Ивинский. К вопросу о подлинном тексте и политическом содержании «Воображаемого разговора с Александром I» // Пушкин: Сборник статей. (МГУ им. М. В. Ломоносова). М., 1999. С. 159—170.

<sup>32</sup> Бонди. С. 121.

<sup>33</sup> Мы принимаем гипотезу Ивинского, что в этом месте «Разговора» «Царь» обвиняет «Пушкина за рассказ об убийстве Павла I («Не уважили правду и личную честь даже в царе»).

<sup>33а</sup> Эти слова несколько уточняют датировку «Воображаемого разговора»: цензурное разрешение первой главы «Евгения Онегина» последовало 29 декабря 1824 г.

<sup>33б</sup> Так, В. Н. Каразин записал в дневнике 18 ноября 1819 года: «Какой-то мальчишка Пушкин, Питомец лицейский, в благодарность написал презельную оду, где досталось фамилии Романовых вообще...» Цит. по: *Базанов*. С. 174.

<sup>34</sup> *Герцен*. Т. 8. С. 58.

<sup>35</sup> *Вигель*. Т. 2. С. 124.

<sup>36</sup> Цит. по: *Я. Гордин*. Мятеж реформаторов. После мятежа. М., 1997. С. 40—41. Слова Г. Батенькова и Г. Перетца.

<sup>37</sup> *Шильдер*. Николай I. I. С. 126.

<sup>38</sup> *Герцен*. Т. 8. С. 58.

<sup>39</sup> Тщательный анализ отношения властей к Пушкину в месяцы, предшествовавшие его вызову в Москву, см.: *Н. Эйдельман*. Пушкин и декабристы. М., 1979. С. 239—285.

<sup>40</sup> См. полную и тщательную реконструкцию разговора в кн.: *Н. Эйдельман*. Пушкин. Из биографии. С. 9—64.

<sup>41</sup> *Ю. М. Лотман*. Несколько добавочных замечаний к вопросу о разговоре Пушкина с Николаем I 8 сентября 1826 г. // *Лотман*. С. 366—368.

<sup>42</sup> О нравственном состоянии войск Российской империи и в особенности гвардейского корпуса. Письмо и записка графа Ф. П. Толстого императору Николаю I (1826) // *Река времен*. Кн. I. М., 1995. С. 38.

<sup>43</sup> *Смирнова-Россет*. С. 199.

<sup>44</sup> Оппозиция Николай I — Александр I в стихотворении «Друзьям» бегло отмечена Н. Эйдельманом в кн.: *Эйдельман*. Пушкин. С. 126. По словам А. Гербстмана, С. М. Бонди как-то заметил, что «в «Стансах» и позднее в «Медном всаднике» образ Александра дан в резко отрицательном плане...» (Там же. С. 131). Н. В. Измайлов отметил прямой намек на Александра I в строке: «Не презирал страны родной» (*Н. В. Измайлов*. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975. С. 36). Упоминания о «противостоянии» двух венценосцев в пушкинском творчестве см.: *Н. Н. <В. Г. Мороз>*. С. 25—26, 40 (имя автора раскрыто в кн.: *Аринштейн*. С. 44).

<sup>45</sup> *Шильдер*. Александр I. 2. С. 6.

<sup>46</sup> Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. 2-е академическое издание. Т. 2. СПб., 1869. С. 228.

<sup>47</sup> *Н. М. Карамзин*. БП. С. 261, 262.

<sup>48</sup> *И. И. Дмитриев*. Полное собрание стихотворений. (Библиотека поэта. Б. с.). Л., 1967. С. 77.

<sup>49</sup> *Шильдер*. Александр I. 2. С. 6.

<sup>50</sup> *С. М. Соловьев*. Сочинения. Кн. 13. История России с древнейших времен. Т. 25. М., 1994. С. 108—109.

<sup>51</sup> Николай Первый и его время. Т. 2 / Сост., вступ. статья и комментарии Б. Н. Тарасова. М., 2000. С. 11.

<sup>52</sup> *Шильдер*. Александр I. 2. С. 60—62.

<sup>53</sup> *Б. Ф. Егоров*. Очерки по русской культуре XIX века // Из истории русской культуры. Т. 5. М., 1996. С. 294—295, 299.

<sup>54</sup> *Шильдер*. Николай I. 2. С. 35.

<sup>55</sup> *А. С. Шишков*. Записки, мнения и переписка. Т. 1. Berlin, 1870. С. 309.

<sup>56</sup> *И. А. Крылов*. Басни. М.; Л., 1956. С. 85.

<sup>57</sup> *Вигель*. Т. 1. С. 153.

<sup>58</sup> *И. А. Крылов*. Басни. С. 47. О литературной и общественной позиции Крылова подробнее см.: *Альтшуллер*. Крылов.

<sup>59</sup> См.: *Шильдер*. Александр I. 3. С. 180—181, 184, 227, 228, 356; *Альтшуллер*. Крылов. С. 193—194; *Альтшуллер*. Предтечи.

<sup>60</sup> См.: *Шильдер*. Александр I. 4. С. 50. Ср.: «Известно, что Александр не любил вспоминать Отечественную войну, не посещал ее памятных мест, не отмечал ее великих событий...» (*Андрей Зорин*. Кормя двуглавого орла... М., 2001. С. 290).

<sup>61</sup> *Шильдер*. Александр I. 1. С. 161—163.

<sup>62</sup> *Шильдер*. Николай I. 1. С. 118—119.

<sup>63</sup> См.: *Дневник А. С. Пушкина 1833—1835 / Комментарии Б. Л. Модзалевского, В. Ф. Саводника, М. Н. Сперанского*. М., 1997. С. 181—182, 531—532.

<sup>64</sup> *К. Ф. Рыдеев*. Полное собрание стихотворений. (Библиотека поэта. Б. с.). Л., 1971. С. 256.

<sup>65</sup> Детство и юность имп. Александра Павловича (Из записок его воспитателя) // Исторический архив. 1866. № 1. Стлб. 98, 106, 109, 110, 111. *Труайа*. С. 17.

<sup>66</sup> *Шильдер*. Александр I. 4. С. 161—163.

<sup>67</sup> См.: *Л. В. Выскочков*. Император Николай I. Человек и государь. СПб., 2001. С. 416—441.

<sup>68</sup> О соотношении понятий «правосудия» и «милости» писал Ю. Лотман в известных статьях: «Идейная структура “Капитанской дочки”», «Идейная структура поэмы Пушкина “Анджело”» (См.: *Лотман*. С. 213—227, 237—252). Лотману возражал Г. П. Макогоненко. Их полемику см.: *Лотман*. С. 223 (обширное подстрочное примечание); *Г. П. Макогоненко*. Избранные работы. О Пушкине, его предшественниках и наследниках. Л., 1986. С. 517—528. О проблеме «милосердия» в лирике Пушкина см.: *В. Э. Вацуро*. Из историко-литературного комментария к стихотворениям Пушкина [разделы: «Пушкин — читатель “Собрания русских стихотворений”», «“Милость” и “Правосудие” в системе социально-этических представлений Пушкина»] // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 12. Л., 1986. С. 311—319. См. также: *М. И. Гиллельсон*. Отзыв современника о «Пире Петра Первого» // Временник Пушкинской комиссии. 1962. М.; Л., 1963. С. 167—172; *Suzanne Daly*. Проблема милости в «Сказке о царе Салтане» // Graduate Essays on Slavic

<sup>69</sup> В. *Непомнящий*. Судьба одного стихотворения // Вопросы литературы. 1984. № 6; Б. *Бялик*. Да были ли горы-то!.. // Там же. 1985. № 7; В. *Непомнящий*. Опираясь на достигнутое наукой // Там же; Г. *Макогоненко*. Обратимся к пушкинскому поэтическому тексту // Там же.

<sup>70</sup> См. об этом подробнее в кн.: В. *Непомнящий*. Поэзия и судьба. М., 1987. С. 88—127. Коротко об этом в кн.: *Альтшуллер, Мартынов*. С. 57—58.

<sup>71</sup> Вопросы литературы. 1985. № 7. С. 171—173. Ср.: *Альтшуллер, Мартынов*. С. 63—64. Недавно появилась гипотеза С. А. Фомичева. Он считает стихи Одоевского ответом на пушкинское послание к Пушкину («Мой первый друг...»), а «Во глубине сибирских руд...» гораздо более поздним (1830—1834) ответом Пушкина Одоевскому. По мнению Фомичева, эта гипотеза объясняет политическое и идеологическое несоответствие написанных в одно время «Стансов» и «Во глубине...». При всем остроумии этой гипотезы мы предпочитаем традиционное толкование. Внимательное прочтение текстов показывает, во-первых, что стихи Одоевского являются вторичными по отношению к пушкинским и по тону не могут быть ответом на дружеское послание к одному человеку. Во-вторых, — нет никаких существенных противоречий в позиции автора «Стансов» и «Во глубине...». Это снимает необходимость громоздить сложные объяснения там, где простых — достаточно. См.: С. А. *Фомичев*. Служенье муз. О лирике Пушкина. СПб., 2001. С. 178—185.

<sup>72</sup> См. об этом: *Немировский*. С. 174—191.

<sup>73</sup> Там же. С. 175.

<sup>74</sup> «...на роль рулевого в челне, символизирующем Россию и все русское общество эпохи Александра I, если следовать логике исторической картины, иносказательно запечатленной в “Арионе”, больше всего подходит сам император» (*Виктор Есипов*. «Зачем ты грозный Аквилон» (О стихотворениях «Аквилон» и «Арион») // Московский пушкинист. Вып. 7. М., 2000. С. 103).

<sup>75</sup> См.: В. А. *Федоров*. М. М. Сперанский и А. А. Аракчеев. М., 1997. С. 214—215.

<sup>76</sup> См.: В. Я. *Стоюнин*. А. С. Шишков. Биография // В. Я. *Стоюнин*. Исторические сочинения. Т. 1. СПб., 1880. С. 345—348.

<sup>77</sup> Факсимиле в кн.: Литературное наследство. Т. 59 (2). С. 211. Цитировано Ю. В. Стенником в статье «Стихотворение А. С. Пушкина «Мордвинову» (к истории создания)» (Русская литература. 1965. № 3. С. 178).

<sup>78</sup> *Любовь Краваль*. Рисунки Пушкина как графический дневник. М., 1997. С. 83—90, 447.

<sup>79</sup> «Ода его превосходительству черноморского флота господину вице-адмиралу и орденов Св. Александра Невского, Св. князя Владимира первой степени и Св. Анны кавалеру Николаю Семеновичу Мордвинову» (Поэты XVIII века. (Библиотека поэта. Б. с.). Л., 1972. Т. 1. С. 413).



<sup>80</sup> Ср.: *Ирина Роднянская*. Стихотворение «Блажен в златом кругу вельмож...» — пропущенное звено в разговоре о назначении поэта // *Московский пушкинист*. Вып. 7. М., 2000. С. 28—37. В этой маленькой заметке имеется несколько интересных наблюдений, хотя исследовательница, с нашей точки зрения, в своей интерпретации преувеличивает ироническую доминанту этого стихотворения.

<sup>81</sup> См.: *М. И. Гиллельсон*. П. А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л., 1969. С. 175—179.

<sup>82</sup> Пушкин в воспоминаниях. Т. 1. С. 141.

<sup>83</sup> См.: *Немировский*. С. 186—187.

<sup>84</sup> Цит. по: *Эйдельман*. Пушкин. История. С. 115. Ср.: *Немировский*. С. 187.

<sup>85</sup> См.: *М. И. Гиллельсон*. Литературная политика царизма после 14 декабря 1825 г. // *Пушкин. Исследования и материалы*. Т. 8. Л., 1978. С. 195—218.

<sup>86</sup> Шильдер. Николай I. 2. С. 7, 403.

<sup>87</sup> Видок Фиглярин. Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III отделение // Изд. подготовил А. И. Рейтблат. М., 1998. С. 165 и сл.

<sup>88</sup> Там же. С. 169.

<sup>89</sup> Там же. С. 169—170.

<sup>90</sup> Так, в фильме «Поэт и царь» (1927, реж. Владимир Гардин) Пушкин все время бегаёт по экрану и прячет в укромных уголках эпиграммы на Николая. Насколько я помню, среди этих эпиграмм нет ни одного подлинного пушкинского текста.

<sup>91</sup> *В. А. Жуковский*. Письмо к С. Л. Пушкину от 15 февраля 1837 г. // *Пушкин в воспоминаниях*. Т. 2. С. 349. Сводку сведений об этой фразе Пушкина см.: *В. А. Сайтанов*. Прощание с царем // *Временник Пушкинской комиссии*. Вып. 20. Л., 1986. С. 43—46. Разумеется, никак нельзя согласиться с основной мыслью этой работы, превращающей Пушкина на смертном одре в лгуна и лицемера.

<sup>92</sup> Д. Д. Благой считал, что в стихотворении «К друзьям» противопоставление Николая I Александру I проведено последовательно в первых пяти строфах. См.: *Благой*. С. 164—167.

<sup>93</sup> *В. Непомнящий*. Поэзия и судьба. М., 1987. С. 96.

<sup>93а</sup> См.: Н. Шильдер. Император Николай Первый, его жизнь и царствование. Кн. 2. М., 1997. С. 21. Ср.: В. Э. Вацууро, М. И. Гиллельсон. «Сквозь умственные плотины...». М., 1972. С. 94.

<sup>94</sup> *В. А. Федоров*. М. М. Сперанский и А. А. Аракчеев. М., 1997. С. 193. Примеры зависти Аракчеева к царским «милостям» см. в кн.: Аракчеев. Свидетельства современников. М., 2000. С. 76, 209.

<sup>95</sup> Очень интересные и глубокие рассуждения о роли Жуковского в русской культурной и общественной жизни 1810-х см.: *Андрей Зорин*. Кормя двуглавого орла... М., 2001. С. 269—295.

<sup>96</sup> См.: Пушкин. Письма. Т. 2 / Под ред. Б. Л. Модзалевского. М.; Л., 1928. С. 134.

<sup>97</sup> *Олег Проскурин*. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999. С. 266—268.

<sup>98</sup> *Белинский*. Т. 10. С. 217.

<sup>99</sup> *Герцен*. Т. 7. С. 220.

<sup>100</sup> *Н. П. Огарев*. Избранные произведения. М., 1956. Т. 2. С. 479—480.

## 2. СТИХИЯ И ЦАРИ В «МЕДНОМ ВСАДНИКЕ»

<sup>1</sup> Единственная, кажется, работа, посвященная этому стихотворению: *Г. М. Кока*. Стихотворение «К бюсту завоевателя» // Пушкин. Исследования и материалы. Т. III, М.; Л., 1958. С. 324—333.

<sup>2</sup> Цит по: *А. С. Пушкин*. Полное собрание сочинений: В 10 т. / Под ред. Б. В. Томашевского. М., 1958. Т. 7. С. 513. В Академическом собрании (XII, 178) текст явно испорчен: *Это нравилось Торвальдсену*. Не исправлена описка Пушкина. Ср. замечание Ю. Г. Оксмана в: *А. Л. Гришунин*. Ю. Г. Оксман о текстах Пушкина // Московский пушкинист. Вып. 6. М., 1999. С. 353. Перевод итальянской фразы: *Вот грубая физиономия* (итал.). См.: *Кока*. Ук. соч. С. 325.

<sup>3</sup> В автографе стоит дата окончания стихотворения: 21 сен<тября>. Год определить труднее. Однако трудно безоговорочно согласиться с датировкой «Летописи» (т. 2, с. 417 (876), 479): сентябрь 1828, т. к. стихотворение, по всей очевидности, написано после прозаической записи, которая явно является программой стихотворного текста. Непонятно, почему Пушкин не мог написать этот текст в Болдино (1830) или сразу после возвращения в Москву после поездки на Кавказ в 1829 г.

<sup>4</sup> *П. В. Анненков*. Материалы для биографии Пушкина // Сочинения Пушкина. Т. 1. СПб., 1855. С. 222.

<sup>5</sup> Там же. С. 22.

<sup>6</sup> *Кока*. Ук. соч. С. 326—327.

<sup>6а</sup>. *Смирнова-Россет*. С. 414.

<sup>6б</sup> *А. И. Гербстман*. Судьба десятой главы «Евгения Онегина» // Ученые записки Казахского университета. Т. XXV. Язык и литература. Алма-Ата, 1957. С. 109—122. См.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 430.

<sup>7</sup> Пушкин в воспоминаниях. Т. 1. С. 162—165.

<sup>8</sup> См. об этом подробнее: *Н. Н. <В. Г. Мороз>*. С. 25—26, 40.

<sup>9</sup> *The Life of Napoleon Buonaparte, Emperor of the French with a Preliminary view of the French Revolution* / Ed. J. & B. Williams. 1828. V. 1. P. 300. Перевод: «Бонапарт <...> лично пришел в госпиталь и, без колебаний подвергая себя опасности заразиться, уменьшил ужас перед болезнью у солдат и даже у заболевших, которые ранее не были в состоянии сохранять присутствие духа, а теперь получили явный шанс на выздоровление».

<sup>10</sup> Этот широко известный подвиг Наполеона был оспорен в мемуарах Бурьена, сочиненных и опубликованных журналистом Вильмарем в 1829—1830 гг. См.: *Н. Н. <В. Г. Моров>*. С. 5, 37. Ср.: *О. С. Муравьева*. Пушкин и Наполеон (Пушкинский вариант «Наполеоновской легенды») // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 14. Л., 1991. С. 25—29.

<sup>11</sup> *Шильдер*. Николай I. С. 287, 289—290.

<sup>12</sup> *Ю. М. Лотман*. Идеиная структура поэмы Пушкина «Анджело» // *Лотман*. С. 237—252.

<sup>13</sup> Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. СПб., 1874. Т. 4. С. 133, 350. См. также: *Альтшуллер*. Предтечи. С. 137—174.

<sup>14</sup> См.: *Лотман*. С. 250.

<sup>15</sup> Краткий обзор толкований «Медного всадника» за последние восемь десятилетий XX века см. в статье Е. Г. Эткинда «Многосмысленность повести-поэмы “Медный всадник”» (*Е. Эткинд*. Божественный глагол. М., 1999. С. 469—480).

<sup>16</sup> Ср.: *Roman Jakobson*. Pushkin and His Sculptural Myth. The Hague, Paris, 1975. P. 4.

<sup>17</sup> «Былое и думы», ч. 8, гл. 2. Сказано о Венеции. (*Герцен*. Т. 11. С. 468).

<sup>18</sup> О злом начале в поэме см.: *Илья Серман*. Тема «зла» в «Медном всаднике» // *Коран и Библия в творчестве Пушкина*. Иерусалим, 2000. С. 157—168.

<sup>19</sup> Выразительное противопоставление «сидящего на звере-коне гиганта» другому «бледному всаднику», сидящему «на звере мраморном верхом» см. в эссе Е. П. Иванова «Всадник. Нечто о городе Петербурге» (Москва—Петербург. Pro et contra. СПб., 2000, С. 311—319).

<sup>20</sup> *П. А. Вяземский*. Стихотворения (Библиотека поэта. Б. с.). Л., 1986. С. 118.

<sup>21</sup> Цит. по статье А. Е. Тархова «Три примечания Пушкина к поэме “Медный всадник”» (Болдинские чтения. Горький, 1977. С. 59).

<sup>22</sup> См.: *Евгений Анисимов*. Дыба и кнут. Политический сыск в России. М., 1999. С. 402—405. Связь этих выражений: «поднять на дыбы» и «поднять на дыбу» — отметил Д. С. Мережковский в знаменитом очерке «Петербургу быть пусто...». См.: Москва—Петербург. Pro et contra. СПб., 2000. С. 330.

<sup>23</sup> См. рассказ об этом рисунке: *Измайлов*. С. 182.

<sup>24</sup> *Измайлов*. С. 182. Д. Д. Благой писал, что на рисунке Пушкина представлен гордый конь, сбросивший седока (*Д. Благой*. Мастерство Пушкина. М., 1955. С. 219). Ю. М. Лотман отметил связь загадочного рисунка с «Божественной комедией». У Данте Италия — конь без седока, т. е. некому занять опустевшее после Юстиниана место. Так же, считает Лотман, конь без всадника на рисунке Пушкина есть графическое размышление поэта на тему о том, что Николай не подходит на роль царственного седока, каким был Петр для России. (К пробле-

ме «Данте и Пушкин» // *Лотман*. С. 334—335). Об этом рисунке и его интерпретациях см.: *С. В. Денисенко, С. А. Фомичев*. Пушкин рисует. Графика Пушкина. СПб.; Нью-Йорк, 2001. С. 221—225.

<sup>25</sup> Ср. упомянутую выше интерпретацию Д. Д. Благого: *Д. Д. Благой*. Мастерство Пушкина. С. 219.

<sup>26</sup> Краткий обзор апокалиптических мотивов, связанных с образом Коня и парадигмой конь/всадник см. во вступительной части книги: *David M. Bethea*. *The Shape of Apocalypse in Modern Russian Fiction*. Princeton, 1989.

<sup>27</sup> Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. СПб., 1874. Т. 1. С. 373. См. также: *Илья Серман*. Временные рамки и пограничные вехи литературы XVIII века // *Русская литература*. 2000. № 4. С. 14—16.

<sup>28</sup> Поэты 1790—1810-х годов. (Библиотека поэта. Б. с.). Л., 1971. С. 460—461.

<sup>29</sup> *И. А. Крылов*. Сочинения. М., 1946. Т. 3. С. 96—97. О тематической и идеологической взаимосвязи текстов Державина, Крылова, Буниной см.: *Альтшуллер*. Предтечи. С. 231—237; *Альтшуллер*. Крылов. С. 190—193.

<sup>30</sup> *Модзалевский*. Библиотека. С. 288—289. № 1167.

<sup>31</sup> См.: Путеводитель по Пушкину. СПб., 1997. С. 254—256; *Черейский*. С. 266—267.

<sup>31a</sup> См.: *George Levitine*. *The Sculpture of Falkonet*. N. Y., 1972. P. 54—55.

<sup>31b</sup> См.: *H. Dieckmann and J. Sezneg*. *The Hoarse of Markus Aurelius. A Controversy between Diderot and Falkonet* // *Journal of Warburg and Courtauld Institutes*. 1952. V. 15. P. 198—228.

<sup>31a</sup> Цит. по: *Marinus A. Wess*. *Classical in Russia (1700—1855). Between Two Bronze Horsemen*. N. Y., 1992. P. 52—53. На обмен мнениями между Дидро и Фальконе (Дидро сравнивал статую Петра с Капитолийской) обратил мое внимание Emmanuel Waegemans, прочитавший в Кембридже в сентябре 2002 г. доклад «The Autokrat Knocked off his Pedestal: Peter the Great — Falkonet — Radishchev». Пользуюсь случаем поблагодарить профессора Waegemans'a за ценные советы.

<sup>32</sup> *Mickiewicz*. *Dramaty* (Dzela, t. 111). Warszawa, 1995. S. 282.

<sup>33</sup> Там же. S. 282.

<sup>33a</sup> Цит по: *Андрей Зорин*. Кормя двуглавого орла... М., 2001. С. 270.

<sup>34</sup> Ср.: *Disze wolna na wieki przedal w laske cara* // *I dzis na progach jego wubija poklony*. (*Mickiewicz*. *Dramaty*. S. 307).

<sup>35</sup> Стихотворение обычно датируется по беловому автографу; дата 10 августа 1834 г. поставлена самим Пушкиным (III, 945, 1251). Н. В. Измайлов основательно предположил, что дата поставлена позднее, и отнес начало работы над стихотворением к октябрю 1833 (*Измайлов*. С. 186—188).

<sup>36</sup> О работе Пушкина над стихотворением см. наблюдения Н. Я. Эйдельмана в кн.: *Эйдельман*. Пушкин. Из биографии. С. 271—273.

<sup>37</sup> Цит. по кн.: *И. Фейнберг*. Незавершенные работы Пушкина. М., 1964. С. 58—59. Здесь текст исправлен и уточнен.

<sup>38</sup> *Mickiewicz*. Цит. соч. S. 274.

<sup>39</sup> *Эйдельман*. Пушкин. Из биографии. С. 263—284.

<sup>40</sup> См.: *Т. Зенгер (Цявловская)*. Николай I — редактор Пушкина // Литературное наследство. Т. 16—18. М., 1934. С. 522.

<sup>41</sup> *Смирнова-Россет*. С. 199.

<sup>42</sup> Цит. по: *Пушкин*. Письма. Т. 3 // Под ред. и с примечаниями Л. Б. Модзалевского. Л., 1935. С. 322. Ср.: *Русская старина*. 1903. № 2. С. 315—316.

<sup>43</sup> *Смирнова-Россет*. С. 169.

<sup>44</sup> *К. П. Богаевская*. Из записок Н. М. Смирнова // *Временник Пушкинской комиссии*. 1967—1968. Л., 1970. С. 7.

<sup>45</sup> Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.; Л., 1960. С. 372. См. также: *Эйдельман*. Пушкин. Из биографии. С. 280.

<sup>46</sup> *М. И. Гиллельсон*. Отзыв современника о «Пире Петра Первого» Пушкина // *Временник Пушкинской комиссии*. 1962. М.; Л., 1963. С. 51.

<sup>47</sup> *А. Л. Основат, Р. Д. Тименчик*. «Печальную повесть сохранить...» М., 1985. С. 33—34.

<sup>48</sup> *Смирнова-Россет*. С. 80, 130, 139.

<sup>49</sup> См.: *Richard S. Wortman*. Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy. V. 1. Princeton University Press, 1995. P. 302—305.

<sup>50</sup> Так, А. Гербстман справедливо пишет, что «во всех без исключения толкованиях <поэмы Пушкина. — М. А.> недостаточно учитывается, недооценивается, а большей частью и вовсе игнорируется один персонаж, занимающий весьма существенное место и в развитии сюжета, и в системе образов, и в композиции поэмы ... речь идет об образе Александра I...» (*А. Гербстман*. О сюжете и образах «Медного всадника» // *Русская литература*. 1963. № 4. С. 78). Другое дело, что трактовка этого персонажа Гербстманом, с нашей точки зрения, односторонняя и тенденциозная. См. следующее примечание.

<sup>51</sup> Таков основной пафос упомянутой в предыдущем примечании статьи Гербстмана. Н. В. Измайлов тоже настойчиво говорит об «ироническом» отношении Пушкина к «беспомощному» Александру I. (*Измайлов*. С. 203, 261—262). Справедливости ради следует заметить, что этот пафос разделяется далеко не всеми. И. Л. Альми не видит никакой иронии в описании Александра I (*И. Л. Альми*. Статьи о поэзии и прозе. Кн. 1. Владимир, 1998. С. 93). Возражая Гербстману, В. Э. Вацуро, хотя и не аргументируя своей точки зрения, вполне резонно пишет: «... исследователь, на наш взгляд, совершенно напрасно усматривает ... во всей поэме противопоставление ничтожного Александра великому Петру; если противопоставление и есть, то оно скорее в пользу Александра». *В. Э. Вацуро*. Пушкин и проблемы бытописания в начале 1830-х годов // *Пушкин. Исследования и материалы*. Т. 6. Л., 1969. С. 168, прим. 66.

<sup>52</sup> Шильдер. Александр I. 4. С. 326. Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 386.

<sup>53</sup> В. Э. Вацуро. Пушкин и проблемы бытописания в начале 1830-х годов // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 6. Л., 1969. С. 168.

<sup>54</sup> William Shakespeare. The Tempest. Act I. Scene 1. («Какое дело до королей этим ревушим волнам ... Если Вы можете успокоить стихии <...> используйте свою власть»).

<sup>55</sup> В. А. Жуковский. Полное собрание сочинений и писем. Т. 1. М., 1999. С. 372.

<sup>56</sup> Карамзин. БП. С. 306.

<sup>57</sup> Остафьевский архив. Т. 1. С. 22.

<sup>58</sup> Карамзин. БП. С. 305. Жуковский. Т. 1. С. 374.

<sup>59</sup> Цит. по: Измайлов. С. 243—244.

<sup>60</sup> О мифологемах российских царей см.: Richard S. Wortman. Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy. V. 1. Princeton University Press, 1995. О противопоставлении двух идеологем в связи с поэмой Пушкина (безжалостный Петр и печальный, чувствующий свою вину, ограниченность своих возможностей Александр). С. 242—243.

<sup>61</sup> Ср.: Измайлов. С. 204.

<sup>62</sup> Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. СПб., 1874. Т. 1. С. 51—52.

<sup>63</sup> «Его Императорскому Величеству Александру I ... на восшествие его на престол» (Карамзин. БП. С. 261, 262).

<sup>64</sup> «На торжественное коронование ... Александра I...» (Там же. С. 268).

<sup>65</sup> Еще в 1900 году Н. Ю. Черняев отметил, что Пушкин видел в Дуге «кроткого, мягкого и рыцарски благородного Александра I» (Н. Ю. Черняев. Критические заметки о Пушкине. Харьков, 1900).

### 3. ПРОБЛЕМЫ ДЕМОКРАТИИ («ДЖОН ТЕННЕР»)

<sup>1</sup> Из работ, не носящих сугубо пропагандистского характера и имеющих исследовательское значение, укажу: Б. М. Марьямов. Об одном примечании к статье А. С. Пушкина «Джон Теннер» // Русская литература. 1962. № 1. С. 64—67; М. П. Алексеев. К статье Пушкина «Джон Теннер» // Временник Пушкинской комиссии. 1966. Л., 1969. С. 50—56 (здесь на стр. 55 имеются ссылки на некоторые замечания о статье Пушкина в различных работах); J. Thomas Show. Pushkin on America: his «John Tenner» // Ordis Scriptus. Festschrift für Dmitrij Tschizhevskij zum 70 Geburtstag. München, 1966. S. 739—756; Илья Фейнберг. Джон Теннер // Илья Фейнберг. Читая тетради Пушкина. М., 1976. С. 127—134.

<sup>2</sup> Абрамович. С. 327—328.

<sup>3</sup> Mémoires de John Tanner, ou trente années dans les déserts de l'Amérique du Nord, traduits sur l'édition originale, publiée à New York, par M. Ernest de Blossville ..., Paris, 1835 // Б. Л. Модзалевский. Библиотека. № 1423. С. 346. Разрезано, заметок нет.

<sup>4</sup> Абрамович. С. 324.

<sup>5</sup> П. В. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. СПб., 1855. С. 421.

<sup>6</sup> Эсхил. Прометей прикованный (пер. В. О. Нилендера). Ст. 448—457, 477—506.

<sup>7</sup> Гесиод. Работы и дни (перевод В. В. Вересаева). С. 191—192.

<sup>8</sup> Ж. А. Кондорсэ. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1936. С. 6, 5.

<sup>9</sup> Жан-Жак Руссо. Трактаты. М., 1969. С. 23, 48, 51, 71.

<sup>10</sup> Вольтер. Стихи и проза. М., 1987. С. 273, 251.

<sup>11</sup> Исая Берлин. Жозеф де Местр и истоки фашизма // Исая Берлин. Философия свободы. Европа. М., 2001. С. 225.

<sup>12</sup> Там же. С. 294, 254.

<sup>13</sup> Там же. С. 244, 254, 265.

<sup>14</sup> Жозеф де Местр. Санкт-Петербургские вечера. С. 58, 75, 77.

<sup>15</sup> Там же. С. 77—78.

<sup>16</sup> Профессор А. П. Куницын читал лицеистам «Право естественное». Под этим заглавием он в 1818—1820 гг. опубликовал в двух частях свою книгу, написанную под сильнейшим влиянием Руссо. Основные идеи этой книги он, очевидно, излагал лицеистам. Курс начинался с вполне руссоистского определения естественной природы человека: «Человек по силе чувственной природы желает только того, что почитает добрым, и отвращается от того, что находит злым» (А. П. Куницын. Право естественное // Русские просветители. Т. 2. М., 1966. С. 205). 24 мая 1817 г. лицеисты сдавали выпускной экзамен по «Праву естественному». См.: «Дней Александровых прекрасное начало...». Пушкинский лицей: наставники и питомцы. СПб., 1996. С. 93.

<sup>17</sup> О руссоизме пушкинской поэмы см.: Ю. М. Лотман. Руссо и русская культура XVIII — начала XIX века // Жан-Жак Руссо. Трактаты. М., 1969. С. 590—598.

<sup>18</sup> Правда, мы не знаем, принадлежат ли эти отчеркивания Пушкину: по словам Б. Л. Модзалевского, несколько слов, написанные карандашом, сделаны «не Пушкина рукой» (Du Pape. Par l'Auteur des Considérations sur la France. Lyon, 1821). См.: Модзалевский. Библиотека. С. 228. № 896.

<sup>19</sup> Considérations sur la France. 1834; Les Soirées de Saint-Petersburg. 1831. (Там же. С. 279. № 1122, 1123).

<sup>20</sup> См.: Б. А. Трубецкой. Пушкин в Молдавии. Кишинев, 1990. С. 350. Ср.: Летопись, 1. С. 234.

<sup>21</sup> Об этом высказывании Пушкина и об источнике цитаты из Ирвинга см. обстоятельную статью: *Б. Марьямов*. Об одном примечании к статье А. С. Пушкина «Джон Теннер» // *Русская литература*. 1962. № 1. С. 64—67.

<sup>21a</sup> Может быть, в этих рассуждениях Пушкина как-то отразились и размышления А. И. Тургенева в письме к Вяземскому от 1 сентября 1836 г.: «Как мое европейство обрадовалось, увидев у Симбирска пароход, плывущий из Нижнего к Саратову и Астрахань. Хотя на нем сидели Татары и Киргизы! Отчизна Вальтера Скотта благодетельствует родине Карамзина и Державина. Татарщина не может долго устоять против этого угольного дыма — Шотландского; он проест ей глаза, и они прояснятся» (Литературный архив. Т. 1. М.; Л., 1938. С. 85). Вяземский переслал копию этого письма Пушкину, и оно находилось в распоряжении последнего во время работы над «Джоном Теннером».

<sup>22</sup> *Alexis de Tocqueville*. De la démocratie en Amérique. Brussels, 1835. О других, впрочем, немногочисленных источниках размышлений Пушкина об Америке и американских индейцах см. в обстоятельной и содержательной статье о «Джоне Теннере»: *J. Thomas Show*. Pushkin on America: His «John Tenner» // *Orbis Scriptus*. Festschrift für Dmitrij Tschizhevskij zum 70 Geburtstag. München, 1966. S. 739—756.

<sup>23</sup> *А. И. Тургенев*. Хроника русского. Дневники (1825—1826) / Изд. подготовил М. И. Гиллельсон. М.; Л., 1964. С. 73.

<sup>24</sup> Там же. С. 515.

<sup>25</sup> Остафьевский архив. Т. III. С. 305.

<sup>26</sup> Там же. С. 298—299.

<sup>27</sup> См.: *Абрамович*. С. 257. Кстати, это предположение объясняет, почему первый том в библиотеке Пушкина был разрезан только в начале (с. 1—45), а второй разрезан целиком. Приобретя книгу, Пушкин посмотрел оглавление в первом томе, вспомнил прочитанное и перешел ко второму. Предположение Шоу, что Пушкин прочитал только второй том Токвиля, таким образом, становится не вполне корректным. Ср.: *J. Thomas Show*. Op. cit. P. 753.

<sup>28</sup> *L. Thomas Show*. Op. cit., p. 754. Перевод: «Пушкинский абзац исполнен самых резких отрицательных обобщений, практически без упоминания положительных явлений или смягчающих обстоятельств, о которых говорит Токвиль, главный пушкинский источник. Он написан негодующим тоном, наполнен риторическими фразами, совершенно чуждыми Токвилю».

<sup>29</sup> Ibid. P. 754.

<sup>30</sup> *Илья Фейнберг*. Незавершенные работы Пушкина. М., 1964. С. 65. Сводку взглядов Пушкина на дворянство и аристократию см.: *Sam Driver*. Pushkin. Literature and Social Ideas. N. Y., 1989. P. 21—52.

<sup>31</sup> *Alexis de Tocqueville*. Democracy in America. N. Y., 1966. P. 305. Перевод: «Ничего не может быть ужаснее тех бедствий, которые он опи-



сывает, он говорит нам о племенах без вождей, семьях, не принадлежащих никакой нации, одиноких людях, гибели могущественных племен, наугад бредущих через снежные и ледяные пустыни Канады. Голод и холод их постоянные спутники, и каждый день может быть их последним днем. Среди таких людей изначальные этические устои утрачивают свое влияние и традиции слабеют. Люди все более превращаются в варваров».

<sup>32</sup> *Н. В. Гоголь*. Духовная проза. С. 79—80.

<sup>33</sup> См.: *В. Э. Вацуро*. Поэтический манифест Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 14. Л., 1991. С. 65—72.

<sup>34</sup> *Ю. Лотман*. О «реализме» Гоголя // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. Вып. II. (Новая серия). Тарту, 1996. С. 11.

<sup>35</sup> *Ф. М. Достоевский*. Полное собрание сочинений. Т. 16. Л., 1976. С. 330.

<sup>36</sup> См.: *В. Э. Вацуро*. Из историко-литературного комментария к стихотворениям Пушкина. [Раздел: «Милость» и «правосудие» в системе социально-этических представлений Пушкина] // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 12. Л., 1986. С. 314—319. Заметим, что автор тоже считает подлинным приведенное Гоголем рассуждение Пушкина (стр. 317).

<sup>37</sup> О безнадежной борьбе элитарного пушкинского кружка с «массовой культурой», «официальным демократизмом» см. в грустной книге *В. Э. Вацуро* «Северные цветы». История альманаха Пушкина—Дельвига». (М., 1978). См. особенно стр. 79—80, 172—173, 196—197. Заканчивая книгу, автор ее приходит к выводу: «“Золотой век” русской поэзии отходил в прошлое...» (стр. 238).

<sup>38</sup> Пушкин здесь обращается к хорошо известному басенному сюжету (Федр, Лафонтен). В России он был дважды обработан в баснях Крылова: «Лисица и Осел», «Лев состарившийся».

<sup>38a</sup> См.: *Белинский*. Т. 7. С. 530—542.

<sup>39</sup> Рассказ о похищении и приключениях Джона Теннера в течение тридцатилетнего пребывания среди индейцев в глубине Северной Америки. М., 1963. С. 307. Ср.: «On the ensuing spring an attempt was made to recover something for my benefit from the estate of my father; but my stepmother sent several of the negroes, which it was thought might fall to me, to the island of Cuba, where they were sold. This business is yet unsettled, and remains in the hands of the lowyers» (*John Tanner. A Narrative of the Captivity of John Tanner During Thirty Years Residence Among the Indians in the Interior of the North America*. Minneapolis, 1956. P. 257—258).

<sup>40</sup> Рассказ о похищении и приключениях Джона Теннера... С. 312—313.

<sup>41</sup> *Alexis de Tocqueville*. Democracy in America. N. Y., 1966. P. 305. Перевод: Я сам встречал Теннера в нижнем конце Верхнего Озера. Он

показался мне более похожим на дикаря, чем на цивилизованного человека. Ср.: *М. П. Алексеев*. Ук. соч. С. 55; Ср. также: *J. Thomas Show*. Op. cit. P. 755—756. Шоу обратил внимание на противоречие начала пушкинской статьи ее заключительному абзацу.

#### 4. ПОСЛЕДНЯЯ ЛИЦЕЙСКАЯ ГОДОВЩИНА

<sup>1</sup> Н. В. Измайлов считал, что стихотворение закончено. См.: *Н. В. Измайлов*. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975. С. 256. Ср. выразительное многоточие в конце белого автографа стихотворения «Осень» (III, 321, 1248) и некоторые другие «оборванные» таким же образом стихотворения.

<sup>2</sup> См.: *Абрамович*. С. 370—375; *Летопись*, 4, 514—515 (1943—1944).

<sup>3</sup> *Абрамович*. С. 373. Письмо С. Н. Карамзиной.

<sup>4</sup> *П. В. Анненков*. Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина. СПб., 1855. С. 425.

<sup>5</sup> Подробный их анализ см.: *Я. Л. Левкович*. Лицейские «годовщины» // Стихотворения Пушкина 1820—1830-х годов. Л., 1974. С. 71—106. Б. С. Мейлах видел в этом цикле в основном политические, антиправительственные мотивы. См.: *Б. Мейлах*. Пушкин и его эпоха. М., 1958. С. 149—170.

<sup>6</sup> См. подборку стихотворений на лицейскую годовщину, написанных Дельвигом, Кюхельбекером и Пушкиным в кн.: *Лирика лицейстов / Вступ. статья, составление и примечания А. Утренева <А. Л. Зорина>*. М., 1991. С. 220—238.

<sup>7</sup> См. об этом: *О. С. Муравьева*. Пушкин и Наполеон (Пушкинский вариант «Наполеоновской легенды») // *Пушкин. Исследования и материалы*. Т. 16. Л., 1991. С. 5.

<sup>8</sup> Там же. С. 9—13.

<sup>9</sup> Впрочем, сам Пушкин двумя годами позднее говорил об этой оде, что «она нехороша» (в письме к А. И. Тургеневу от 1 декабря 1823 — XIII, 78).

<sup>10</sup> См.: «Пророчество Казота» в кн.: *Уолпол, Казот, Бекфорд*. Фантастические повести / Изд. подготовили В. М. Жирмунский и Н. А. Сигал. Л., 1967. С. 245. См. также: *Ростислав Шульц*. Пушкин и Казот. Washington D. C., 1987.

<sup>11</sup> *Жуковский*. Т. 1. С. 373.

<sup>12</sup> *А. С. Пушкин*. Лицейские стихотворения. 1813—1817. СПб., 1994. С. 591—593.

<sup>13</sup> Там же. С. 623—624.

<sup>14</sup> Напомню тогда же написанную (1816) достаточно двусмысленную надпись о любовных утехх императора, опочивающего после воинских и государственных трудов в уединенном дворце Царского Села в объятиях молодой дочери банкира Софьи Велио (Вельо):

Прекрасная! пускай восторгом насладится

В объятиях твоих российских полубог.

Что с участью твоей сравнится?

Весь мир у ног его — здесь у твоих он ног.

«Баболовский дворец был построен в 1784 году в англоготическом стиле на самом краю огромного Баболовского парка в Царском Селе в западной, пустынной его части». — Там же. С. 258, 709—710.

<sup>15</sup> Закату Золотого века русской литературы посвящена упомянутая выше книга В. Э. Вацура ««Северные цветы». История альманаха Дельвига—Пушкина» (М., 1978).

<sup>18</sup> *Шильдер*. Николай I. 2. С. 289.

<sup>17</sup> *Вигель*. Т. 2. С. 124.

<sup>18</sup> *Marquise de Custin. Lettres de Russie. Textes éablies et presentes par Henry Massis. Le livre club de libraire* <s. a., s. l.>. P. 129. *Астольф де Кюстин*. Россия в 1839 году: В двух томах. М., 1996. Т. 1. С. 161, 162—163, 178.

<sup>19</sup> *Современник*. Т. 5. 1837. С. 318.

## ЧАСТЬ II. НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ЗАМЫСЛЫ

### 1. ЗАМЫСЕЛ ПОЭМЫ О ЕРМАКЕ

<sup>1</sup> См.: *А. С. Пушкин*. Рабочие тетради. Т. IV. СПб.; Лондон, 1996; ПД 835, л. 47.

<sup>2</sup> *А. С. Пушкин*. Полное собрание сочинений: В десяти томах. Т. 8. М., 1958. С. 71. Б. В. Томашевский был редактором этого издания.

<sup>3</sup> Обзор материалов о пушкинском замысле см.: *Н. В. Цейтц (Н. В. Алексеева)*. К истории неосуществленного замысла Пушкина об «Ермаке» // *Пушкин. Временник Пушкинской комиссии*. М.; Л., 1939. Вып. 4—5. С. 388—396.

<sup>4</sup> Реконструкция А. М. Пескова. См.: *А. М. Песков*. Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского. М., 1998. С. 165.

<sup>5</sup> Летопись, 2. С. 41—45.

<sup>6</sup> Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского. С. 157.

<sup>7</sup> Там же. С. 160, 163.

<sup>8</sup> *Модзалевский*. Библиотека. С. 131. № 506. Ср.: *Э. Ф. Лобанова*. Михайловская библиотека Пушкина. Попытка реконструкции каталога. М., 1997. С. 45.

<sup>9</sup> *Цейтц*. Ук. соч. С. 391.

<sup>10</sup> *М. М. Херасков*. Взгляд на эпические поэмы // *Русская литературная критика XVIII века*. М., 1978. С. 282. Определение эпической по-

эмы в системе классицизма со ссылками на европейские авторитеты: Батте, Сульцера, Буало и др. См.: *Н. Ф. Остолопов*. Словарь древней и новой поэзии. Ч. II. СПб., 1821. С. 454—523. О поэмах классицизма см.: *А. Н. Соколов*. Очерки по истории русской поэмы XVIII и первой половины XIX века. М., 1955.

<sup>11</sup> См.: *Соколов*. Ук. соч. С. 191—194.

<sup>12</sup> *Э. Ф. Лобанова*. Михайловская библиотека Пушкина. Попытка реконструкции каталога. М., 1997. С. 26.

<sup>13</sup> Русская старина: Карманная книжка для любителей отечественного, на 1825 год, изданная А. Корниловичем. СПб., 1824. Этот сборник Пушкин высоко ценил и очень широко использовал позднее в работе над романом «Арап Петра Великого». О заимствованиях из сборника Корниловича см.: *Альтшуллер*. Эпоха Вальтера Скотта. С. 211—220.

<sup>14</sup> Библиография литературных произведений о Ермаке имеется в книгах: *В. Маслов*. Литературная деятельность К. Ф. Рыльева. Киев, 1912; *Е. Кузнецов*. Библиография Ермака. Опыт указателя малоизвестных сочинений на русском и частью на иностранных языках о покорителе Сибири // Календарь Тобольской губернии на 1892 год. См.: *Цейтц*. Ук. соч. С. 386—387.

<sup>15</sup> Новости литературы. 1825. Кн. XI, январь. С. 48. Не этот, но более поздний номер (октябрь) за 1825 год и три номера (февраль, март и май) за 1826 год сохранились в библиотеке Пушкина в сильно потрепанном с вырванными страницами виде и с его рисунками на обложках. Ср.: *Модзалевский*. Библиотека. С. 129, № 484.

<sup>16</sup> *Гергард-Фридрих Миллер*. Описание Сибирского Царства и всех происшедших в нем дел от начала, а особливо от покорения его Российской Державе по сии времена... СПб., 1750. С. 110, 115—116, 121, 192—193.

<sup>17</sup> *J. E. Fischer*. Sibirische Geschichte von der entdeckung Sibiriens bis auf die Eroberung dieses Lands durch die Russische Waffen... Th. 1—2. St. Petersburg, 1768; *И. Е. Фишер*. Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли российским оружием... СПб., 1774. См.: Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке. Л., 1984. Т. 1. С. 284, № 969; Сводный каталог русской книги XVIII века (1725—1800). М., 1964. Т. II. С. 245—246, № 42390.

<sup>18</sup> *Н. М. Карамзин*. История государства Российского. Кн. 3, тт. IX, X, XI, XII. СПб., 1845. В дальнейшем все ссылки на это издание в тексте: Карамзин, римская цифра — том, арабская — столбец.

<sup>19</sup> *Модзалевский*. Библиотека. С. 64, № 239.

<sup>20</sup> *А. С. Пушкин*. Полное собрание сочинений. Т. 7. Драматические произведения. <с. I.>, 1935. С. 462. Это единственный откомментированный (так называемый «пробный») том Большого академического издания.

<sup>21</sup> *Э. Ф. Лобанова*. Михайловская библиотека Пушкина. Попытка реконструкции каталога. М., 1997. С. 26.

<sup>22</sup> В библиотеке Пушкина сохранилось другое (второе, 1818—1829) издание «Истории», приобретенное, очевидно, позднее. Этим, вероятно, и объясняется отсутствие в нем пушкинских помет: он не обращался к «Истории» Карамзина в последние годы жизни. «Экземпляр переплетенный, совсем свежий, без заметок»: *Модзалевский*. Библиотека. С. 48. № 177.

<sup>23</sup> *Эйдельман*. Последний летописец. С. 119.

<sup>24</sup> О впечатлении, произведенном девятым томом на современников, см.: *В. Вацуро*. Подвиг честного человека // *В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсон*. Сквозь «умственные плотины». М., 1972. С. 61—66; *Эйдельман*. Последний летописец. С. 119—127.

<sup>25</sup> Предизъяснение об ироической пииме // Сочинения Тредьяковского. Т. II. СПб., 1849. С. XXI.

<sup>26</sup> *Н. Ф. Остолопов*. Словарь древней и новой поэзии. I. Репринт: Wilhelm Fink Verlag. Munchen, 1971. С. 466, 521.

<sup>27</sup> *М. М. Херасков*. Взгляд на эпические поэмы // Русская литературная критика XVIII века. М., 1978. С. 282.

<sup>28</sup> Об источниках сведений Пушкина о Камозэнсе см. комментарий в: *А. С. Пушкин*. Лицейские стихотворения 1813—1817. СПб., 1999. С. 562. Полный прозаический перевод «Лузиады» с французского с биографическим очерком Камозэнса появился в России еще в конце XVIII века: Лузияда, ироическая поэма Лудовика Камоеенса. Переведенная с французского де-ла-Гарпова переводу Александром Дмитриевым. Ч. 1—2. М., 1788.

<sup>29</sup> Лузиады, песнь 7, октавы 55—56.

<sup>30</sup> Как известно, во всех рукописных редакциях трагедия заканчивалась криком народа: *Да здравствует царь Дмитрий Иоанович*. Знаменитая ремарка *Народ безмолвствует* появилась только в печатном тексте. Существуют даже сомнения в принадлежности ее Пушкину. Этой проблеме посвящена обширная литература. Последний по времени обзор ее см. в кн.: *А. С. Пушкин*. Борис Годунов / Комментарии Л. М. Лотман. СПб., 1996. С. 348—357. В сущности обе реплики равно зловещи: либо народ одинаково легко и прославляет, и убивает царей, либо мрачное молчание, сменившее первоначальный энтузиазм, также свидетельствует о легкой смене настроений и предвещает новую кровь и смерть.

<sup>31</sup> *Эйдельман*. Последний летописец. С. 126.

<sup>32</sup> Портрет Ермака перепечатан из журнала «Сибирский вестник» в: Очерки истории русской литературы Сибири. Т. 1. Новосибирск, 1982. С. 44 (с подписью: «гравюра с портрета неизвестного художника»).

<sup>33</sup> См.: Ермак. Трагедия в пяти действиях // *А. С. Хомяков*. Стихотворения и драмы / Вступительная статья, подготовка текста и примечания Б. В. Егорова. (Библиотека поэта. Б. с.). Л., 1969. С. 214 и сл.

<sup>34</sup> См.: *Черейский*. С. 165; Русские писатели 1800—1917. Биографический словарь. Т. 2. М., 1992. С. 356—358. (Статья А. А. Карпова).

<sup>35</sup> Р. Зотов. Ермак, или Завоевание Сибири. Историческое представление в 3 действиях с хорами и маршами. Драма. Российское сочинение. Представлена в первый раз в Санктпетербурге на большом театре Маия 20 дня 1818 года в пользу актера Г. Щеникова // Санкт-Петербургская театральная библиотека. Шифр: 1, XV, 4, 32. В Биографическом словаре ошибка. Здесь сказано, что пьеса — в одном действии. В дальнейшем ссылки на страницы пьесы — в тексте.

<sup>36</sup> История русского драматического театра. Т. 2. М., 1977. С. 474.

<sup>37</sup> И. В. Немировский. Статья А. С. Пушкина «Александр Радищев» и общественная борьба 1801—1802 годов // XVIII век. Сб. 17. СПб., 1991. С. 124, прим. 6.

<sup>38</sup> Арзамас. Кн. 2. Из литературного наследия «Арзамаса» / Под общей редакцией В. Э. Вацуро и А. Л. Осповата. М., 1994. С. 82, 464—473; О полемике вокруг гекзаметра см. также: *Richard Burgi. A History of Russian Hexameter. The Show String press, 1954; А. Н. Езунов. Гомер в русских переводах XVIII—XIX веков. М.; Л., 1964; Альтшуллер. Предтечи.*

<sup>39</sup> Арзамас. Кн. 2. С. 92.

<sup>40</sup> См.: М. Л. Гаспаров. Очерк истории русского стиха. М., 1984. С. 127—130.

<sup>41</sup> См.: В. В. Каннист. Краткое разыскание о гиперборях (о коренном российском стихосложении) // В. В. Каннист. Собрание сочинений: В двух томах. М.; Л., 1960. Т. 2. С. 176—178, 563.

<sup>42</sup> Там же. С. 193.

<sup>43</sup> Арзамас. Кн. 2. С. 93.

<sup>44</sup> Поэты 1790—1810-х годов. (Библиотека поэта. Б. с.). Л., 1971. С. 278.

<sup>45</sup> Жуковский. С. 311.

<sup>46</sup> О жанровой природе пушкинской поэмы, о соотношении ее с замыслом Жуковского, о литературных спорах 1810-х гг. в этой связи см.: Кошелев. См. также: О. Проскурин. Мнимая поэма: «Руслан и Людмила» // Олег Проскурин. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 199. С. 15—55; *Mark Altshuller. Pushkin's Ruslan and Liudmila and the Traditions of the Mock-Epic poem // The Golden Age of Russian Literature and Thought / Ed. by Derek Offord. N. Y. 1992. P. 7—23.* См. также в настоящем издании с. 201—214.

<sup>47</sup> См.: М. Альтшуллер. Поэмы С. А. Ширинского-Шихматова // Альтшуллер. Предтечи. С. 106—136.

<sup>48</sup> В. К. Кюхельбекер. Путешествие. Дневник. Статьи / Изд. подготовили [М. Г. Альтшуллер], Н. В. Королева. Л., 1979. С. 468.

<sup>49</sup> Олег Проскурин. Литературные скандалы пушкинской эпохи. М., 2000. С. 232—239.

<sup>50</sup> Кюхельбекер. Путешествие. Дневник. Статьи. С. 492. Ср.: Проскурин. Ук. соч. С. 236.

<sup>51</sup> М. Л. Гаспаров. Записи и выписки. М., 2000. С. 405.

<sup>51a</sup> С. М. Бонди. Пушкин и русский гекзаметр // С. М. Бонди. О Пушкине: Статьи и исследования. М., 1978.

<sup>52</sup> Отмечено В. А. Кошелевым. См.: В. А. Кошелев. Первая книга Пушкина. Томск, 1997. С. 96.

<sup>53</sup> Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника / Изд. подготовили Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. Л., 1984. С. 239, 650—652.

<sup>54</sup> М. Л. Гаспаров. Очерк истории русского стиха. М., 1984. С. 144—145.

<sup>55</sup> Жуковский. Т. 2. С. 412.

<sup>56</sup> См.: Mark Altshuler. Pushkin's *Ruslan and Liudmila* and the Traditions of the Mock-Epic poem // The Golden Age of Russian Literature and Thought / Ed. by Derek Offord. N. Y.: St. Martin's Press, 1992. P. 7—23. См. также: Наст. изд. С. 201—214.

<sup>57</sup> См.: С. В. Житомирская. А. О. Смирнова-Россет и ее мемуарное наследие // Смирнова-Россет. С. 628.

<sup>58</sup> Там же. С. 629—631.

<sup>59</sup> Записки А. О. Смирновой, урожденной Россет. М., 1999. С. 165, 184.

## 2. НЕЗАКОНЧЕННАЯ ПОЭМА О ТАЗИТЕ

<sup>1</sup> Современник. 1837. Т. 7. У Пушкина поэма не имела названия.

<sup>2</sup> Влиянию Вальтера Скотта на Пушкина посвящена не утратившая своей ценности (к сожалению, неопубликованная) монография Д. П. Якубовича (1940). Отдельные главы ее напечатаны в виде статей: Предисловие к «Повестям Белкина» и повествовательные приемы Вальтер Скотта // Пушкин в мировой литературе. Сборник статей. Л., 1926; Роль Франции в знакомстве России с романами Вальтер Скотта // Язык и литература. Т. 5. РАНИОН, Научно-исследовательский институт сравнительной истории литератур и языков запада и востока. Л., 1930. С. 137—183; «Капитанская дочка» и романы Вальтера Скотта // Пушкин. Временник. Вып. 4—5. М.; Л., 1939. С. 165—197; «Арап Петра Великого» // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 9. Л., 1979. Большой раздел об отношении Пушкина к Вальтеру Скотту см.: *Альтшуллер*. Эпоха Вальтера Скотта. Там же литература вопроса. В этой книге речь идет только о прозе (осуществленных и неосуществленных исторических романах) Пушкина.

<sup>3</sup> Литературная хроника. 1838 // *Белинский*. Т. 2. Все цитаты по этому изданию с указанием на том (арабской цифрой) и страницу в тексте.

<sup>4</sup> Статьи о Пушкине. Статья одиннадцатая.

<sup>5</sup> П. В. Анненков. Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина // Сочинения Пушкина. Т. 1. СПб., 1855. С. 223—226.

<sup>6</sup> См.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 391—392. Следует указать на не попавший в эту итоговую книгу подробный разбор поэмы в кн.: *Благой*. С. 377—378. Благой конструирует возмож-

ное продолжение поэмы: Тазит должен перейти на русскую службу. Гасуб убивает сына. Замысел Пушкина, таким образом, с точки зрения Благого, предваряет «Тараса Бульбу», и исследователь не исключает, что Пушкин подарил Гоголю свой сюжет.

<sup>7</sup> В. Л. Комарович. Вторая кавказская поэма Пушкина // Пушкин. Временник пушкинской комиссии. Вып. 6. М.; Л., 1941. С. 227 и сл.

<sup>8</sup> В. Б. Сандомирская в кн.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. С. 390; Г. Турчанинов. К изучению поэмы Пушкина «Тазит» // Русская литература, 1962. № 1. С. 42—43.

<sup>9</sup> См.: Г. Турчанинов. Ук. соч. С. 38—54. На стр. 38 — литература вопроса.

<sup>10</sup> Д. П. Якубович. Лермонтов и Вальтер Скотт // Известия Академии Наук СССР. Отделение общественных наук. 1935. № 3. С. 262.

<sup>11</sup> Докторская диссертация Д. П. Якубовича «Пушкин и Вальтер Скотт» осталась неопубликованной (см. прим. 2 к данной главе). О работе Якубовича над этой проблемой см. некролог Якубовичу, написанный Б. В. Томашевским в: Временник Пушкинской комиссии. Вып. 6. М.; Л., 1941. С. 8—9.

<sup>12</sup> См.: Ю. Д. Левин. Прижизненная слава Вальтера Скотта в России // Эпоха романтизма. Л., 1975. С. 5—29.

<sup>13</sup> James Corson. A Bibliography of Sir Walter Scott. Edinburgh & London, 1943. P. 269.

<sup>14</sup> Ю. Д. Левин. Ук. соч. С. 501.

<sup>15</sup> Иоганн Петер Эккерман. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М., 1981. С. 260.

<sup>16</sup> Трудно сказать, по какому изданию Пушкин знакомился с «Пертской красавицей». Он мог читать и русский, и французский текст, мог обратиться и к оригиналу, т. к. в конце 1820-х — начале 1830-х гг. уже читал по-английски. Мы цитируем роман Вальтера Скотта по изданию: The Waverly Novels by Sir Walter Scott, Bart Edinburgh, 1879. V. 42—43. В дальнейшем все ссылки на том и страницу даются в тексте.

<sup>17</sup> См.: Анненков. Материалы для биографии Пушкина. С. 226.

<sup>18</sup> См.: Я. Л. Левкович. Кавказский дневник Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 12. Л., 1983. С. 5—26.

<sup>19</sup> Литературная газета А. С. Пушкина и А. А. Дельвига. 1830 год. № 1—13. М., 1988. С. 108—109.

<sup>20</sup> См.: VIII, 1006.

<sup>21</sup> См.: Harold A. Small. The Field of His Fame (A Ramble in the Curious History of Charles Wolf's Poem «The Burial of Sir John Moore»). Berkeley and Los Angeles, 1953. P. 1—49.

<sup>22</sup> John Mersereau. Jr. Baron Delvig's Northern Flowers 1825—1832. (Literary Almanac of the Pushkin Pleiad). Carbondale and Edwardsville, 1976. P. 82. См. также: М. П. Алексеев. Русско-английские литературные связи (XVIII век — первая половина XIX века) // Литературное наследство. Т. 91. М., 1982. С. 749, 816—817.



<sup>23</sup> И. И. Козлов. Полное собрание стихотворений. (Библиотека поэта. Б. с.). Л., 1960. С. 99—100.

<sup>24</sup> См.: Словарь языка Пушкина. М., 1964. Т. 4. С. 672.

<sup>25</sup> А. С. Пушкин. Рабочие тетради. Т. VII. СПб.; Лондон, 1996; ПД 842. Л. 7.

<sup>26</sup> Анненков. Материалы для биографии Пушкина. С. 223—226.

<sup>27</sup> Hamlet, II: 2, 191.

<sup>28</sup>

Все это, видите ль, слова, слова, слова.

Иные, лучшие мне дороги права...

(Из Пиндемонта, 1836)

Слова, выделенные курсивом, который в XVIII — первой половине XIX века часто заменял кавычки, сопровождаются примечанием Пушкина: Hamlet. В одном из черновиков предыдущая строка начиналась: Как Гамлет... (см.: III, 420, 1031, 1269).

<sup>29</sup> См.: Т. Г. Цявловская. Рисунки Пушкина. С. 72—73; Ср.: XVIII, 221.

<sup>30</sup> Турчанинов. Ук. соч. С. 45.

<sup>31</sup> См. свидетельства М. И. Пушина, Н. И. Ушакова, М. В. Юзефовича (Пушкин в воспоминаниях. Т. 2. С. 91, 404, 405).

<sup>32</sup> Черейский. С. 51, 73, 90, 193, 335, 340—341, 373, 403, 463.

<sup>33</sup> [М. Г. Альтшуллер], Н. В. Королева. Личность и литературная позиция Кюхельбекера // В. К. Кюхельбекер. Путешествие. Дневник. Статьи. / Издание подготовили [М. Г. Альтшуллер], Н. В. Королева. Л., 1979. С. 577—580.

<sup>34</sup> См. рассказ С. А. Соболевского в кн.: Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 7. Впрочем, существует и другое свидетельство, что отъезд из Михайловского едва не произошел уже после восстания декабристов. См.: Там же. Т. 1. С. 425, 537.

<sup>35</sup> См.: Эйдельман. Пушкин. Из биографии. С. 29—50.

<sup>36</sup> Полностью строка читается: «И я бы мог, как шут на...». См.: III, 461, 1055, 1282 и XVIII, 109.

<sup>37</sup> См., например, статью А. Ахматовой «Каменный гость» Пушкина в: Анна Ахматова. Сочинения. Т. 2. Мюнхен, 1968. С. 257—274.

<sup>38</sup> Ср.: Там же. С. 266—267.

<sup>39</sup> На это сходство обратил внимание А. Лапчинский в брошюре: Заметка о «Скупом рыцаре» Пушкина. М., 1924.

### 3. ПЛАНЫ ПОВЕСТИ О СТРЕЛЬЦАХ

<sup>1</sup> VIII, 430—431. Здесь записи, относящиеся к этому замыслу, условно названы «Планы повести о стрельце». Четыре плана воспроизведены в издании: А. С. Пушкин. Рабочие тетради. СПб.; Лондон, 1995—1996. Т. III (ПД 831. Л. 60 об.); т. V (ПД 837. Л. 45).

<sup>2</sup> На это обстоятельство обратили внимание А. Б. Рогачевский и Д. О. Серов. См. их вступительную статью «Литератор Масальский» в кн.: *К. П. Масальский*. Стрельцы. Русский Икар. Черный ящик. М., 1994. С. 12—14.

<sup>3</sup> *Модзалевский*. Библиотека. С. 63, № 231.

<sup>4</sup> ПД. Ф. 244. Оп 1. № 24. Л. 60 об. Ср.: Рабочие тетради. Т. III (ПД 836. Л. 60).

<sup>4</sup> ПД. Ф. 244. Оп 1. № 836. Л. 45 об. Ср.: Рабочие тетради. Т. V (ПД 837. Л. 45).

<sup>6</sup> См.: *Альтшуллер*. Эпоха Вальтера Скотта.

<sup>7</sup> См.: *Н. К. Телетова*. История рода Ржевских // Род и предки Пушкина / Ред.-составитель С. А. Никитин. М., 1995. С. 335—338.

<sup>8</sup> На это обратили внимание А. Рогачевский и Д. Серов. См.: *Масальский*. Стрельцы... С. 13.

<sup>9</sup> Роман этот находился в поле зрения Пушкина. Он имелся в его библиотеке. В «Дубровском» встречаются реминисценции из «Гая Мэннеринга». См.: *И. В. Зборовец*. «Дубровский» и «Гай Мэннеринг» // *Временник Пушкинской комиссии*. 1974. Л., 1977. С. 132—136.

<sup>10</sup> *Листов*. С. 103—121.

<sup>11</sup> *Д. П. Якубович*. «Арап Петра Великого» // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 9. Л., 1979. С. 289—290.

<sup>12</sup> X, 87, 96. Отметка NB воспроизведена Б. В. Томашевским только в: *А. С. Пушкин*. Полное собрание сочинений: В десяти томах. М., 1957. Т. 9. С. 161. Ср. *Листов*. С. 106.

<sup>12a</sup> IX, 98, 109. Отметка NB воспроизведена только в: *А. С. Пушкин*. Полное собрание сочинений: В десяти томах. М., 1957. Т. 6. С. 805. Ср. *Листов*. С. 103, 104.

<sup>13</sup> Этот жестокий указ привлек внимание не одного Пушкина. Много позднее М. Загоскин в романе «Русские в начале осемнадцатого столетия. Рассказ из времен единодержавия Петра I» (1848) делает указ 1706 года вместе с последующими дополнениями важным событием, определяющим сюжетное движение произведения. Любопытно заметить, что и «письмо Петра», фигурирующее в пушкинском плане, находит место в романе Загоскина.

<sup>14</sup> Цит. по: *Листов*. С. 107.

<sup>15</sup> X, 146. Современная историография считает текст письма Петра I в анекдотах Штелина подделкой. См.: *Листов*. С. 107—108. Там же основная литература вопроса.

<sup>16</sup> *Staehlin*. Original Anecdotes of Peter the Great, Collected from the Conversation of Several Persons of Distinction at Petersburg and Moscow by Mr. Staehlin. London, 1778. P. 66—67.

<sup>17</sup> X, 138. Ср.: *Листов*. С. 108. Помета: NB NB — воспроизведена только в: *А. С. Пушкин*. Полное собрание сочинений: В десяти томах. М., 1957. Т. 9. С. 255. Ср.: *Листов*. С. 103, 104.

<sup>18</sup> *Д. П. Якубович*. «Арап Петра Великого» // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 9. Л., 1979. С. 290.

<sup>19</sup> М. И. Гиллельсон. Отзыв современника о «Пире Петра Первого» Пушкина // Временник Пушкинской комиссии, 1962. М.; Л., 1963. С. 49—51.

<sup>20</sup> См.: *Илья Фейнберг*. Незавершенные работы Пушкина. М., 1964.

<sup>21</sup> М. Погодин. Письмо о русских романах // Северная лира на 1827 год / Изд. подготовили Т. М. Гольц и А. Л. Гришунин. М., 1984. С. 138.

<sup>22</sup> К. В. Чистов. Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв. М., 1967. С. 99.

<sup>23</sup> Там же. С. 108—109.

<sup>24</sup> А. П. Щапов. Сочинения. СПб., 1906. Т. 1. С. 567—569.

<sup>25</sup> См. об этом (со ссылкой на разговор с Д. П. Якубовичем) статью Н. В. Измайлова: «Роман на Кавказских водах». Неосуществленный замысел Пушкина // Н. В. Измайлов. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975. С. 209.

<sup>26</sup> Д. П. Якубович. «Арап Петра Великого» // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 9. Л., 1979. С. 290.

<sup>27</sup> О связях «Арапа» с «Повестью о стрельце» см.: Г. А. Лапкина. К истории создания «Арапа Петра Великого» // Пушкин. Исследования и материалы. Т. II. М.; Л., 1958. С. 293—309.

#### 4. МИСТИФИКАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ПРЕДАНИЯ

<sup>1</sup> Существует много предположений и гипотез, почему «Арап Петра Великого» остался незавершенным. См.: С. Л. Абрамович. К вопросу о становлении повествовательной прозы Пушкина. Почему остался незавершенным «Арап Петра Великого» // Русская литература. 1974. № 2. С. 54—73 (там же литература вопроса); *Альтшуллер*. Эпоха Вальтера Скотта. С. 207—221.

<sup>2</sup> *Модзалевский, Муравьев*. Родословная роспись. С. 424.

<sup>3</sup> Там же. С. 197.

<sup>4</sup> *Леонид Гроссман*. Пушкин. М., 1958. С. 10.

<sup>5</sup> Р. В. Овчинников. К изучению автобиографических записок А. С. Пушкина (Версия об участии Льва Александровича Пушкина в дворцовом перевороте 1762 года) // История СССР. 1988. № 3. С. 156—165.

<sup>6</sup> *Овчинников*. Ук. соч. С. 160.

<sup>7</sup> С. К. Романюк. К биографии родных Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 23. Л., 1989. С. 10.

<sup>8</sup> *Овчинников*. Ук. соч. С. 164—165. Документы об участии Л. А. Пушкина в церемонии встречи императрицы были обнаружены С. К. Романюком. См.: С. К. Романюк. К биографии родных Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 23. Л., 1989. С. 10.

<sup>9</sup> *Овчинников*. Ук. соч. С. 165.

<sup>10</sup> А. Брикнер. История Екатерины Второй. СПб., 1885. Т. 1. С. 135. Подробный просмотр архивных документов, произведенный для очист-

ки совести Р. В. Овчинниковым, не обнаружил имени Л. А. Пушкина среди людей, замешанных в перевороте 1762 г. на стороне свергнутого императора: *Овчинников*. Ук. соч. С. 162—163.

<sup>11</sup> *В. П. Старк*. Пушкин и семейные предания его рода // *Легенды и мифы о Пушкине*. СПб., 1995. С. 69.

<sup>12</sup> *Овчинников*. Ук. соч. С. 158.

<sup>13</sup> *Пушкин*. Письма / Под ред. и с примечаниями Б. Л. Модзалевского. М., 1928. Т. 2. С. 469.

<sup>14</sup> Ср. также: XII, 311.

<sup>15</sup> *М. О. Вегнер*. Предки Пушкина / Род и предки Пушкина. М., 1995. С. 184—185; Ср.: *Модзалевский, Муравьев*. Родословная роспись. С. 418, № 297.

<sup>16</sup> *А. С. Пушкин*. Письма к жене. Л., 1986. С. 14.

<sup>17</sup> *Эйдельман*. Пушкин. История. С. 13.

<sup>18</sup> Там же. С. 13.

<sup>19</sup> *Романюк*. Ук. соч. С. 10. Автор ссылается на: *А. Чичерин*. История лейб-гвардии Преображенского полка. СПб., 1883. Т. 4. С. 179.

<sup>20</sup> *Модзалевский, Муравьев*. Родословная роспись. С. 418, 300; *Михаил Лонгинов*. Последние годы жизни А. П. Сумарокова // *Русский архив*. 1871. № 10. Стлб. 1691—1692.

<sup>21</sup> См.: *Модзалевский, Муравьев*. Родословная роспись. С. 418, № 299; *В. В. Пухов*. Пушкин М. А. // *Словарь русских писателей XVIII века*. Вып. 2 (К—П). СПб., 1999. С. 506—507.

<sup>22</sup> *Е. Р. Дашкова*. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 69.

<sup>23</sup> См.: *Пухов*. Пушкин М. А. С. 506.

<sup>24</sup> *Дашкова*. Записки. С. 79.

<sup>25</sup> Записки княгини Дашковой (Лондон, 1859). М., 1990. С. 78—79. Цитируются разные издания мемуаров Дашковой, т. к. существуют разные варианты рукописи «Записок». См.: *С. С. Дмитриев, Г. А. Веселая*. Записки княгини Дашковой и письма сестер Вильмот из России // *Е. Р. Дашкова*. Записки. — Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 5—32; См. также: *Н. Эйдельман*. Записки княгини Е. Р. Дашковой. Комментарии // *Справочный том к запискам Е. Р. Дашковой, Екатерины II, И. В. Лопухина*. М., 1992. С. 255—256.

<sup>26</sup> Записки княгини Дашковой. М., 1990. С. 81.

<sup>27</sup> *Модзалевский, Муравьев*. Родословная роспись. С. 418.

<sup>28</sup> *Михаил Лонгинов*. Последние годы жизни А. П. Сумарокова // *Русский архив*. 1871. № 10. Стлб. 1691—1692; *В. Грибовский*. Процесс братьев Пушкиных и Сукина // *Вестник всемирной истории*. 1900. № 1. С. 145—155.

<sup>29</sup> *П. А. Радищев*. Биография А. Н. Радищева // *Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями*. М.; Л., 1959. С. 72.

<sup>30</sup> См.: *Лонгинов*. Ук. соч. Стлб. 1692.

<sup>31</sup> *В. В. Пухов*. Пушкин Михаил Алексеевич // *Словарь русских писателей XVIII века*. Вып. 2 (К - П). СПб., 1999. С. 506—507.

- <sup>32</sup> *Модзалевский, Муравьев.* Родословная роспись. С. 418.
- <sup>33</sup> *Пухов.* Ук. соч. С. 506.
- <sup>34</sup> Иртыш, превращающийся в Иппокрену. 1790, январь. С. 51—52. См.: *М. Г. Альтишуллер.* Литературная жизнь Тобольска 90-х годов XVIII века // Освоение Сибири в эпоху феодализма (XVIII—XIX вв.). Новосибирск, 1968. С. 180.
- <sup>35</sup> *Н. П. Николев.* Творения. Ч. 4. М., 1797. С. 181. Ср.: *Альтишуллер.* Ук. соч. С. 180.
- <sup>36</sup> См.: *Черейский.* С. 349.
- <sup>37</sup> См.: *М. И. Гиллельсон.* Пушкин и «Записки» Е. Р. Дашковой // Прометей. Т. 10. М., 1974. С. 132—151; см. так же: XV, 562—566.
- <sup>38</sup> *Гиллельсон.* Ук. соч. С. 140.
- <sup>39</sup> *Б. Л. Модзалевский.* Библиотека. С. 185, 237.
- <sup>40</sup> *К. К. Рюльер.* История и анекдоты революции в России в 1762 г. // Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л., 1989. С. 291.
- <sup>41</sup> «Les gardes Siméonoffsky et Préobraginsky <sic! — М. А.> imitoient déjà ceux d’Ismailoff. Les officiers se mettoient docilement à la tête de leurs compagnies, comme s’ils anoient été du complot. Deux seuls, du regiment Préobraginsky, osèrent s’opposer à leurs soldats; mais ils furent soudain arrêtés; et parmi ceux qui étoient gagnés, il ne manqua que le major Tschépéloff et le lieutenant Pouschkin, que l’imperatrice envoya mettre aux arrêts, en disant qu’elle n’avoit plus besoin d’eux» (*J. Castera.* Histoire du Catharine II, Imperatrice du Russe. Paris, 1809. Œ. I. P. 362—363). Это то самое издание, которое имелось в библиотеке Пушкина.
- <sup>42</sup> *Сергей Пушкин.* Об отрывке из дневника А. С. Пушкина // Современник. 1840. № 3, май—июнь. С. 102.
- <sup>43</sup> См. об этом статью Ю. М. Лотмана «Идейная структура «Капитанской дочки»» (*Лотман.* С. 213—227).
- <sup>44</sup> См.: VIII, 430—431, 1063. О реконструкции замысла см.: *В. С. Листов.* «Сын казненного стрельца» — неосуществленный замысел Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 13. Л., 1989. С. 103—121; *Альтишуллер.* Эпоха Вальтера Скотта. С. 225—240; а также главу «Планы повести о стрельцах» наст. изд.

## ЧАСТЬ III. ПРОБЛЕМЫ ЖАНРА

### «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» И ТРАДИЦИИ ИРОИ-КОМИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ

- <sup>1</sup> *Белинский.* Т. 7. С. 362, 367.
- <sup>2</sup> *Томашевский.* С. 299, 365.
- <sup>3</sup> *Томашевский.* С. 340—356. Обзор критических высказываний современников о поэме «Руслан и Людмила» см.: *Кошелев.* С. 154—171;

критические отклики на поэму собраны в кн.: Пушкин в прижизненной критике. С. 25—107.

<sup>4</sup> А. Ф. Воейков. К Ж<уковскому> // Поэты 1790—1810-х годов. (Библиотека поэта. Б. с.). Л., 1971. С. 278.

<sup>5</sup> В. А. Жуковский. Стихотворения (Библиотека поэта. Б. с.). Л., 1956. С. 139—146.

<sup>6</sup> Томашевский. С. 302.

<sup>7</sup> Этим термином определяет «Руслана и Людмилу» А. Н. Соколов в своей книге «Очерки по истории русской поэмы XVIII и первой половины XIX века» (М., 1955. С. 410—444).

<sup>8</sup> См.: А. Ф. Воейков. Разбор поэмы «Руслан и Людмила», соч. Александра Пушкина // Пушкин в прижизненной критике. 1820—1827. С. 36; А. Е. Измайлов. Поэма в шести песнях. Соч. А. Пушкина // Там же. С. 74. Ср.: Томашевский. С. 344, 351.

<sup>9</sup> И. В. Киреевский. Полное собрание сочинений. М., 1861. Т. 1. С. 6.

<sup>10</sup> Там же. С. 8.

<sup>11</sup> .....ЕВ. К издателю «Сына отечества» // Пушкин в прижизненной критике. 1820—1827. С. 29.

<sup>12</sup> Цит. по: Томашевский. с. 353.

<sup>13</sup> Письмо Дмитриева не сохранилось, но в ответном письме от 7 июня 1820 г. Карамзин пишет: «<...> ты, по моему мнению, не отдаешь справедливости таланту или поэжке молодого Пушкина, сравнивая ее с “Энеидою” Осипова» (Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 290).

<sup>14</sup> Макогоненко. С. 25.

<sup>15</sup> Василий Майков. Избранные произведения (Библиотека поэта. Б. с.). М.; Л., 1966. С. 93, 95.

<sup>16</sup> Там же. С. 110.

<sup>17</sup> Вергилий. Энеида, кн. IV, ст. 160—173.

<sup>18</sup> Gertrude Jobes. Dictionary of Mythology, Folklore, and Symbols. V. 2. New York, 1961. P. 300.

<sup>19</sup> Мифы народов мира. Т. 2. М., 1982. С. 311.

<sup>20</sup> Поэма напечатана в кн.: Под именем Баркова. Эротическая поэзия XVIII — начала XIX века. М., 1994. С. 109—144, 385—386.

<sup>21</sup> См.: Ж. Ф. Жаккар. Между «до» и «после». Эротический элемент в поэме Пушкина «Руслан и Людмила» // Russian Studies. СПб., 1994. № 1. С. 156—181.

<sup>22</sup> Современный исследователь отмечает, что «Неистовый Роланд» совмещает в себе комическое и серьезное начала и может быть назван смешанным или серьезно-комическим эпосом («medley epics» or «serious-comic romances»). Он рассматривает творение Ариосто в ряду предшественников иронии-комической поэмы XVIII века. См.: Ulrich Broich. The Eighteenth-Century Mock-Heroic Poem. Cambridge, 1990. P. 8—9, 183).

<sup>23</sup> Томашевский. С. 349; Макогоненко. С. 26.

<sup>24</sup> См.: *Макогоненко*. С. 23—25.

<sup>25</sup> *М. М. Бахтин*. Формы времени и хронотопа в романе (Очерки по исторической поэтике) // *М. М. Бахтин*. Литературно-критические статьи. М., 1986. С. 124—125.

<sup>26</sup> Сопоставление текстов Жуковского и Пушкина см. в подробном комментарии М. А. Цявловского: *А. С. Пушкин*. Тень Баркова. Тексты. Комментарии. Экскурсы. М., 2002. С. 256—264, 328—329; см. также: *Алексей Перонов*. Русский юмор. Невидимая часть айсберга // Барков и барковиана. Русская эротическая поэзия. СПб., 1992. С. 24—26.

<sup>27</sup> *В. А. Жуковский*. Стихотворения. С. 394.

<sup>28</sup> Цитируется первое издание поэмы 1820 года.

<sup>29</sup> См.: *Р. В. Иезуитова*. Жуковский и его время. Л., 1989. С. 200—201.

<sup>30</sup> *Белинский*. Т. 7. С. 362.

<sup>31</sup> *Alexandr Pushkin*. Eugene Onegin. A Novel in verse / Translated from the Russian, with a Commentary, by Vladimir Nabokov. V. 2. Princeton, 1981. P. 255.

<sup>32</sup> *Ю. Д. Левин*. Оссиан в России // *Джеймс Макферсон*. Поэмы Оссиана / Издание подготовил Ю. Д. Левин. Л., 1983. С. 527—528. Ср.: *Ю. Д. Левин*. Оссиан в русской литературе. Л., 1980. С. 134—135.

<sup>33</sup> См.: *Д. М. Шарыпкин*. Скандинавская тема в русской романтической литературе // Ранние романтические веяния. Л., 1972. С. 97—102.

<sup>34</sup> См.: Сводный каталог русской книги XVIII века, 1725—1800. М., 1964. Т. 2. С. 212—213, № 4020.

<sup>35</sup> См.: *Шарыпкин*. Скандинавская тема. С. 102—104.

<sup>36</sup> *К. Н. Батюшков*. Полное собрание стихотворений (Библиотека поэта. Б. с.). М.; Л., 1964. С. 200—202. Кстати, вероятно, реминисценцией из стихотворения Батюшкова является у Пушкина строка в «Песни о вещем Олеге»: «И волны и суша покорны тебе». Ср.: «И море, и суша покорствуют нам!»

<sup>37</sup> «<Елисавета> была супругою Гаральда, принца Норвежского. В юности своей выехав из отечества, он служил князю Ярославу, влюбился в прекрасную дочь его, Елисавету и, желая быть достойным ее руки, искал великого имени в свете. Гаральд отправился в Константинополь; вступил в службу Императора восточного; в Африке и Сицилии побеждал неверных; ездил в Иерусалим для поклонения Святым Местам, и через несколько лет, с богатством и славою возвратясь в Россию, женился на Елисавете, которая одна занимала его воображение среди всех блестящих подвигов геройства... Елисавета *не презирала его*: он следовал единственно обыкновению тогдашних нежных Рыцарей, которые всегда жаловались на мнимую жестокость своих любовниц» (*Н. М. Карамзин*. История государства Российского. М., 1991. Т. II—III. С. 23—24, 206—207). Прозаический перевод «Песни», см.: Там же. С. 206.

<sup>38</sup> The Poems of Ossian, Translated by James Macpherson, Esq. New York, <1846>. P. 222, 223.

<sup>39</sup> Московский журнал. 1791. Ч. 2. С. 120, 121.

<sup>40</sup> The Poems of Ossian. P. 223.

<sup>41</sup> Там же. С. 224.

<sup>42</sup> Московский журнал. 1791. Ч. 2. С. 124.

<sup>43</sup> Пушкин в прижизненной критике. С. 26—27. Ср. *Томашевский*. С. 322, 340—341. Ср.: IV, 282—284.

<sup>44</sup> *Василий Майков*. Избранные произведения. С. 91, 92, 103.

<sup>45</sup> *Томашевский*. С. 296—297. См. также: *Кошелев*. С. 6.

<sup>46</sup> *Н. М. Карамзин*. История государства Российского. Т. 1. М., 1989. С. 105, 106.

<sup>47</sup> Там же. С. 161, 297.

<sup>48</sup> Там же. С. 161.

<sup>49</sup> Там же. С. 157, 161.

<sup>50</sup> *Олег Проскурин*. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999. С. 52. Нужно отметить, правда, что увлечение интертекстуальностью приводит иногда автора к вполне произвольным, хотя и забавным выводам. Таково, например, сопоставление стихов Пушкина и Жуковского со знаменитой «Одой Приапу» Баркова (с. 48—52).

## «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»: ET IN ARCADIA EGO

<sup>1</sup> *Надежда Мандельштам*. Воспоминания. Нью-Йорк, 1970. С. 271.

<sup>2</sup> *Белинский*. Т. 7. С. 502.

<sup>3</sup> *Д. И. Писарев*. Сочинения: В четырех томах. Т. 3. М., 1956. С. 319.

<sup>4</sup> Там же. С. 358.

<sup>5</sup> *Г. А. Гуковский*. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957. С. 129.

<sup>6</sup> *С. М. Даниэль*. Библиейские сюжеты. СПб., 1994. С. 26. Пользуюсь случаем поблагодарить С. М. Даниэля за ценные советы и замечания, высказанные им при обсуждении замысла этой работы.

<sup>7</sup> Цит. по: *Н. Л. Бродский*. «Евгений Онегин» — роман Пушкина. Пособие для учителя. М., 1964. С. 8.

<sup>8</sup> *Е. С. Хаев*. Идиллические мотивы в «Евгении Онегине» // Болдинские чтения. Горький. 1981. С. 82—104.

<sup>9</sup> См. об этом содержательную книгу: *В. Э. Вацуро*. Лирика пушкинской поры («Элегическая школа»). СПб., 1994.

<sup>10</sup> См.: *Н. Д. Кочеткова*. Тема «Золотого века» в литературе русского сентиментализма // XVIII век. Сб. 18. СПб., 1993. С. 172—186.

<sup>11</sup> «I, too, was born, or lived in Arcady; Ay, ay, death is even in Arcadia (Even in Arcady there an I (Death))» (*Erwin Panofsky*. Et in Arcadia ego: Poussin and the Elegiac Tradition // *E. Panofsky*. Meaning in the Visual Arts. N. Y., 1955. P. 295, 296, 307).



<sup>12</sup> *Лотман*. Комментарий. С. 18—23.

<sup>13</sup> «...Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов» (Пушкин в воспоминаниях. Т. 2. С. 107).

<sup>14</sup> О перерождении, возрождении Онегина, превращении его в декабриста пишет Г. А. Гуковский в кн. «Пушкин и проблемы реалистического стиля» (М., 1957. С. 250 и сл.). С. М. Бонди говорит об этом еще более определенно: «Все это делает достаточно вероятным предположение исследователей творчества Пушкина о том, что в последних главах задуманного Пушкиным большого варианта «Онегина» действие должно было развиваться так: в десятой главе рассказывалось о политических событиях в России в начале XIX века — царствовании Александра I, борьбе его с Наполеоном, войне 1812—1815 годов, народном движении после войны, образовании тайных революционных обществ (будущих декабристов). Здесь же, очевидно, Онегин, потерпевший полный крах в личной жизни и подготовленный всеми предыдущими событиями к духовному возрождению на почве общественных интересов, участия в революционной борьбе, примыкает к декабристам. См.: *А. С. Пушкин*. Евгений Онегин. М., 1960. С. 250.

<sup>15</sup> См. по этому поводу скептические и весьма убедительные размышления Ю. М. Лотмана: *Лотман*. Комментарий. С. 391—394; Ср.: *Марк Альтшуллер*. Биография Онегина — в руках пушкинистов // Новый журнал. № 211. С. 173—199.

<sup>16</sup> *В. Баевский*. Сквозь магический кристалл. Поэтика «Евгения Онегина», романа в стихах А. Пушкина. М., 1990. С. 114—155. В примечаниях на стр. 116 см. основную традиционную литературу вопроса.

<sup>17</sup> Ср. замечание И. М. Тойбина: «... не события, а время “расчислено по календарю”. Речь идет, несомненно, о календаре природы — о соответствии повествования временам года...» (*И. М. Тойбин*. «Евгений Онегин»: поэзия и история // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 9. Л., 1979. С. 9).

<sup>18</sup> *В. Баевский*. Сквозь магический кристалл. С. 128.

<sup>19</sup> Чуть больше месяца, с 11 июля по 20-е числа августа 1817. См.: *М. А. Цявловский*. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, 1799—1826. Л., 1991. С. 141—142.

<sup>20</sup> Ср., например, ежедневные купания Пушкина в Сороти и Онегина, который «сей Геллеспонт переплывал», русскую одежду Онегина (в черновиках), убранство пушкинского кабинета: портрет Байрона, маленькая скульптура Наполеона (гл. 4, строфы 26—28; гл. 7, строфа 19).

<sup>21</sup> Летопись, 1. С. 453.

<sup>22</sup> «*Au, Au, death is even in Arcadia*». (*Panofsky*. P. 295).

<sup>23</sup> Позволю себе только два взятых наугад примера из символистской прозы Серебряного века: «Как было сыро, как мозгло, как ночь синела и лиловела, переходя болезненно в ярко-красную сыпь фонарей...» (*Андрей Белый*. Петербург. М., 1981. С. 190); «Дождь, слякоть. В

окнах — низкое, темное, точно каменное, небо. На голых сучьях мокрые вороны каркают». (Д. С. Мережковский. Антихрист (Петр и Алексей) // Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 2. С. 411).

<sup>24</sup> М. Н. Муравьев. Стихотворения. (Библиотека поэта. Б. с.). Л., 1967.

<sup>25</sup> Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1971. С. 31.

<sup>26</sup> Феокрит. *Мосх. Бион*. Идиллии и эпиграммы. М., 1958. с. 14.

<sup>27</sup> VI, 438—439. Ср.: *Vladimir Nabokov. A Novel in verse by Aleksandr Pushkin*. Princeton University Press, 1981. V. 2 (Commentary and Index). P. 94—102; *Лотман*. Комментарий. С. 316—320.

<sup>28</sup> Впечатляющий анализ интеллектуальных интересов Ленского см. в упоминавшейся книге Вацура «Лирика пушкинской поры», с. 33—34.

<sup>29</sup> В «Отрывках из путешествия Онегина» Пушкин рисует совсем иные картины русской осени: «Люблю песчаный косогор, // Перед избушкой две рябины, // Калитку, сломанный забор, // На небе серенькие тучи, // Перед гумном соломы кучи ...» Однако, даже чисто формально, «Путешествие» не входит в основной текст романа. Онегин здесь вырывается из идиллического хронотопа, и автор рассказывает о своих новых эстетических предпочтениях, противопоставляя их поэтическим картинам не только своего раннего творчества, но и «Романа в стихах» (см. об этом ниже). Сказанное несколько не противоречит тому, что «Отрывки...» являются при этом полноценной и художественно значимой частью романа, «полноправным, композиционно-содержательным звеном, замыкающим собой стихотворное повествование». См. об этом: Ю. Н. Чумаков. «Отрывки из путешествия Онегина» как художественное единство // Ю. Н. Чумаков. Стихотворная поэтика Пушкина. СПб., 1999. С. 24; он же. «Евгений Онегин» и русский стихотворный роман. Новосибирск, 1983.

<sup>30</sup> В одном из черновиков был очень грубый вариант: секала жопы... (VI, 295).

<sup>31</sup> Цит. по: И. Е. Усок. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и его восприятие в России XIX—XX в. // Русская литература в историко-функциональном освещении. М., 1979. С. 286.

<sup>32</sup> Борис Мейлах. Талисман. Книга о Пушкине. М., 1975. С. 242.

<sup>33</sup> См.: *Лотман*. Комментарий. С. 92 и сл. Он же. Беседы о русской культуре. СПб., 1994. С. 164 и сл. Ср.: «В истории дуэли сконцентрировалась драматичность пути русского дворянина от государева раба, каким он пришел из Московской Руси в Петровскую эпоху, к человеку, взыскующему свободы и готовому платить жизнью за неприкосновенность своего личного достоинства, как он понимал его на высочайшем взлете петербургского периода — в пушкинские времена» (Я. А. Гордин. Дуэли и дуэлянты. СПб., 1996. С. 6).

<sup>34</sup> См., например: *Лотман*. Комментарий. С. 306.

<sup>35</sup> Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. М., 1989. Т. 2. С. 87 (воспоминания Н. А. Бестужева). См. также: Мих. Цетлин. Декабристы (Судьба одного поколения). <N. Y.>, 1954. С. 170, 175.

- <sup>36</sup> Переписка А. С. Пушкина. Т. 1. М., 1982. С. 472—473, 476.  
<sup>37</sup> См. упоминавшуюся статью Хаева.  
<sup>38</sup> *Лотман*. Комментарий. С. 273.  
<sup>39</sup> *Nabokov*. P. 506—511.  
<sup>40</sup> См. упомянутые выше работы Ю. Н. Чумакова.  
<sup>41</sup> *А. А. Дельвиг*. Сочинения. Л., 1986. С. 72, 76.  
<sup>42</sup> Там же. С. 72.  
<sup>43</sup> Современный исследователь отмечает особый интерес Пушкина к идиллии в 1830-е гг.: «... мысль о «конце золотого века», о смене неповторимых исторических эпох ... оживляет у Пушкина интерес к идиллии и антологической лирике в начале 1830-х годов». (*М. Л. Гаспаров*. «Из Ксенофана Колофонского» Пушкина // *М. Л. Гаспаров*. Избранные статьи. М., 1995. С. 168).  
<sup>44</sup> *Георгий Адамович*. Комментарии. Washington D. C., 1967. С. 24.

## ДИПТИХ ПУШКИНА И ПСЕВДОПАЛИНОДИЯ МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА

- <sup>1</sup> См.: *Межов В. И.* Pushkiniana. Библиографический указатель статей о жизни А. С. Пушкина, его сочинений и вызванных ими произведений литературы и искусства. СПб., 1886. С. 55. № 800—804.  
<sup>2</sup> Записные книжки Анны Ахматовой (1958—1966). М.; Torino, 1996. С. 495.  
<sup>3</sup> Остафьевский архив. Т. III. С. 193. Письмо А. И. Тургеневу от 25 апреля 1830 г.  
<sup>4</sup> См.: *И. Н. Корсунский*. Лира Филарета, митрополита Московского // *Русский вестник*. 1884, ноябрь. Т. 174.  
<sup>5</sup> *Пушкин*. Письма. Т. II (1826—1830). М.; Л., 1928. С. 70, 359.  
<sup>5a</sup> *В. Непомнящий*. Слово о благих намерениях. Письмо в редакцию сборника «Пушкинская эпоха и христианская культура» // *Московский пушкинист*. Сб. II. М., 1996. С. 330—331.  
<sup>6</sup> См.: *И. Н. Корсунский*. Лира Филарета, митрополита Московского // *Русский вестник*. 1884, ноябрь. С. 299; *Русский биографический словарь*. Т. Фабер-Цявловский. С. 91.  
<sup>7</sup> Маяк. 1840. Ч. 10. С. 59—60. См.: *В. В. Каллаш*. Pushkiniana. Киев, 1903. Вып. 2; Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово (1827—1832) // *Труды Пушкинского Дома*. Вып. 48. Л., 1927. С. 47—48 (комментарий Н. В. Измайлова).  
<sup>8</sup> Звездочка. 1848. Ч. 28. С. 16.  
<sup>9</sup> См.: Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово (1827—1832) // *Труды Пушкинского дома*. Вып. 48. Л., 1927. С. 47—48 (комментарий Н. В. Измайлова); *Пушкин*. Письма. Т. II (1826—1830). М.; Л., 1928. С. 360 (комментарий Б. Л. Модзалевского); *А. С. Пушкин*. Пол-

ное собрание сочинений: В 10 т. Т. 3. М., 1957. С. 507 (комментарий Б. В. Томашевского); Стихотворения Александра Пушкина / Издание подготовил Л. С. Сидяков. СПб., 1997. С. 577—578 и пр.

<sup>10</sup> *Н. В. Сушков*. Записки о жизни и времени Святителя Филарета, митрополита Московского. М., 1868. С. 125.

<sup>11</sup> Там же. С. 125.

<sup>12</sup> Там же. С. 126—127.

<sup>13</sup> *Квинт Гораций Флакк*. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970. С. 65, 240, 433. Пер. А. Семенова-Тян-Шанского, Н. Гинцбурга.

<sup>14</sup> См.: *The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics*. Princeton, 1993. P. 875.

<sup>15</sup> *Вячеслав Иванов*. Стихотворения. Поэмы. Трагедии. (Новая Библиотека поэта). СПб., 1995. Кн. 2. С. 126.

<sup>16</sup> *В. И. Иванов*. Два маяка // А. С. Пушкин. Pro et contra. Антология. Т. 2 / Сост. В. М. Маркович, Г. Е. Потапова. СПб., 2000. С. 176.

<sup>17</sup> *Серж Косман*. Дневник Пушкина. История одного преступления. Париж, 1970. С. 22.

<sup>17a</sup> Слово *лесть* в этом стихотворении значит, скорее всего, *соблазн*, а не лицемерное восхваление, как думал автор настоящей книги при первой публикации этого стихотворения. Такое понимание позволило ему осмыслить текст как порицание Пушкина за верноподданнические стихи. См.: *Альшутлер, Мартынов*. С. 72—75. Сборник, в котором помещено стихотворение, принадлежал семейству Грен. Он хранится в рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом): ПД. Оп. 1. № 598. Лл. 215—215 об. Небольшую подборку высказываний современников, порицавших Пушкина за «безнравственность» см. в кн.: *А. И. Рейтблат*. Как Пушкин вышел в гении. М., 2001. С. 66—68.

<sup>18</sup> *Н. В. Сушков*. Ук. соч. С. 125.

<sup>19</sup> См.: *Словарь Академии российской, по азбучному порядку расположенный*. СПб., 1806. Т. 4; *И. И. Срезневский*. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1895. Т. 2; *Словарь русского языка XI—XVII вв.* М., 1988. Вып. 14; *Словарь языка Пушкина*. М., 1957. Небольшая статья о слове «палинодия» имеется в большом «Словаре современного русского литературного языка» (М.; Л., 1959. Т. 9. С. 60).

<sup>20</sup> *Ник. Смирнов-Сокольский*. Русские литературные альманахи и сборники XVIII—XIX вв. М., 1965. С. 147.

<sup>21</sup> Литературная газета А. С. Пушкина и А. А. Дельвига. 1830 год. № 1—13. М., 1988. С. 169 (№ 12). См. также: III, 803.

<sup>22</sup> Остафьевский архив. Т. 3. С. 193.

<sup>23</sup> Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово (1827—1832) // *Труды Пушкинского дома*. Вып. 48. Л., 1927. С. 47—48.

<sup>24</sup> *Пушкин*. Письма. Т. II (1826—1830). М.; Л., 1928. С. 360.

<sup>25</sup> *В. Вересаев*. Спутники Пушкина. М., 1993. Т. 2. С. 112—115. См. также статью «В двух планах» в кн.: *В. Вересаев*. Загадочный Пушкин. М., 1996.

<sup>26</sup> Словарь языка Пушкина. М., 1957. Т. II. С. 40.

<sup>27</sup> *Благой*. С. 682.

<sup>28</sup> Летопись, 1. С. 87, 129; *К. Я. Грот*. Пушкинский лицей. СПб., 1998. С. 79.

<sup>29</sup> *Архимандрит Августин (Никитин)*. Епископ Порфирий (Успенский) и евангелическо-лютеранская церковь // Немцы в России. Проблемы культурного взаимодействия. СПб., 1998. С. 253.

<sup>30</sup> Об амбивалентности творчества Пушкина см. любопытные наблюдения в недавней статье Л. С. Осповата «Каменный гость» как опыт диалогизации творческого сознания (Пушкин. Исследования и материалы. Т. 15. СПб., 1995. С. 25—59).

<sup>31</sup> См.: *Черейский*. С. 133—134. *Н. Я. Эйдельман*. Герцен против самодержавия. Секретная политическая история России XVIII—XIX веков и Вольная печать. М., 1984. С. 191.

<sup>32</sup> Русский архив. 1881. Т. 1. С. 205—206.

<sup>33</sup> *И. Н. Корсунский*. Лира Филарета, митрополита Московского // Русский вестник. 1884, ноябрь. С. 300; *О. Газизова*. Арфа Филарета // Пушкинская эпоха и христианская культура. СПб., 1994. Вып. 2. С. 21; *Иеродиакон Симеон Гаврильчик*. «...и внемлет арфе Филарета...» // Там же. Вып. 4. С. 95.

<sup>34</sup> *В. Непомнящий*. Слово о благих намерениях... С. 333—334.

<sup>35</sup> Любопытно заметить, что существует и такой вариант последней строфы: И внемлет арфе Филарета // В священном *тренете* поэт (Священник Максим Козлов. См.: Филарет, митрополит Московский и Коломенский. Творения. М., 1994. С. 22). Вдумчивые церковные читатели, очевидно, по-своему «редактировали» бытовавший в рукописной традиции текст.

## ЧАСТЬ IV. ЗАМЕТКИ И УТОЧНЕНИЯ

### УПОМИНАНИЕ О ПУШКИНЕ В АНГЛИЙСКОМ ЖУРНАЛЕ

<sup>1</sup> Сведения о пребывании Бауринга в России взяты из небольшой монографии М. П. Алексеева «Джон Бауринг и его “Российская антология”» (*М. П. Алексеев*. Русско-английские литературные связи (XVIII век — первая половина XIX века) // Литературное наследство. Т. 91. М., 1982. С. 187—246).

<sup>2</sup> *А. Вышеславцев*. Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания в 1857, 1859 и 1860 годах. СПб.; М., 1867. С. 188.

<sup>3</sup> Подробные сведения об этой антологии см. в упомянутой выше работе М. П. Алексеева. См. также более раннюю работу: *В. Десниц-*

кий. Западноевропейские антологии и обозрения русской литературы // В. Десницкий. Избранные статьи по русской литературе XVIII—XIX вв. М.; Л., 1958. С. 200—206.

<sup>4</sup> См.: George L. Nesbitt. Benthamite Reviewing. The First Twelve Years of the Westminster Review. 1824—1836. N. Y. 1934. P. 22, 29—31. О редакторстве Бауринга: The Cambridge Bibliography of English Literature / Ed. by F. W. Bateson. Vol. 3, N. Y., 1941. P. 833.

<sup>5</sup> Об этой статье и принадлежности ее Баурингу, о переводе Ольдекопа см.: Алексеев. Русско-английские связи. С. 220—221, 224, прим. 100. На Бауринга как на автора статьи еще в 1934 году указал Nesbitt (Ibid. P. 178), Затем А. Р. Coleman. (John Bowring and the Poetry of the Slavs // Proceedings of the American Philosophical Society (Philadelphia). 1941. V. 84. № 3. P. 459.

<sup>6</sup> М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. 1799—1826. Л., 1991. С. 390. Впрочем, включив в «Летопись» перевод этой статьи в журнале «Revue Britannique» и приводя те же самые слова о Пушкине, уже в переводе с французского, Цявловский называет Бауринга ее автором и ссылается на публикацию в «Westminster Review». См. там же. С. 568.

<sup>7</sup> Летопись, 1. С. 369. Ср.: Летопись, 2. С. 91.

<sup>8</sup> Остафьевский архив. Т. 3. С. 114.

<sup>9</sup> Westminster Review. Vol. 1. 1824. P. 98.

<sup>10</sup> Ibid. Vol. IV. P. 178.

<sup>11</sup> Российская антология. Specimens of the Russian Poets; with Preliminary Remarks and Biographical Notices / Translated by John Bowring. London, 1821. P. 131.

<sup>12</sup> Basni J. A. Krilova. Fables de M. Kriloff. 2 vols. Paris, 1825 // Westminster Review. Vol. IV. London, 1825. P. 178.

<sup>13</sup> М. Г. Альтшуллер. Упоминание о Пушкине в английском журнале // Вестник Ленинградского университета. № 2. Серия истории, языка и литературы. 1963. Вып. 1. С. 133—135.

<sup>14</sup> Алексеев. Русско-английские литературные связи. С. 222, 244.

<sup>15</sup> См.: М. П. Алексеев. Пушкин на Западе // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Вып. 3. М.; Л., 1937. С. 104—151.

<sup>16</sup> Алексеев. Русско-английские литературные связи. С. 242—243.

<sup>17</sup> Архив князя Воронцова. Кн. XIX. М., 1881. С. 225.

<sup>18</sup> Анненков. С. 184.

<sup>19</sup> См.: Черейский. С. 232—233; Пушкин. Письма / Под редакцией и с примечаниями Б. Л. Модзалевского. Т. II, 1826—1830. М.; Л., 1928. С. 225.

<sup>20</sup> М. П. Алексеев. Пушкин на Западе. С. 111.

<sup>21</sup> См.: Герцен. Т. 9. С. 166—167; Т. 12. С. 301—304, 544—545.

<sup>22</sup> Ссылка на нашу публикацию 1963 года попала в примечания к «Летописи», но почему-то по поводу французского перевода статьи Бауринга «Взгляд на Россию и ее литературу». Там ничего не говорится о содержании заметки: не известном ранее упоминании о Пушки-

не. См.: М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. 1799—1826. Л., 1991. С. 568, 681; Летопись, 2. С. 91, 454.

## МАТЕРИАЛЫ ПУШКИНА В ПУБЛИКАЦИЯХ А. Е. ГРЕНА

<sup>1</sup> А. Грен. Воспоминание о Пушкине (К. П. Зеленецкому) // Современник. 1838. Т. 11. С. 33—37.

<sup>2</sup> М. А. Цявловский. Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931. С. 41.

<sup>3</sup> Там же. С. 45.

<sup>4</sup> А. Грен, С. Грен. Рассказчик. СПб., 1842. С. 71—78; Петербургский вестник, 1861. № 14. С. 311—312; по указанию Цявловского (Книга воспоминаний... С. 45—46): Сочинения Пушкина / Под ред. П. О. Морозова. СПб., 1887. Т. 7. С. 391, № 441; Сочинения Пушкина. СПб., Просвещение, 1906. Т. 8. С. 378, № 542; Сочинения Пушкина / Под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1903. Т. 7. С. 625, № 544.

<sup>5</sup> М. А. Цявловский. Книга воспоминаний... С. 45.

<sup>6</sup> А. Грен. Воспоминание о Пушкине // Современник. Т. 11. 1838. С. 34.

<sup>7</sup> О письмах Марии Грен см. ниже. Биографию и основные публикации Грена см.: Русские писатели. 1800—1817. Биографический словарь. Т. 2. М., 1992. С. 17—18. (Статья М. А. Бобрика).

<sup>8</sup> А. Грен. Воспоминание... С. 43.

<sup>9</sup> ПД. Р. II. Оп. 1. № 598. Об этом сборнике см. также: *Альтшуллер, Мартынов*. С. 72—75.

<sup>10</sup> А. Грен. Знакомство с А. Е. Измайловым // Сын Отечества. 1852. № 7. Смесь, с. 6—8.

<sup>11</sup> См., например: К брату Н. Е. Грену, Вечер (Из Гейера) // Радуга. (Ревель). 1832. Кн. 9. С. 654—655; Могила давленника (Финское предание). Посвящается В. В. Домонтовичу // Там же. Кн. 10. С. 703—704; Бедный // Там же. С. 720—721; Сухачеву (в Одессу), Деревня Раканалеки в Финляндии 1830 // Радуга. 1833. Кн. 1. С. 66—77; Письма из Финляндии к \*\*\*. Выборг, 5 июня 1830 года // Там же. С. 1—10 (отдельной пагинации). О журнале «Радуга» см.: *Гаральд*. Русская печать на прибалтийской окраине // Русская старина. 1905. № 5.

<sup>12</sup> А. Грен. Стихотворения. СПб., 1832.

<sup>13</sup> Стихотворения сии можно получить у самого автора Александра Евгеньевича Грена, смотрителя лазарета лейб-гвардии Конного полка и у всех известных С.-Петербургских книгопродавцев. Цена 3 рубли.

<sup>14</sup> Александр Грен. Моей малютке: Книга в пользу воспитанию детей. СПб., 1835. С. VI (отдельной пагинации).

<sup>15</sup> А. Грен. Письмо к В. Ф. Одоевскому от 16 марта 1836 г. Рукописный отдел РНБ. Ф. 539 (Одоевского). Оп. II. № 440. О материалах Грена в фонде Одоевского мне любезно сообщил В. Э. Вацуро.

<sup>16</sup> *Петербургский старожил В. Б<урнашев>*. Мое знакомство с Воейковым в 1830 году и его пятничные литературные собрания // *Русский вестник*. 1871. Т. 95. С. 606. О Слепушкине см.: Там же. С. 606—608.

<sup>17</sup> Басни, песни и разные стихотворения крестьянина Михаила Суханова. СПб., 1828.

<sup>18</sup> *А. Грен*. Суханов. (Письмо Н. И. Гречу) // *Северная пчела*. 1851. № 197. С. 787—788. Перепечатано: *Петербургский вестник*. 1861. № 6. С. 118—120; *Золотое руно*. 1859. № 14. С. 55.

<sup>19</sup> См., например, стихотворения: *Могила* // *Северный Меркурий*. 1830, № 43. С. 172; *Звезда* // Там же. № 65. С. 260.

<sup>20</sup> *Александр Грен*. О. М. Сомов // *Северный цветок*. СПб., 1858. № 4. С. 78—82.

<sup>21</sup> *Александр Грен*. Моей малютке. Стр. VII (отдельной пагинации).

<sup>22</sup> *Мое новоселье: Альманах на 1836 год, изданный В. Крыловским*. СПб., 1836. Ср.: *Н. В. Гоголь*. Полное собрание сочинений. М., 1952. Т. VIII. С. 197.

<sup>23</sup> *Вечера минувшей осени* / Изд. Н. Грен. СПб., 1837.

<sup>24</sup> *А. С. Пушкин в воспоминаниях современников*. М., 1985. Т. 2. С. 297.

<sup>25</sup> Письмо П. А. Вяземского к А. А. Бестужеву 20 января 1824 // *Русская старина*. 1888, ноябрь. С. 325.

<sup>26</sup> См. биографии Федорова и Сомова, стихотворение Федорова «Союз поэтов», Сомова «Сатира на современных поэтов» в кн.: *Поэты 1820—1830-х гг.* Т. 1 (Библиотека поэта. Б. с.) / *Биографические справки, составление, подготовка текста и примечания В. Э. Вацуро*. Л., 1972.

<sup>27</sup> *В. Э. Вацуро*. Списки послания Е. А. Баратынского «Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры» // *Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1972 год*. Л., 1974. С. 58—59.

<sup>28</sup> *А. Грен*. А. С. Пушкин // *Петербургский вестник*. 1861. № 14. С. 314.

<sup>29</sup> *Москвитянин*. 1854. № 14; № 9, май. Кн. 1. Отд. 6. С. 1—16.

<sup>30</sup> Там же. С. 8, 9.

<sup>31</sup> *Петербургский вестник*. 1861. № 14. С. 310.

<sup>32</sup> *В. Э. Вацуро*. В. Г. Тепляков: Биографическая справка // *Поэты 1820—1830-х гг.* Л., 1972. Т. 1. С. 593.

<sup>33</sup> *А. С. Пушкин*. Фракийские элегии. Стихотворения Виктора Теплякова // *Современник*. 1836. Т. 3. С. 170—186.

<sup>34</sup> *Общезанимательный вестник*. 1857. № 6. С. 221—225.

<sup>35</sup> *Петербургский вестник*. 1861. № 14. С. 310—314. См. также: *П. Ефремов*. Мнимый Пушкин в стихах, прозе и изображениях. СПб., 1903. С. 37—39.

<sup>36</sup> *А. Грен, С. Грен*. Рассказчик. СПб., 1842.

<sup>37</sup> *Русская старина*. 1880. № 10. С. 436.

<sup>38</sup> *Северные записки*. 1913, февраль. С. 38.

<sup>39</sup> *Черейский*. С. 9; *А. П. Базиянц*. Правда интереснее легенд. М., 1975. С. 41—52; *О. И. Михайлова*. Портреты А.Д. Абамелек // *Временник Пушкинской комиссии*. Вып. 20. Л., 1986. С. 65—89.



<sup>40</sup> Петербургский вестник. 1861. № 14. С. 312.

<sup>41</sup> Там же. С. 314. Возможно, эта подделка, в которой изображается двойственность пушкинской природы, навеяна упомянутой выше статьей Зеленецкого «Сведения о пребывании Пушкина в Кишиневе и в Одессе...», писавшего: «Вообще Пушкин в это время если и был иррелигиозен, то только на словах. Демон и многие другие стихотворения показывают, что в душе его таилась глубокая, благотворная теплота, источник самого искреннего верования. Пушкин в глубине сердца был одно, а другое был он в свете, в кругу молодежи, с которою желал делить все заблуждения молодости» (Москвитянин. 1854. Т. 14. № 9, май. Кн. 1. Отд. 6, «Смесь». С. 9). Эта в общем распространенная концепция пушкинского творчества легла позднее в основу нашумевшей статьи В. В. Вересаева «В двух планах» (1928).

<sup>42</sup> Ф<аддей> Б<улгарин>. Встреча с публикою // Северная пчела. 1838. № 213, 22 сент. С. 852.

<sup>43</sup> К письму приложены: «Воспоминания о Н. И. Гнедиче (посвящено Софье Адольфовне Грен)», с датой 1837 и три стихотворения: «К брату» Н. Е. Г<ре>ну»; «Знакомцу» (из Гейера) с шведского; «На развалинах замка (из Аттербома) с шведского». Ничего из этих материалов на страницах «Современника» опубликовано не было.

<sup>44</sup> ПД. Ф. 24 (Плетнев П. А.). Оп. 3. Ед. хр. 179. Л. 1—1об.

<sup>45</sup> Стихотворения Александра Грена. СПб., 1832. С. 9.

<sup>46</sup> Рукописный отдел РНБ. Ф. 539 (Одоевского). Оп. II. № 441.

<sup>47</sup> А. Грен. Воспоминание о Пушкине // Современник. Т. 11. 1838. С. 35.

<sup>48</sup> 1 сентября 1833 г. Н. Н. Пушкина сняла квартиру в доме Оливье. Пушкин вернулся в Петербург позднее. См.: Летопись, 4. С. 80, 208, 219; А. Яцевич. Пушкинский Петербург. СПб., 1993. С. 61—65, 390.

<sup>49</sup> Модзалевский. Библиотека. С. 31, № 107.

<sup>50</sup> Черейский. С. 118.

<sup>51</sup> Так это сделано в: Летопись, 4. С. 118, 612 (примечание). Там небольшая ошибка: первая публикация письма Пушкина была осуществлена Греном не в 1842 году, а в 1838-м, т. е. сразу после смерти Пушкина.

<sup>51</sup> Книга уже находилась в издательстве, когда была напечатана статья А. В. Кошелева «Переписка А. С. Пушкина, ставшая известной после выхода собрания его сочинений» (Пушкин и его современники. Вып. 3 (42). СПб., 2002. С. 213—214). Автор обзора не согласился с возвращением анализируемого письма в пушкинский эпистолярный. Он почему-то считает, что я атрибутирую письмо *только* по стилю и наличию в библиотеке Пушкина экземпляра стихотворений Грена, и на этом основании отвергает аутентичность письма. При этом автор игнорирует всю систему моих доказательств: в том числе признание Грена, что автором письма к Пушкину является его мать, письмо самой Марии Грен к Одоевскому и пр. Аргументы исследователя (впрочем, никаких аргументов оппонент и не выдвигает) не представляются мне

убедительными. По-прежнему полагаю, что это письмо Пушкина должно быть возвращено в его эпистолярный.

<sup>52</sup> См.: *А. Иванов*. Архангельский Кольцов (Михайло Суханов — поэт-самоучка 1-й половины XIX века). Архангельск, 1916.

<sup>53</sup> Петербургский вестник. 1861. № 13. С. 314.

<sup>54</sup> *К. Ф. Рылеев*. Полное собрание сочинений. Т. 2. М., 1907. С. 165—166.

<sup>55</sup> *В. И. Маслов*. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. Киев, 1912. С. 88.

<sup>56</sup> *П. П. Филиппович*. Жизнь и творчество Е. А. Баратынского. Киев, 1917. С. 18.

<sup>57</sup> Полярная звезда. Изд. А. Бестужевым и К. Рылеевым / Издание подготовили В. А. Архипов, В. Г. Базанов, Я. Л. Левкович. М.; Л., 1960. С. 468.

<sup>58</sup> Там же. С. 282—283.

<sup>59</sup> Новости литературы. 1823. Кн. 6, № 40. С. 14.

<sup>60</sup> *К. Ф. Рылеев*. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1934. С. 472—473.

<sup>61</sup> Там же. С. 465—466; Полярная звезда. М.; Л., 1960. С. 923—924. Здесь неверная датировка приводит комментатора к утверждению, что Рылеев дважды безуспешно пытался напечатать «Послание к Алексею» в 1822 и 1823 гг. На самом деле речь идет об одной попытке, о которой Рылеев одновременно сообщает и Баратынскому и Туманскому. В то же время в издании стихотворений Баратынского эта ошибка исправлена. Ср.: *Е. А. Баратынский*. Полное собрание стихотворений / Вступ. статья И. М. Тойбина; Составление, подготовка текста и примечания В. М. Сергеева. Л., 1989. С. 401.

<sup>62</sup> См.: Переписка А. С. Пушкина: В 2-х тт. М., 1982. Т. 1. С. 416, 418, 420.

<sup>63</sup> См.: *Е. А. Баратынский*. Стихотворения, поэмы, проза, письма. М., 1951. С. 472, 480, 488, 493.

<sup>64</sup> Переписка А. С. Пушкина. Т. 1. С. 414—415 (комментарий В. Э. Вацура).

<sup>65</sup> Записка Баратынского датируется 1823 годом, письма — 1825, 1826, 1828 гг.

<sup>66</sup> Статья была написана в 1978 году и тогда же напечатана во «Временнике Пушкинской комиссии». Была вырезана из книги уже в корректуре. Вновь напечатана там же в 1995 году. См.: *М. Г. Альтишуллер*. Записки Пушкина и Баратынского в публикациях А. Е. Грена // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 26. СПб., 1995. С. 22—34.

<sup>67</sup> Летопись жизни и творчества Е. А. Баратынского / Составитель А. М. Песков. М., 1998. С. 128.

<sup>68</sup> *М. Н. Данилов*. Иван Иванович Козлов. Опыт пересмотра материалов для его биографии // Известия Отд. русского языка и словесности Имп. Академии Наук. Пг., 1914. Т. 19. Кн. 2. С. 166—169.

<sup>69</sup> Там же. С. 167—168.

<sup>70</sup> Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского. С. 148.

<sup>71</sup> Письмо напечатано К. В. Пигаревым по автографу, хранившемуся в его архиве. Ныне оно недоступно исследователям. См.: *Е. А. Боратынский*. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. М., 1951. С. 480—482, 600. Ср. Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского. С. 147—148.

<sup>72</sup> *А. Грен*. Воспоминание о Пушкине // *Современник*. Т. 11. 1838. С. 35.

<sup>73</sup> Русский архив. 1886. Кн. 2. С. 177—202.

<sup>74</sup> См.: *Лермонтовская энциклопедия*. М., 1981. С. 603—604; *Эйдельман*. Пушкин. Из биографии. С. 26—27.

<sup>75</sup> Русский архив. 1886. Кн. 2. С. 178.

The book is concerned with some of the little studied issues in the life and work of A. S. Pushkin.

PART I, *BETWEEN TWO CZARS* describes Pushkin's life and work in 1826—1836 in connection with his relationships with two Russian czars, Alexander I and Nicholas I.

The first chapter *From «Stanzas» to «To My Friends»* covers the period of 1824—1826. The main subject here is Pushkin's civil (publicistic) lyrics, which reflects his attitude toward two czars: one who had recently died and the one beginning his reign.

The second chapter *Forces of Nature and Czars in «The Bronze Horseman»* studies the way Pushkin contrasts Catherine II and Alexander I on one side with Peter I and Nicholas I in the other.

The third chapter *The Problem of Democracy* describes Pushkin's negative attitude toward democracy in general and toward democratic institutions in the last years of his life. The discussion is based on the article «John Tenner».

The fourth chapter *There Was a Time...* describes the portrayal of Alexander I and Nicholas I in one of Pushkin's last and best known poems.

PART II, *THE UNCOMPLETED PLANS* discusses some of Pushkin's unfinished works and a few that remained only as plans.

The first chapter is *The Plot of the Long Poem «Ermak»*. Here an attempt is made to reconstruct the content, the ideas, and the form of the unwritten long poem about the conqueror of Siberia.

The second chapter, *The Unfinished Long Poem about Tazit* discusses possible endings of the long poem.

The third chapter, *The Plans of the Story about Strelets*, reconstructs the possible content of Pushkin's planned story about the strelets revolt.

The fourth chapter, *The Mystification of the Family Legend* discusses the possibility that Pushkin was planning to write a historical novel based on an unverified legend which existed in his family.

PART III, *THE ISSUES OF THE GENRE* proposes some new genre definition of some of Pushkin's works, which puts their contents and literary significance in a new light.

The first chapter defines the long poem «Ruslan and Ludmila» as a mock heroic poem.

The second chapter, *Eugene Onegin: et in Arcadia ego*, treats Pushkin's novel as an idyll.

The third chapter, *Pushkin's dyptych and palinode of Metropolitan Filaret*, discusses the genre definitions of some Pushkin's lyrics.

PART IV, *NOTES AND ADDENDA*, includes a few notes concerning Pushkin's biography and discusses some of the letters he wrote and received.

The book concludes with an index and a list of the author's scholarly publications.

# СПИСОК ПЕЧАТНЫХ РАБОТ М. Г. АЛЬТШУЛЛЕРА

(Не включены мелкие газетные и журнальные публикации: полемика, публицистика, заметки)

1960

1. Анализ стихотворения Лермонтова «Поэт» // Литература в школе. 1960. № 1. С. 25—31.

1961

2. Несколько уточнений к текстам стихотворений Г. Р. Державина // Русская литература. 1961. № 4. С. 186—190.

1963

3. Тобольский поэт и журналист (Панкратий Сумароков) // Тюменские просторы. Тюмень, 1963. № 1 (9). С. 180—191.

4. С кем полемизировал Пнин в оде «Человек»? // Русская литература. 1963. № 1. С. 134—137.

Отклики и полемика:

*Ю. М. Лотман.* С кем же полемизировал Пнин в оде «Человек»? // Русская литература. 1964. № 2. С. 166—167. См. также в кн.: *Ю. М. Лотман. О поэтах и поэзии.* СПб., 1996. С. 748—750.

*В. А. Западов.* Державин и Пнин // Русская литература. 1965. № 1. С. 114—120.

*Илья Серман.* Временные рамки и пограничные вехи литературы XVIII века // Русская литература. 2000. № 4. С. 16.

5. Герасим Лебедев и Гавриил Державин // Народы Азии и Африки. 1963. № 4. С. 126—129.

6. Упоминание о Пушкине в английском журнале (Edinburgh Review, 1826) // Вестник Ленинградского университета. Серия истории языка и литературы. Л., 1963. Вып. 1. № 2. С. 133—135.

1964

7. С. С. Бобров и русская поэзия конца XVIII — начала XIX в. // Русская литература XVIII века. Эпоха классицизма (XVIII век, сб. 6). М.; Л., 1964. С. 224—246.

1966

8. Идеиные и художественные искания в русской лирике 1790-х гг. (Н. Николев, П. Сумароков, Е. Костров, С. Бобров). Автореферат дисс. на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Л., 1966. 17 стр.

9. «Иртыш, превращающийся в Иппокрену» (Сибирский журнал 18 века) // Краткая литературная энциклопедия. Т. 3. М., 1966.

1968

10. Крепостной поэт и переводчик Николай Смирнов // Французский ежегодник. Статьи и материалы по истории Франции. 1967. М., 1968. С. 260—265.

11. «Лиро-дидактическое послание» Николая Николаева // Русская литература. Ученые записки Ленинградского университета. Филологическая серия. № 72. 1968. С. 208—214.

12. Литературная жизнь Тобольска // Освоение Сибири в эпоху феодализма (XVII—XIX вв.). Новосибирск, 1968. С. 178—198.

13. Николай Николев // Краткая литературная энциклопедия. Т. 5. М., 1968.

1969

14. Теоретические взгляды Державина и «Беседа любителей русского слова» // XVIII век. Сб. 8. Л., 1969. С. 103—112.

15. «Иртыш, превращающийся в Иппокрену» // Краткая литературная энциклопедия. Т. 3. Л., 1966.

16. Вновь найденный список «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Радищева // Русская литература. 1969. № 2. с. 125—128.

1971

17. Материалы для биографии крепостного литератора Н. Смирнова // Вопросы русской и советской литературы Сибири. Новосибирск, 1971. С. 318—324.

18. «Слово о полку Игореве» в кругу «Беседы любителей русского слова» // Древнерусская литература и русская культура XVIII—XX вв. Труды отдела древнерусской литературы. Вып. XXVI. Л., 1971. С. 109—122.

19. Поэты 1790—1810-х гг. // Подготовка текста М. Г. Альтшуллера. Вступительные заметки, биографические справки и приме-

чания М. Г. Альтшуллера и Ю. М. Лотмана. (Библиотека поэта. Б. с.). Л., 1971, 911 стр.

1972

20. Русская эстетика XVIII века. (Рецензия на книгу: Л. И. Кулакова. Очерки истории русской эстетической мысли XVIII века. Л., «Просвещение», 1981) // Русская литература. 1970. № 1. С. 227—234 (совм. с В. Э. Вацуро).

1973

21. Заметки В. А. Олениной о русских писателях (Н. И. Гнедич, Г. Р. Державин, К. Н. Батюшков, В. А. Жуковский) // Вопросы литературы и фольклора. Изд. Воронежского университета. Воронеж, 1973. С. 212—219.

1974

22. Любовь Ивановна Кулакова (1906—1972). (Некролог. Не подписано) // XVIII век. Сб. 9. Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. Л., 1974. С. 339—342.

23. Два стихотворения на лицейскую годовщину (А. Пушкин и В. Кюхельбекер) // Литература в школе. 1974. № 6. С. 7—11.

24. Н. И. Гнедич. Письма к К. Н. Батюшкову. (Публикация, вступительная заметка, комментарии) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1972 год. Л., 1974. С. 78—92.

25. Стихотворение В. К. Кюхельбекера «Проклятие» // Лирическое стихотворение. Анализ и разборы. Л., 1974. С. 9—19.

1975

26. Источник повести В. К. Кюхельбекера «Осада города Оби-ньи» // Русская литература. 1975. № 4. С. 99—100.

27. Крылов в литературных объединениях 1800—1810-х годов // Иван Андреевич Крылов. Проблемы творчества. Гл. 5. Л., 1975. С. 154—195.

28. Неизвестный эпизод журнальной полемики начала XIX века. «Друг просвещения» и «Московский зритель» // XVIII век (Русская литература XVIII века и ее международные связи). Вып. 10. Л., 1975. С. 98—106.

29. Михаил Херасков // Краткая литературная энциклопедия. Т. 8. М., 1975.

30. Александр Шишков // Краткая литературная энциклопедия. Т. 8. М., 1975.

31. «Бумаги любопытные по оригинальности...» // Нева. 1975. № 10. С. 220 (совм. с И. Мартыновым).



32. Декабристский альманах // Распространение печати (Ежемесячный журнал Главного управления Союзпечати Министерства связи СССР). 1975. № 12. С. 38—39 (совм. с И. Мартыновым).

1976

33. «Звучающий стих свободы ради...» М., 1976. 118 стр. (совм. с И. Мартыновым).

Отклик:

*Miranda Beaven* // *Slavic Review*. Summer 1984. V. 2. № 2, P. 276—280.

34. Творческое наследие Третьяковского в «Беседе любителей русского слова» // Венок Третьяковскому. Волгоград, 1976. С. 94—99.

1977

35. Поэтическая традиция Радищева в литературной жизни начала XIX века // XVIII век. Вып. 12. (А. Н. Радищев и литература его времени). Л., 1977. С. 113—136.

36. Неопубликованное стихотворение П. Сумарокова «Плач и смех» // Проблемы жанра в литературе Сибири. Новосибирск, 1977. С. 212—215.

1978

37. Сергей Ширинский-Шихматов // Краткая литературная энциклопедия. Т. 9. М., 1978.

38. Николай Смирнов // Краткая литературная энциклопедия. Т. 8. М., 1975.

1979

39. В. К. Кюхельбекер. Путешествие. Дневник. Статьи. / Издание подготовили Н. В. Королева, В. Д. Рак [М. Г. Альтшуллер]. Л., 1979.

Из-за эмиграции имя М. Г. Альтшуллера, подготовившего в этой книге разделы «Путешествие», «Статьи», «Дополнения» и написавшего вместе с Н. В. Королевой статью «Личность и литературная позиция Кюхельбекера», не могло появиться на титульном листе книги. В. Д. Рак, который подготовил в этом издании статью «Разбор фон-дер-Борговых переводов русских стихотворений», согласился, по просьбе Альтшуллера, поставить на титульном листе свое имя. См. об этом: *Марк Альтшуллер*. Неопубликованная редакция повести В. К. Кюхельбекера «Адо» // *Russian Language Journal*. 1992. Vol. XLVI. № 153—155. P. 192—196. Краткое изложе-

ние этой трагикомической истории см.: *Олег Проскурин*. Литературные скандалы пушкинской эпохи. (Материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 6). М., 2000. С. 190, прим. 5. Заявление В. Д. Рака см.: *В. Д. Рак*. Письмо в редакцию // Русская литература. 1997. № 4. С. 234.

Рецензия:

*Владимир Орлов*. Возвращенный Кюхельбекер. — Литературная газета. 1979, 18 апреля. С. 6 (без указания имен составителей). Как мне сообщила Н. В. Королева ее имя тоже было запрещено упоминать в печати из-за публикации «монархических» стихов в ленинградском журнале «Аврора».

40. Литературный неудачник пушкинской эпохи (Д. И. Хвостов) // Новое русское слово. 6 мая 1979.

41. Анна Бунина // Новое русское слово. 20 мая 1979.

42. Поэт грядущих катастроф (С. С. Бобров) // Новое русское слово. 19 июля 1979.

43. «Шихматов безглагольный...» // Новое русское слово. 6 мая 1979.

44. Ермил Костров // Новое русское слово. 8 августа 1979.

1980

45. С. С. Бобров. Письма С. А. Селивановскому / Публикация И. Ф. Мартынова [М. Г. Альтшуллера] // Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980. С. 400—404.

Из-за эмиграции имя М. Г. Альтшуллера не могло появиться в тогдашней советской печати. По просьбе В. П. Степанова И. Ф. Мартынов подписал публикацию писем С. С. Боброва и Н. П. Николева (см. ниже). Он рассказал об этом эпизоде в «Открытом письме в Президиум Академии наук СССР» (Обозрение. Июль 1984. № 10. С. 35—37). Источник публикации: Материалы Самиздата. 3/84. 30 января 1984. АС № 5137).

46. Н. П. Николев. Письма Д. И. Хвостову / Публикация И. Ф. Мартынова [М. Г. Альтшуллера] // Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980. С. 410—415.

1981

47. И. Владимирова [Ирина Владимировна Рейфман], М. Григорьев [Марк Григорьевич Альтшуллер], К. Кумпан. Александр Блок и русская культура XVIII века // Наследие А. Блока и актуальные проблемы поэтики. Блоковский сборник IV. Тарту, 1981. С. 27—115.

Из-за отъезда в эмиграцию М. Альтшуллер и И. Рейфман вынуждены были подписаться прозрачными псевдонимами.

48. И. Ф. Мартынов (составитель). Стихотворения, романсы, поэмы и драматические сочинения. Описание рукописного отдела Библиотеки Академии Наук СССР, т. 4, вып. 2, Л., «Наука», 1980 (review) // Study Group on Eighteenth-Century Russia. Newsletter 9. 1981. P. 68—75.

49. Ю. Д. Левин. Оссиан в русской литературе. Л., «Наука», 1980 (review) // Ibid. P. 75—83.

50. Нобелевская Голгофа Бориса Пастернака // Новое русское слово. 27 июня 1981.

1982

51. Первый сибирский журнал «Иртыш, превращающийся в Ип-покрену» // Очерки русской литературы Сибири. Новосибирск, 1982. С. 115—124.

52. П. П. Сумароков (1785—1814) // Там же. с. 131—139.

53. И. И. Бахтин (1754—1818) // Там же. С. 139—143.

54. Н. С. Смирнов // Там же. С. 143—148.

Фамилия автора из-за отъезда в эмиграцию нигде в «Очерках русской литературы Сибири» не упоминается.

55. Оттепель 1954—1956 гг. // Новое русское слово. 11 апреля 1982.

56. Массонские мотивы «второго тома» (Университетские штудии А. А. Блока и их отражение в лирике 1904—1905 годов) // Revue des études slaves. T. LIV. F. 4. Paris, 1982. P. 591—607.

57. The Unknown Poem by A. S. Shishkov // Oxford Slavonic Papers. New Series. V. XV. 1982. P. 95—102.

58. «Москва—Петушки» Венедикта Ерофеева и традиции классической поэмы // The New Review. Новый журнал. 1982. Кн. 146. С. 76—85. Перепечатано в: Русская литература XX века: направления и течения. Екатеринбург, 1996. С. 69—77.

59. Материалы для биографии Ермилы Ивановича Кострова // Study Group on Eighteenth-Century Russia. Newsletter № 10. 1982. P. 30—36 (совм. с И. Мартыновым).

1983

60. «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» как политический документ (А. С. Шишков и Н. М. Карамзин) // A. D. Cross (ed.) Russian and the West in the Eighteenth Century. 1983. Oriental Research Parters. Newtonville, Mas.: 1983. P. 214—222.

61. Н. Ф. Грамматин — переводчик Оссиана // Ibid. P. 69—78 (совм. с И. Мартыновым).

1984

62. Пушкин о проблемах демократии (Джон Теннер) // Russian Language Journal. 1984. № 129—130. P. 69—78.

63. Герцен и Тацит // Alexander Herzen and European Culture. Proceedings of an International Symposium, Nottingham / Ed. by M. Partridge. Cotgrave, Astra-Press, 1984. P. 145—157.

64. Gumilevskie chtenia: vypusk vtoroi (An Introduction) // Weiner Slawisher Almanach. Sonderband 15. Wien, 1984. S. 5—10 (With George Cheron).

65. Избранные рассказы шестидесятых. / Составление, предисловие и библиографические справки Марка Альтшуллера и Елены Дрыжаковой. N. J., 1984. 351 стр.

Рецензии:

1. *Ludmila Predneva* in: World Literature Today. Autumn, 1985.

2. *Мария Шнеерсон*. Встреча с прозой шестидесятых // Новое русское слово. 5 мая 1984.

3. *Сергей Довлатов*. Оттепель (Сборник «Избранные рассказы 60-х годов в издательстве “Эрмитаж”») // Альманах Панорама. Март 22—29. № 206.

4. *Е. Тудоровская*. Когда настала оттепель // НА. 10 июля 1985. № 281. С. 14—15.

66. Предтечи славянофильства в русской литературе (Общество «Беседа любителей русского слова»). Ann Arbor, 1984. 401 стр.

Рецензии:

1. *William Edgerton* // Slavic Review. Fall 1985. P. 576—577.

2. *Michael Green* // Study Group on 18th Century Russian Newsletter. № 13. 1985. P. 54—64.

3. *Nora Bukhs* // Revue des Etudes Slaves. V. 58. № 1. Paris, 1986. P. 108—109.

4. *Alexander Levitsky* // The Russian Review. V. 45. № 3. 1986. P. 344—346.

5. *I. Z. Serman* // The Slavonic and East European Review. V. 64. № 1. January 1986. P. 129—130.

6. *Irwin Radezky* // Slavic and East European Journal. V. 31. № 2. 1987. P. 283—284.

7. *Борис Вайль*. Славянофилы времен Александра Первого // Русская мысль. 10 января 1986. С. 10.

8. *В. Б. <Василий Бетаки>*. Марк Альтшуллер. Предтечи славянофильства в русской литературе // Континент. № 44, 1985. С. 398—399.

1985

67. Путь отречения. Русская литература 1953—1968. Tenaflu, N. J., 1985, 349 стр. (совм. с Еленой Дрыжаковой).

Рецензии:

1. *Мария Шнеерсон*. Раздумья о пройденном пути // Новое русское слово. 25 марта 1986.

2. *Иосиф Косинский*. Трава пробивает асфальт // Континент. 1986. № 48. С. 372—383.

3. *С. Довлатов*. Конеч прекрасной эпохи // Грани. 1986. № 139. С. 301—304. То же // Альманах Панорама. 1986. 17—24 октября. № 288.

4. *Michael Sosa* // World Literature Today. Autumn, 1987.

5. *Elizabeth K. Beaujour* // Slavic and East European Journal. V. 31. № 1. 1987. P. 119—120.

6. *Nadya Peterson* // Russian Review. Vol. 46. № 4. P. 467—468.

68. S. S. Bobrov // A Handbook of Russian literature (Ed.) by Victor Terras. Yale University Press, New Haven and London, 1985. P. 57—58.

69. V. Eroffeev // Ibid. P. 130.

70. D. I. Khvostov // Ibid. P. 225.

71. E. I. Kostrov // Ibid. P. 233.

72. N. P. Nikolev // Ibid. P. 305.

73. Poema // Ibid. P. 344—346.

74. Romance // Ibid. P. 347—372.

75. Poetica // Ibid. P. 346.

76. P. I. Shalikhov // Ibid. P. 402.

77. S. A. Shirinsky-Shikhmatov // Ibid. P. 406.

78. A. F. Voeikov // Ibid. P. 511.

1986

79. Soviet Studies in Literature. A Journal of Translations. Vol. XXI, Nos. 1—2 (Winter/Spring 1984—85). G. A. Gukovsky. Gest Editor I. Z. Serman. (Review) // Russian Language Journal. № 135. 1986. P. 232—235.

1987

80. В. Ф. Шубин. Поэты пушкинского Петербурга. Л.: Лениздат, 1985 (Review) // Slavic and East European Journal. V. 32. № 2. 1987. P. 285—288.

81. И. Ободовская, М. Дементьев. Наталья Николаевна Пушкина. По эпистолярным материалам. М., 1985 (Review) // Slavic and East European Journal. V. 31. № 3. 1987. P. 435—437 (with Helena Gosciolo).

1988

82. Motifs in Sir Walter Scott's *The Fair Maid of Perth* in Aleksandr Pushkin's *Tazit* // Slavic and East European Journal. 1988. V. 3. № 1. P. 41—54.

83. Krylov and Voltairianism // Russia and the World of the Eighteenth Century. Proceedings of the Third International Conference. Columbus, 1988. P. 347—359.

84. Семен Бобров и Эдуард Юнг // Russian Literature Triquarterly. № 28. Ann Arbor. 1988. P. 129—140/

85. С. Л. Франк. Этюды о Пушкине; Revue d'Etudes Slaves, t. 59. Alexandre Pushkine (рецензия) // Новый журнал. The New Review. 1988. № 168/169.

86. Ростислав Шульц. Пушкин и квидский миф. Wilhelm Fink Verlag, 1985 (Review) // Slavic and East European Journal. V. 32. № 3. 1988. P. 466—468 (with Helena Goscilo).

87. Graduate Essays on Russian Language and Literature. V. 1 / Ed. by M. Altshuller. Center for Russian and European Studies, University of Pittsburgh, 1988.

1989

88. The Transition to the Modern Age: Sentimentalism and Preromanticism (1790—1820) // The Cambridge History of Russian Literature / Ed. by C. Moser. Cambridge University Press: 1989. Chapter III: P. 92—135. Revised edition: 1992, p. 92—135.

89. Sir Walter Scott's Motifs in Gogol's *Propavshaja gramota* // Oxford Slavonic Papers. 1989. P. 81—88.

90. Сближение Тредиаковского и Радищева в полемике о старом и новом слоге // Russian Literature and History. Русская литература и история (In Honour of Professor Ilya Serman). Jerusalem, 1989. P. 27—33.

91. Graduate Essays on Slavic Language and Literature. V. 2 / Ed. by M. Altshuller. Center for Russian and European Studies, University of Pittsburgh, 1989.

1990

92. «Капитанская дочка» Пушкина и «Роб Рой» Вальтера Скотта // Russian Language Journal. Vol. 44. 1990. № 147—149.

93. Валентин Пикуль — кумир полуинтеллигенции // Новое русское слово. 1990. 2 февраля.

94. Graduate Essays on Slavic Language and Literature. V. 3 / Ed. by M. Altshuller. Center for Russian and European Studies, University of Pittsburgh, 1990.

1991

95. А. С. Шишков о французской революции // Русская литература. 1991. № 1. С. 144—149.

96. Редактор: Graduate Essays on Slavic Language and Literature. V. 4 / Ed. by M. Altshuller. Center for Russian and European Studies, University of Pittsburgh, 1991. In memory of Professor Nikolai Poltoracky. (Приложена избранная библиография работ Н. П. Полторацкого, с. 87—98).

1992

97. Pushkin's «Ruslan and Ludmila» and the Traditions of the Moch-epic Poem // The Golden Age of Russian Literature and Thought. London, 1992. P. 7—23.

98. «Княжна Мери» Лермонтова и «Сен-Ронанские воды» Вальтера Скотта // Mikhail Lermontov (1814—1989) / Ed. Efim Etkind. Norwich Symposia on Russian Literature and Culture. V. 3. Norfield, Vermont, 1992. P. 147—154.

99. Неопубликованная редакция повести В. К. Кюхельбекера «Адо» // Russian Language Journal. 1992. Vol. XLVI. № 153—155. P. 185—225.

100. Виктор Дмитриев. Серебряный гость (О лирическом герое Бальмонта). Tenaffly, N. J.: Эрмитаж, 1992, 188 стр. [Рецензия] // Russian Language Journal. V. XLVI. № 153—155. 1992. P. 317—319.

101. Редактор: Graduate Essays on Slavic Language and Literature. V. 6 / Ed. by M. Altshuller. Center for Russian and European Studies, University of Pittsburgh, 1992.

1993

102. Russian Poetry // The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Princeton, 1993. P. 1103—1112.

103. Ivan Elagin: In the Memory (Collection) / Ed. by M. Altshuller and M. Smith // Canadian American Slavic Studies. Vol. 27. № 1—4. 1993 (with Milissa Smith).

104. Graduate Essays on Slavic Language and Literature. V. 6. Ed. by M. Altshuller. Center for Russian and European Studies, University of Pittsburgh, 1993 (In Memory of Iurii Mikhailovich Lotman).

1994

105. Нигилист Кирилин в романе Болеслава Маркевича «Типы прошлого» и Марк Волохов Гончарова / Ed. by Peter Thiergen // Ivan A. Goncharov. Leben, Werk und Wirkung. Köln, Weimar, Wien, 1994. P. 343—352.

106. Graduate Essays on Slavic Language and Literatures, Volume 7 / Ed. by M. Altshuller. University of Pittsburgh, 1994.

107. План повести о стрелецком сыне и романы Вальтера Скотта // Проблемы современного пушкиноведения. Сборник статей. Псков, 1994. с. 112—127.

108. Романа Багрій. Шлях сера Вальтера Скотта на Україну («Тарас Бульба» М. Гоголя і «Чорна рада» П. Куліша в світлі історичної романістики Вальтера Скотта). Переклад з англійської. Редакція журналу «Всесвіт». Київ, 1993. 292 с. (review) // Slavic and East European Journal. V. 38. № 2. Summer 1994. P. 712—714.

1995

109. Пушкин, Булгарин, Николай I и сэр Вальтер Скотт // Новые безделки. Сборник статей к 60-летию В.Э. Вацура. М., 1995—1996. С. 284—302.

110. «Ирод и Мариамна» Гавриила Державина (К вопросу о формировании русской преромантической драмы) // Гавриила Державин (1743—1816) Norwich Symposia on Russian Literature and Culture. V. IV / Под ред. Ефима Эткинда и Светланы Ельницкой. Northfield, Vermont, 1995. P. 224—233.

111. «Рославлев»: Роман и попытка романа (М. Загоскин, А. Пушкин и сэр Вальтер Скотт) // Canadian-American Slavic Studies. V. 29. № 3—4. 1995. P. 285—299.

112. Semen Sergeevich Bobrov // Dictionary of Literary Biography. V. 150. Detroit, Washington D. C., London, 1995. P. 23—28.

113. Dmitrii Ivanovich Khvostov // Ibid. P. 167—172.

114. Ermil Ivanovich Kostrov / Ibid. P. 189—196.

115. Vladislav Aleksandrovich Ozerov // Ibid. P. 265—272.

116. Sergii Aleksandrovich Shirinsky-Shikhmatov // Ibid. P. 356—362.

117. Aleksandr Semenovitch Shishkov // Ibid. P. 363—369.

118. Записки Пушкина и Баратынского в публикациях А. Е. Грена // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 26. СПб., 1995. С. 22—34.

Полемика:

А. М. Песков. Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского. М., 1998. С. 128, 147.

119. Graduate Essays on Slavic Language and Literatures, Volume 8 / Ed. by M. Altshuller. University of Pittsburgh, 1995.



1996

120. La poesie et la dramaturgie satiriques au debut du XIX siecle // *Historie de la literature Russe. Le XIX siecle. L'epoque du Pouchkine et du Gogol.* <Paris>, 1996. P. 63—79.

121. Vilgelm Kioukhelbeker // *Ibid.* P. 547—561.

122. Literature et folklore en Russie au course de la première moitié du XIX siècle // *Ibid.* P. 1005—1030 (совм. с Еленой Дрыжаковой).

123. Эпоха Вальтера Скотта в русской литературе (Исторический роман 1830-х). СПб., 1996. 342 стр.

Рецензии:

1. *W. Gareth Jones.* Study Group of eighteenth-century Russia, Newsletter. 25. August, 1997. P. 74—76.

2. *Олег Проскурин.* Запад на востоке (Книги, которыми стоит пополнить студенческие библиотеки) // *Ex libris НГ.* Приложение к «Независимой газете». № 6. Апрель, 1997. С. 4.

3. *Илья Серман* // *The New Review.* Новый журнал. N. Y., 1998. № 213. С. 269—272.

4. *А. Рейтблат* // *Новое литературное обозрение.* 1997. № 28. С. 413—415.

5. *Елена Краснощекова.* Вальтер Скотт и русский исторический роман // *Русская литература.* 1998. № 2. С. 206—208.

6. *A. Dolinin* // *Slavic and East European Journal.* V. 42. № 3. Fall 1998. P. 530—533.

7. *Л. С. Сидяков.* Становление исторического романа в русской литературе // *Russian studies.* Ежеквартальник русской филологии и культуры. 2000. Т. 3. № 3. С. 403—410.

1997

124. Graduate Essays on Slavic Language and Literatures, Volume 9 / Ed. by M. Altshuller. University of Pittsburgh, 1996.

125. А. А. Смирнов. Романтическая лирика А. С. Пушкина. Изд. Московского университета, 1994, 188 стр. (рецензия) // *The New Review.* Новый журнал. N. Y., 1997. № 207. P. 303—306.

126. Надемся, что не последнее... Георгий Бен. Последнее песнопение. Избранные переводы. 1977—1994. Санкт Петербург. Журнал «Звезда». 1996 (рецензия) // *Альманах Панорама.* № 821. Январь 1—7, 1997. С. 25.

127. Graduate Essays on Slavic Language and Literatures. Volume 10 / Ed. by M. Altshuller. University of Pittsburgh, 1997. Приложения: содержание 1—9 томов (стр. 103—106) и алфавитный указатель статей по именам авторов (тт. 1—10, стр. 107—109).

128. «Что в европейском мире выражено в философских трактатах, то в русской культуре содержится в художественных текстах». (Интервью) // *Смена* (СПб.). 17 октября 1997.

1998

129. Диптих Пушкина и палинодия митрополита Филарета // *The New Review*. Новый журнал. N. Y., 1998. № 212. P. 233—245.

130. То же // Международная конференция «Пушкин и Тургенев». Тезисы докладов. СПб. — Орел, 6—11 сентября 1998. С. 9—10.

131. Биография Онегина в руках пушкинистов // *The New Review*. Новый журнал. N. Y., 1998. № 211. P. 175—197.

1999

132. *Eugeny Onegin as Arcadia* // Alexander Pushkin. A Celebration of Russia's Best-loved Writer / Ed. by A. D. P. Briggs. London, 1999. P. 23—30.

133. Пушкинский сборник. Graduate Essays on Slavic Languages and Literatures. V. 11—12 / Ed. by M. Altshuller. University of Pittsburgh, 1999.

134. Материалы о Марине Цветаевой в архиве Е. И. Альтшуллер-Еленевой (1897—1982) // *The New Review*. Новый журнал. N. Y., 1999. № 215. С. 253—282.

135. Оратория «Целение Саула» в системе поздней лирики Державина // XVIII век. Сб. 21. Памяти Павла Наумовича Беркова. СПб., 1999. С. 268—281.

136. Материалы о Марине Цветаевой в архиве Е. И. Альтшуллер-Еленевой (1897—1982) // University of Pittsburgh, Center for Russian and East European Studies. Pittsburg, 1999. P. 33.

Рецензии:

1. Анатолий Либерман // *The New Review*. Новый журнал. N. Y., 2001. № 222. С. 315—316.

2. Борис Егоров. Новинки из глубинки // Новая русская книга. 2002. № 2. С. 83.

137. В. Шапочка. Охотничьи тропы Тургенева. Орел. Изд. «Вешние воды», 1998, 160 стр. (рецензия) // *The New Review*. Новый журнал. N. Y., 1999. № 214. P. 331—333.

138. Планы повести о стрельце // Звезда. 1999. № 11. С. 231—234.

139. Для меня Пушкин... (Ответы на вопросы «Нового журнала») // *The New Review*. Новый журнал. N. Y., 1999. № 215. С. 15—16.

2000

140. Роман Олимпиады Шишкиной «Князь Скопин-Шуйский» и структура романов Вальтера Скотта // *Res traductoria*. Перевод и сравнительное изучение литератур. К восьмидесятилетию Ю. Д. Левина. СПб., 2000. С. 159—170.

*lib.pushkinskiydom.ru*

141. Василий Бетаки: итоги и кануны // The New Review. Новый журнал. N. Y., 200. № 219. P. 228—238. (Совм. с Е. Дрыжаковой).

142. Efim Grigorievich Etkind (1918—1999) (obituary) // Slavic and East European Journal. V. 44. № 2. Summer 2000. P. 363—366.

143. Стихотворение «Они моих страданий не поймут...» в системе поздней лирики В. К. Кюхельбекера // Сб. памяти Георгия Пантелеймоновича Макогоненко / Под ред. В. М. Марковича, А. А. Карпова. СПб., 2000. С. 137—150.

## 2001

144. Между двух царей (Заметки о гражданской лирике Пушкина на 1830—1836 годов) // Русская литература. 2001. № 1. С. 11—32.

145. Стихия и цари в «Медном всаднике» // Санкт-Петербург в контексте мировой культуры. Международная научная конференция, июнь 6—10. Тезисы докладов / Отв. редактор В. М. Маркович. СПб., 2001. С. 21.

146. А. Пушкин: замысел поэмы о Ермаке // The New Review. Новый журнал. N. Y., 2001. № 224. С. 164—184.

147. Личность поэта в лирике Семена Боброва // Reflections on Russia in the Eighteenth Century / Ed. by Joachim Klein, Simon Dixoin and Maarten Fraanje. Koln, Weimar, Wien, 2001. P. 140—150.

## 2002

148. Неоконченная поэма Пушкина о Тазите // The New Review. Новый журнал. N. Y., 2002. № 226. С. 205—223.

## 2003

149. Иван Елагин в «Новом журнале» // Творчество диаспоры и «Новый Журнал». N. Y., 2003. С. 102—113.

150. [Рецензия]: Владимир Кантор. Русский европеец как явление мировой культуры (философско-исторический анализ). М., РОССПЭН, 2001. 702 с. // The New Review. Новый журнал. N. Y. 2003. № 230. С. 276—280.

151. «Евгений Онегин»: et in Arcadia ego // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 17. СПб., 2003. С. 218—233.

- Абамелек А. Д. 262—264, 312  
 Абрамович С. Л. 274, 286—288, 290, 299  
 Август, император 123  
 Августин (Никитин), архимандрит 309  
 Адамович Г. В. 235, 307  
 Аделунг Ф. П. 253  
 Адеркас Б. А. фон 19  
 Аксаков С. Т. 52  
 Александр I (Александр Павлович) 7, 9, 11—14, 16—35, 37, 45—48, 50—58, 63, 71, 76, 78—84, 101, 103—113, 117, 121, 122, 127, 131, 132, 135, 220, 229, 274, 276—281, 285—287, 290, 291, 305, 331  
 Александр II 74  
 Алексеев М. П. 256, 286, 290, 296, 309, 310  
 Алексеев Н. С. 270, 314  
 Алексеева Н. В. 122, 291, 292  
 Алексей Петрович, царевич 306  
 Альми И. Л. 285  
 Альтшуллер-Еленева Е. И. 330  
 Анисимов Е. В. 283  
 Анненков П. В. 16, 17, 20, 51, 85, 102, 146, 155, 256, 274, 277, 282, 287, 290, 295—297, 310  
 Апулей 204  
 Аракчеев А. А. 13, 44, 46, 47, 280, 281  
 Аринштейн Л. М. 274, 276  
 Ариосто Л. (Ариост) 130, 134, 139, 142, 202, 206, 302  
 Архипов В. А. 314  
 Аттербум П. Д. (Аттербом, Atterbom) 313  
 Ахматова А. А. 215, 216, 235, 236, 297, 307  
 Багрий Р. 328  
 Баевский В. С. 218, 219, 305  
 Базанов В. Г. 274, 276, 278, 314  
 Базиянц А. П. 312  
 Байрон Д. Г. 15, 124, 145, 153, 159, 214, 222, 223, 230, 231, 262, 305  
 Бальмонт К. Д. 327  
 Баратынский Е. А. (Боратынский) 121, 122, 128, 261, 263, 268—273, 291, 312, 314, 315, 328  
 Барклай де Толли М. Б. 25  
 Барков И. С. 208, 302—304

---

\* Составил М. Д. Эльзон

Бартенев П. И. 19, 76, 276, 277  
Батеньков Г. С. 278  
Баттѣ Ш. 292  
Батурун, майор 80  
Батюшков К. Н. 210, 214, 217, 303 320  
Бауринг Д. (Bowring) 253—257, 309—311, 318  
Бахтин И. И. 323  
Бахтин М. М. 207, 217, 219, 303  
Бекфорд У. 290  
Белинский В. Г. 48, 99, 146, 201, 209, 215, 235, 274, 282, 289, 295, 301, 303, 304  
Белый А. 305  
Бен Г. 329  
Бенкендорф А. Х. 44, 46  
Бентам И. 253  
Березкина С. В. 277  
Берков П. Н. 330  
Берлин И. 87, 287  
Бестужев А. А. 33, 79, 142, 203, 231, 253—255, 270, 312, 314  
Бестужев Н. А. 306  
Бетаки В. П. 324, 331  
Бион 306  
Бируков А. С. 268, 270  
Благой Д. Д. 36, 247, 275, 281, 283, 284, 295, 296, 309  
Блок А. А. 322, 323  
Блоссевиль Э. де (De Blossesville) 85, 287  
Бобрин М. А. 311  
Бобров С. С. 318, 322, 326, 328, 331  
Богаевская К. П. 285  
Богданович И. Ф. 203—205, 210  
Бонди С. М. 20, 118, 140, 154, 275, 277, 278, 294, 305  
Боратынский Е. А. см. Баратынский Е. А.  
Борис Годунов см. Годунов Б. Ф.  
Брикнер А. Г. 299  
Бродский Н. Л. 304  
Брут Марк Юний 105  
Буало Депрео Н. 202, 292  
Булвер Литтон Э. Д. (Бульвер Литтон, Bulwer Lytton) 159  
Булгарин Ф. В. 44, 264, 265, 281, 313, 328  
Бунина А. П. 64, 284, 322  
Бурачок С. А. (Бурачек) 238  
Бурнашев В. П. 260, 312  
Бурцов И. Г. 161  
Бурьен, мемуарист 283  
Бялик Б. А. 36, 280  
Вайль Б. 324  
Васко да Гама см. Гама В. да

Вацуро В. Э. 8, 79, 275, 279, 281, 285, 286, 289, 291, 293, 294, 304, 306,  
311, 312, 314, 320, 328  
Вегнер М. О. 187, 300  
Великий Петр см. Петр I  
Великий Царь см. Петр I  
Велио С. (Вельо) 290, 291  
Вергилий 129, 131, 143, 144, 203, 221, 302, 306  
Вердеревский В. Е. 269  
Вережкин М. И. 193  
Вересаев В. В. 247, 287, 308, 313  
Веселая Г. А. 300  
Вигель Ф. Ф. 15, 25, 32, 112, 275, 277—279, 291  
Видок Фиглярин см. Булгарин Ф. В.  
Виланд Х. М. 139, 202  
Вильмаре, журналист 283  
Вильмот К. 300  
Вильмот М. 300  
Виницкий И. Ю. 8  
Винокур Г. О. 126  
Владимир I (Владимир Красно Солнышко, Владимир Святой) 139, 141, 213  
Владимир II Мономах 121  
Владимирова И., псевд. см. Рейфман И. В.  
Воейков А. М. 189, 191  
Воейков А. Ф. 139, 202, 260, 261, 302, 312, 325  
Волконская Н. А. см. Пушкина Н. А.  
Волконский С. А. 193  
Вольтер (Аруэ Ф. М.) 29, 87, 192, 202, 204, 205, 287, 326  
Вольховский В. Д. 161  
Воронцов М. С. 14—19, 22, 24, 219, 277, 310  
Воронцова Е. К. 15, 16, 19  
Воронцова-Дашкова Е. Р. см. Дашкова Е. Р.  
Воронцовы 256  
Востоков А. Х. (Остен) 138  
Высочков Л. В. 279  
Вышеславцев А. В. 309  
Вяземская В. Ф. 19  
Вяземские, князя 275—277, 286, 288, 307, 308, 310  
Вяземский П. А. 12, 15, 17, 19, 26, 37, 43, 55, 62, 67, 80, 93, 122, 125, 132,  
143, 194, 202, 218, 226, 237, 246—248, 254, 256, 272, 281, 283, 288, 312  
Гаврильчик С., иеродиакон 309  
Газизова О. 309  
Гама В. да 130  
Гангелов А. С. 161  
Ганнибалы, род 171  
Гаральд, псевд. 311  
Гаральд Норвежский (Гаральд Смелый) 210, 211, 303  
Гардин В. Р. 281

Гаспаров М. Л. 141, 294, 295, 307  
Гверчино Д. 217  
Гейер Э. Г. 311, 313  
Генрих V 25  
Гербстман А. И. 52, 278, 282, 285  
Геродот 37  
Герцен А. И. 26, 48, 58, 257, 275, 278, 282, 283, 309, 310, 324  
Герцог Энгийенский см. Луи Антуан, герцог Энгийенский  
Гесиод 86, 217, 287  
Геснер С. 223  
Гете И. В. 68, 147, 224, 238, 296  
Гиллельсон М. И. 194, 279, 281, 285, 288, 293, 299, 301  
Гинзбург К. А., коллекционер 240, 243, 245, 246  
Гинцбург Н. С. 308  
Глаголев А. Г. 212  
Глинка Ф. Н. 259  
Гнедич Н. И. 121, 125, 137—139, 221, 223, 261, 262, 264, 269, 273, 312, 313, 320  
Гоголь Н. В. 48, 98, 261, 264, 289, 296, 312, 326, 328, 329  
Годунов Б. Ф. 63, 121, 122, 125, 126, 131—134, 142, 186  
Годуновы 132  
Голицын В. В., князь 168  
Гольбах П.-А. 223  
Гольц Т. М. 299  
Гомер 98, 121, 129, 131, 134, 137—140, 143, 222, 294  
Гончаров И. А. 327  
Гончарова Н. Н. см. Пушкина Н. Н.  
Гораций (Квинт Гораций Флакк) 223, 243, 308  
Гордин Я. А. 278, 306  
Горький М. (Пешков А. М.) 216  
Грамматин Н. Ф. 323  
Грен, кадет 259  
Грен А. Е. 258—273, 308, 311—315, 328  
Грен Е., полковник 259  
Грен К. Е. 259, 265  
Грен М. («госпожа Л.») 258—267, 313  
Грен Н. Е. 258, 259, 261, 264, 265, 267, 311—313  
Грен П. Е. 259, 265  
Грен С. А. 311—313  
Греч Н. И. 13, 276, 312  
Грибовский В. М. 300  
Грибоедов А. С. 218  
Григорьев М., псевд. 322  
Гришунин А. Л. (Виссор) 282, 299  
Гроссман Л. П. 299  
Грот К. Я. 309  
Грот Я. К. 228, 261, 278, 283, 284, 286

Гудзий Н. К. 67  
Гуерчино Д. см. Гверчино Д.  
Гуковский Г. А. 216, 304, 305, 325  
Гумилев Н. С. 324  
Гутчинсон, врач см. Хатчинсон  
Давыдов Д. В. 259  
Да Гама В. см. Гама В. да  
Даль В. И. 62  
Данилов К. см. Кирша Данилов  
Данилов М. Н. 272, 314  
Даниэль С. М. 8, 216, 304  
Данте Алигьери 260, 283, 284  
Дараган П. М. 30  
Дашков М. И. 192  
Дашкова Е. Р. 191, 192, 194—196, 300, 301  
Де ла Гарп см. Лагарп Ж.-Ф. де  
Деларю М. Д. 249, 250  
Дельвиг А. А. 102, 122, 153, 223, 234, 235, 237, 258, 261—264, 268, 272,  
289—291, 296, 307, 308  
Дементьев М. А. 325  
Де Местр Ж. см. Местр Ж. де  
Денисенко С. В. 284  
Державин Г. Р. 28, 38—41, 48, 57, 63, 64, 81, 248, 278, 283, 284, 286, 288,  
318—320, 328, 330  
Десницкий В. А. 309, 310  
Де Сталь Ж. см. Сталь А. Л. Ж. де  
Джеймс Э. 85  
Дидро Д. (Diderot) 68, 223, 284  
Дмитриев А. И. 293  
Дмитриев В. 327  
Дмитриев И. И. 28, 125, 129, 202, 203, 205, 206, 275, 278, 286, 302  
Дмитриев С. С. 300  
Дмитрий, царевич 132  
Дмитрий Иванович (Дмитрий Донской), князь 121  
Довлатов С. Д. 324, 325  
Долгоруков И. М. 259  
Долгоруков Я. Ф. (Долгорукий, Долгорукой) 38, 39  
Долинин А. А. 329  
Домонтович В. В. 311  
Дора К.-Ж. 193  
Достоевский Ф. М. 98, 289  
.....ев 302  
Егоров Б. Ф. 279, 330  
Егунов А. Н. 294  
Екатерина II (Екатерина Великая) 12, 28—30, 32, 39, 68, 76—78, 81, 82,  
101, 179, 183, 185, 186, 188, 189, 192, 194—198, 299, 300  
Елагин И. (Матвеев И. Н., Elagin) 327, 331



Елизавета Петровна, императрица 39, 191  
Елизавета Ярославна (Гертруда, Олисава) 210, 211, 303  
Елчай, сибирский князь 134  
Ельницкая С. 328  
Ермак Тимофеевич 24, 117—144, 291—295, 331  
Ерофеев В. В. 323, 325  
Есипов В. 280  
Ефремов П. А. 311, 312  
Жаккар Ж. Ф. 302  
Жирмунская Н. А. 290  
Жирмунский В. М. 290  
Житель Бугырской слободы, псевд. см. Каченовский М. Т.  
Житомирская С. В. 275, 295  
Жомици А. (Г. В.) 222  
Жуковский В. А. 19, 26, 32, 33, 47, 48, 55, 71, 73, 79, 80, 109, 112, 126,  
132, 139, 141, 143, 145, 202, 208—210, 214, 217, 259, 262, 272, 275, 281,  
286, 290, 294, 295, 302—304, 320  
Завалишин И. И. 123  
Загоскин М. Н. 159, 273, 298, 328  
Закревская А. Ф. 236  
Западов В. А. 318  
Зборовец И. В. 298  
Зеленецкий К. П. 262, 271, 311, 313  
Зенгер (Цявловская) Т. см. Цявловская Т. Г.  
Зорин А. Л. 279, 281, 284, 290  
Зотов Р. М. 135, 136, 294  
Зубов П. А. 76  
Зульцер И.-Г. (Сульцер, Sulzer) 292  
Иаков, король 184  
Иван Грозный (Иван/Иоанн IV Васильевич) 124, 126—129, 132, 135, 136, 186  
Иван Кольцо, сподвижник Ермака 128  
Иванов Алексей Алексеевич, филолог 314  
Иванов Вяч. И. 243, 244, 308  
Иванов Е. П. 283  
Иванов Н. В. 259  
Ивинский Д. П. 277, 278  
Игорь Святославович (князь Игорь) 319  
Иезуитова Р. В. 303  
Измайлов А. Е. 259—262, 302, 311  
Измайлов Н. В. 247, 275, 278, 283—286, 290, 299, 307  
Илличевский А. Д. 102, 103, 248  
Инзов И. Н. 12, 22  
Ирвинг В. 90, 288  
Истомина Е. (А.) И. 222  
Ишимова А. О. 238  
Каверин П. П. 218  
Казот Ж. 106, 290

Каллаш В. В. 307  
Камознс Л. ди (Камоенс) 121, 128—131, 142, 293  
Кант И. 223, 224  
Кантемир А. Д. 137  
Кантор В. К. 331  
Капнист В. В. 137, 138, 294  
Каразин В. Н. 12, 278  
Карамзин А. Н. 75  
Карамзин Н. М. 12—14, 19, 28, 79, 80, 82, 101, 125—136, 138, 141, 147,  
203, 205, 207, 211—214, 253, 259, 262, 275—278, 286, 288, 292, 293,  
295, 302—304, 323  
Карамзина С. Н. 75, 290  
Карамзины 143, 285  
Карл XII 175  
Карпов А. А. 293, 331  
Кастера Ж. (Castéra) 187, 194, 195, 301  
Катенин П. А. 37, 43  
Каховский П. Г. 161, 229  
Кашкин Д. Е. 123  
Киреевский И. В. 202, 302  
Кириша Данилов (Кирилл Данилович) 124  
Киселев П. Д. 14, 15  
Княжнин Я. Б. 30  
Козлов И. И. 153, 259, 268, 271—273, 297, 314  
Козлов М., священник 309  
Козлова А. И. 272  
Кока Т. М. 282  
Кольцов А. В. 314  
Комарович В. Л. 146, 296  
Кондорсе Ж.-А. (Кондорсэ) 86, 287  
Коновницын П. П. 161  
Констан Б. 223  
Константин Павлович, великий князь 25, 29, 76  
Корнилович А. О. 124, 180, 292  
Королева Н. В. 294, 297, 321, 322  
Корсунский И. Н. 238, 307, 309  
Кортес Э. (Кортец, Cortés) 127, 128  
Косинский И. 325  
Косман С. 308  
Костров Е. И. 137, 259, 319, 322, 323, 325, 328  
Котляревский И. П. 143, 144  
Коттень М. (Cottin) 224  
Кочеткова Н. Д. 304  
Кочубей В. П. 32  
Кочум см. Кучум  
Кошанский Н. Ф. 130  
Кошелев А. В. 313

Кочелев В. А. 275, 294, 295, 302, 304  
Криваль Л. А. 280  
Краснощекова Е. А. 329  
Кривцов Н. И. 270  
Кромвель О. 181, 185  
Крылов И. А. 31, 32, 64, 253—255, 274, 279, 284, 289, 310, 320, 326  
Крыловский В., издатель 312  
Крюднер Ю. 224  
Ксенофан Колофонский 307  
Кузнецов Е. В. 292  
Кулакова Л. И. 320  
Кулиш П. А. 328  
Кумпан К. А. 322  
Куницын А. П. 103, 287  
Купер Ф. 90, 97, 147  
Кутузов М. И. 229, 239  
Кутузова Е. М. см. Хитрово Е. М.  
Кучум 24, 117—121, 128, 134, 135  
Кюстин А. де (Marquise de Custin) 112, 291  
Кюхельбекер В. К. 102, 122, 140, 141, 161, 229, 261, 290, 294, 297, 320—  
322, 327, 329, 331  
Лагарп Ж.-Ф. де (Де-ла-Гарп) 31—33, 297  
Лапкина Г. А. 299  
Лапчинский А. Н. 297  
Лафонтен Ж. де 204, 289  
Лебедев Г. С. 318  
Левин Ю. Д. 210, 296, 303, 323, 330  
Левитин Г. (Levitine) 284  
Левицкий А. 324  
Левкович Я. Л. 290, 296, 314  
Левшин А. И. 256  
Лемонте П.-Э. 254  
Ленин Н. (Ульянов В. И.) 37  
Лермонтов М. Ю. 48, 146, 264, 296, 315, 318, 327  
Лернер Н. О. 263  
Либерман А. 330  
Листов В. С. 174, 175, 177, 178, 183, 275, 298, 301  
Лобанова Э. Ф. 291, 292  
Локк Д. 223  
Ломоносов М. В. 38, 40, 41, 123, 137  
Лонгинов М. Н. 300  
Лопухин И. В. 300  
Лотман Л. М. 293  
Лотман Ю. М. 12—14, 16, 27, 57, 98, 222, 231, 275—279, 283, 284, 287,  
289, 295, 301, 305—307, 318, 320, 327  
Луи Антуан, герцог Энгиенский 13  
Лукреций 223

Львов Н. А. 210  
Львов П. Ю. 210  
Людовик XI 183—185  
Мабли Г. Б. де 223  
Магницкий М. Л. 30, 31, 44  
Мадам де Сталь см. Сталь А. Л. Ж. де  
Мазепа И. С. 175  
Майков В. И. 203—205, 212, 302, 304  
Макогоненко Г. П. 36, 203, 275, 279, 280, 302, 303, 322, 331  
Макогоненко Г. П., псевд. см. Степанов В. П.  
Макферсон Д. (Macpherson) 137, 210—212, 303, 304, 323  
Малле П.-А. (Маллет) 210  
Маметкул, племянник Кучума 128  
Мандельштам Н. Я. 304  
Мандельштам О. Э. 215  
Манфред А. З. 276  
Мария Стюарт 184  
Мария Федоровна, императрица 76  
Марк Аврелий (Markus Aurelius), император 67, 68, 71, 284  
Маркевич Б. М. 327  
Марков А. И. 259  
Маркович В. М. 308, 331  
Мартынов И. И. 109  
Мартынов И. Ф. 36, 274, 280, 308, 311, 320, 321, 323  
Мартынов И. Ф., псевд. 322  
Марченко Н. А. 295  
Марьямов Б. М. 286, 288  
Масальский К. П. 166, 168, 173, 298  
Маслов В. И. 269, 292, 314  
Матюрен см. Мэтьюрин Ч.  
Межев В. И. 307  
Мейлах Б. С. 227, 290, 306  
Мережковский Д. С. 283, 306  
Мерзляков А. Ф. 138, 259  
Меркадий Х. 189, 190  
Местр Ж. де (Де Местр) 87—91, 96, 97, 287  
Миллер Г.-Ф. 125, 126, 292  
Милль Д. С. 253  
Милорадович М. А. 161, 229  
Милославские 168  
Мильтон Д. 123, 129  
Миних Х. А. 187, 189  
Михаил Павлович, великий князь 75, 76, 93, 161, 229  
Михайлова О. И. 312  
Мицкевич А. (Mickiewicz) 43, 62, 64, 67, 68, 72, 73, 284, 285  
Мнишек М. 134  
Модзалевский Б. Л. 189, 191, 193, 275, 279, 281, 284, 287, 291—293, 298—  
301, 307, 308, 310, 313

Модзалевский Л. Б. 247, 285  
Моисеенко Ф. П. (Моисеенков) 210  
Мольер (Поклен Ж.-Б.) 159  
Монтескье Ш. 93  
Мордвинов Н. С. 38—41, 43, 48, 280  
Моров В. Г. 275, 278, 282, 283  
Морозов П. О. 311  
Мортон Э. 257  
Мосх 306  
Мстислав Владимирович, князь 121  
Мур Т. 153  
Муравьев А. Н. 273  
Муравьев М. В. 275, 299—301  
Муравьев М. Н., поэт 221, 306  
Муравьева О. С. 283, 290  
Мэтьюрин Ч. Р. (Maturin) 223  
Мятлев И. П. 273  
Н. Н. см. Моров В. Г.  
Набоков В. В. (Nabokov) 209, 211, 222, 231, 303, 306, 307  
Наполеон I (Наполеон Бонапарт, Napoleon Buonaparte) 13, 51, 52, 56, 103—  
110, 229, 276, 282, 283, 290, 305  
Нарышкина Н. К., вторая жена Алексея Михайловича, мать Петра I 168  
Нельсон Г., адмирал 229  
Немировский И. В. 37, 136, 137, 275, 276, 280, 281, 294  
Непомнящий В. С. 36, 238, 249, 280, 281, 307, 309  
Нессельроде К. В. 14—18, 277  
Никитин С. А. 298  
Николай I (Николай Павлович) 7, 9, 11, 20, 25—31, 33—40, 43—46, 48, 50—  
58, 71, 73—78, 84, 93, 94, 98, 102, 103, 110—113, 132, 147, 161, 220, 229,  
236, 240, 248, 255, 256, 276, 278, 279, 281, 283, 285, 291, 328, 331  
Николев Н. П. 193, 301, 319, 322, 325  
Николя, аббат 190  
Нилендер В. О. 287  
Новиков Н. И. 30  
Новосильцев Н. Н. 32  
Ободовская И. М. 325  
Овидий (Публий Овидий Назон) 123, 130, 217, 243  
Овчинников Р. В. 189, 190, 299, 300  
Огарев Н. П. 48, 282  
Одоевский А. И. 36, 37, 230, 262, 280  
Одоевский В. Ф. 228, 260, 265—267, 311, 313  
Озеров В. А. 209, 210, 214, 328  
Оксман Ю. Г. 276, 282  
Олег, князь 52  
Оленина А. А. 236  
Оленина В. А. 320  
Оливье А. К. (Оливей) 266, 267, 313

- Ольдекоп Е. (А.) И. 253, 310  
Омир см. Гомер  
Орлов А. Г. 187, 192  
Орлов В. Н. 322  
Орлов Г. Г. 187, 192, 254  
Орлов С. Г. 192  
Осипов Н. П. 203, 205, 302  
Осват А. Л. 76, 77, 285, 294  
Осват Л. С. 309  
Оссиан, псевд. см. Макферсон Д.  
Остолопов Н. Ф. 129, 292, 293  
Отрепьев Г. Б. (Самозванец) 132—134, 136, 186, 293  
Павел I 12, 13, 21, 29, 32, 39, 76, 81, 132, 278  
Панофски Э. (Panofsky) 217, 304, 305  
Парни Э. (Дезире де Форж) 268  
Паскевич И. Ф. 55  
Пастернак Б. Л. 323  
Паулуччи Ф. О. 15, 16  
Перетц Г. А. 278  
Перонов А. 303  
Перцович Ю. С. 308  
Песков А. М. 271, 272, 291, 314, 315, 328  
Пестель П. И. 37  
Петербургский старожил В. Б., псевд. см. Бурнашев В. П.  
Петр I (Петр Великий, Петр Первый) 7, 27—31, 33—35, 38, 44, 45, 49—83,  
93, 94, 107, 123, 124, 132, 139—141, 166, 168, 173—180, 182—186, 197,  
279, 282—286, 292, 295, 298, 299, 306, 331  
Петр III (Петр Федорович) 29, 183, 186—188, 196, 300  
Петров В. П. 39—41, 43, 48, 259  
Пигарев К. В. 315  
Пикуль В. С. 326  
Пиндемонте И. (Пиндемонти, Pindemonte) 156, 297  
Пирон 206  
Писарев Д. И. 215, 216, 304  
Писарро Ф. (Пизарро, Pizarro) 127, 128  
Плетнев П. А. 25, 85, 122, 258, 261, 264, 313  
Плеханов Г. В. 226, 227  
Пнин И. П. 318  
Погодин М. П. 55, 73, 122, 181, 299  
Пожарский Д. М., князь 57, 121  
Поливанов Л. И. 277  
Полторацкий Н. П. 327  
Порфирий (Успенский), епископ 309  
Потапова Г. Е. 308  
Преднева Л. 324  
Проскурин О. А. 8, 48, 140, 282, 294, 304, 322, 329  
Проскурина В. Ю. 8, 195

Протасов А. Я. 33  
Птоломей 254  
Пугачев Е. И. 49, 63, 176, 180, 197  
Пуссен Н. (Poussin) 217  
Пухов В. В. 300, 301  
Пушкин А. М. 194  
Пушкин А. П. 190  
Пушкин В. Л. 194, 207, 231, 270  
Пушкин Гаврила 186  
Пушкин Л. А. 183, 186—190, 195—197, 299, 300  
Пушкин Л. С. 19, 122, 190, 230, 264  
Пушкин М. А. 191—194, 196, 300  
Пушкин С. А. 191—193, 220, 300  
Пушкин С. Л. 19, 190, 196, 281, 301  
Пушкина Н. А. 193  
Пушкина Н. Н. 45, 190, 228, 249, 300, 313, 325  
Пушкина Ф. Ю. 190  
Пушкины 186, 187, 193, 194, 299—301  
Пушин И. И. 280  
Пушин М. И. 161, 297  
Радищев А. Н. 30, 85, 137, 138, 193, 194, 284, 294, 300, 319, 321, 326  
Радищев Н. А. 300  
Радищев П. А. 192, 300  
Раевский А. Н. 16  
Раевский Н. Н. 161, 230, 231  
Разумовский К. Г. 187, 194, 195  
Рак В. Д. 294, 297, 321, 322  
Раппо, силач 258, 267  
Рахдай 213  
Рейтблат А. И. 281, 308, 329  
Рейфман И. В. 322  
Ржевские, род 171, 298  
Ричард Львиное Сердце, король 185  
Ричардсон С. 224  
Робертсон У., историк 223  
Рогачевский А. Б. 298  
Роднянская И. Б. 281  
Романовы, династия 23, 72, 73, 76, 278  
Романюк С. К. 191, 299, 300  
Россет А. О. см. Смирнова-Россет А. О.  
Рунич Д. П. 30, 31, 44  
Руссо Ж. Ж. 86—90, 96, 223, 224, 287  
Рылеев К. Ф. 33, 37, 122, 125, 126, 129, 133, 161, 229, 230, 259, 260, 268—  
271, 279, 292, 314  
Рюльер К. К. (Ruhlière) 187, 194, 195, 301  
С. П. М. 259  
Саади (Сади) 233

Саводник В. Ф. 279  
Сайтов В. И. 259  
Сайтанов В. А. 281  
Сандомирская В. Б. 296  
Святослав I 121  
Северин Д. П. 15  
Селезнев Н. 259  
Селивановский С. А. 322  
Семенов-Тянь-Шанский А. П. 308  
Семичев Н. Н. 161  
Сергеев В. М. 314  
Серман И. З. 8, 283, 284, 318, 324—326, 329  
Серов Д. О. 298  
Сигал Н. А. см. Жирмунская Н. А.  
Сидяков Л. С. 308, 329  
Скидоне Б. 217  
Скотт В. (Scott) 56, 145—165, 172—174, 179—185, 223, 274, 288, 292, 295,  
296, 298, 299, 301, 326—330  
Слепушкин Ф. Н. 259, 260, 312  
Смирнов А. А. 329  
Смирнов Н. М. 75, 143, 285  
Смирнов Н. С. 319, 321, 323  
Смирнов-Сокольский, псевд. см. Перцович Ю. С.  
Смирнова О. Н. 143  
Смирнова-Россет А. О. 27, 52, 73, 77, 143, 275, 278, 282, 285, 295  
Смит А. 222  
Соболевский С. А. 64, 67, 297  
Соколов А. Н. 292, 302  
Соловьев С. М. 126, 127, 278  
Сомов О. М. 260, 261, 312  
Софья Алексеевна, царевна 167, 168, 171, 173, 180, 185  
Сперанский М. М. 38, 280, 281  
Сперанский М. Н. 279  
Срезневский И. И. 308  
Сталь А. Л. Ж. де 222—224  
Старк В. П. 300  
Стендаль (Бейль А.) 68  
Стенник Ю. В. 280  
Степанов В. П. 322  
Стесихор 243  
Стоюнин В. Я. 280  
Строгановы, купцы 127, 134  
Стурдза А. С. 12  
Стюарт М. см. Мария Стюарт  
Суворов А. В. 25, 123, 229  
Сукин 300  
Сульцер см. Зульцер И.-Г.



Сумароков А. П. 41, 300  
Сумароков П. П. 318, 319, 321, 323  
Суханов М. Д. 260, 268, 312, 314  
Сухачев, адресат А. Е. Грена 311  
Сухоруков В. Д. 161  
Сушков Н. В. 239, 240, 243, 245, 246, 308  
Талейран Ш. М. (Талейран-Перигор) 13, 92  
Тарасов Б. Н. 279  
Тархов А. Е. 283  
Тархова Н. А. 275  
Тассо Т. 129, 130, 142  
Татаринов А. Н. 93  
Таузак, сподвижник Кучума 128  
Тацит 126, 324  
Телетова Н. К. 298  
Тенирс Д. (Теньер, Teniers) 147  
Теннер Д. (Tanner, Tenner) 7, 84—100, 286—290, 324  
Тепляков В. Г. 262, 268, 270—272, 312  
Тименчик Р. Д. 285  
Тирсо де Молина (Тельес Г.) 159  
Тойбин И. М. 305, 314  
Токвиль А. (Tocqueville) 92—94, 97, 100, 288, 289  
Толстой Л. Н. 106  
Толстой Ф. П. 27, 278  
Томашевский Б. В. 36, 118, 201—203, 212, 213, 276, 277, 282, 291, 296,  
298, 301, 302, 304, 308  
Торвальдсен Б. 50, 51, 282  
ТрEDIAKОВский В. К. (Тредьяковский) 129, 138, 141, 293, 321, 326  
Труайа А. 276, 279  
Трубецкой Б. А. 287  
Трубецкой С. П. 161, 162  
Тудоровская Е. 324  
Туманский В. И. 259, 270, 314  
Тургенев А. И. 12, 15, 17, 19, 32, 33, 37, 43, 80, 89, 92, 93, 230, 246, 254,  
276, 288, 290, 307  
Тургенев И. С. 137, 330  
Тургенев Н. И. 12, 276  
Тургенев С. И. 12, 32, 276  
Турчанинов Г. Ф. 296, 297  
Уваров С. С. 85, 137, 138  
Уолпол Г. (Х.) 290  
Усок И. Е. 306  
Успенский Б. А. 295  
Утренев А., псевд. см. Зорин А. Л.  
Ушаков Н. И. 297  
Фабер Г.-Ф. 307  
Фальконе Э. М. (Фальконет, Falkonet) 63, 67, 68, 284

Фарлаф 213  
Федоров Б. М. 260, 261, 312  
Федоров В. А. 47, 48, 280, 281  
Федр 289  
Фейнберг И. Л. 285, 286, 288, 299  
Феокрит 221—223, 306  
Фидий 68  
Филарет (Дроздов В. М.), митрополит 236—250, 273, 307—309, 330  
Филиппович П. П. 269, 270, 314  
Фишер И. Э. (Fischer) 125, 292  
Фомичев С. А. 8, 275, 277, 280, 284  
Фонвизин Д. И. 231  
Фон Грен А. см. Грен А. Е.  
Фон Грен Е. см. Грен Е.  
Фон Грен К. см. Грен К. Е.  
Фон Грен П. см. Грен П. Е.  
Фонтенель Б. (Ле Бовье де Фонтенель) 223  
Франк С. Л. 326  
Фусс П. Н. 248  
Хаев Е. С. 217, 304, 307  
Хатчинсон (Гутчинсон, Hutchinson), врач 256, 257  
Хвостов Д. И. 143, 259, 261, 262, 322, 325, 328  
Херасков М. М. 123, 124, 129, 137, 141, 291, 293, 320  
Хитрово Е. М. 237, 239, 246, 307, 308  
Хованский А. И. 168  
Хованский И. А. 168  
Хомутов А. С. 272  
Хомутова А. Г. 272  
Хомяков А. С. 135, 143, 144, 293  
Хрущев Н. С. 323  
Цветаева М. И. 330  
Цейтц Н. В. см. Алексеева Н. В.  
Цетлин М. О. 306  
Цицерон 203, 223  
Цявловская Т. Г. 73, 285, 297  
Цявловский Д. И. 307  
Цявловский М. А. 254, 258, 275, 303, 305, 310, 311  
Чаадаев П. Я. (Чадаев, Чедаев) 9, 37, 38, 43, 45, 76, 94, 102, 108  
Червяков Е. В. 281  
Черейский Л. А. 267, 276, 284, 293, 297, 301, 309, 310, 312, 313  
Чернышев З. Г. 161  
Черняев Н. Ю. 286  
Чижевский Д. И. 286, 288  
Чириков Г. С. 249, 250  
Чистов К. В. 299  
Чичерин А. К. 300  
Чумаков Ю. Н. 306, 307

Шаликов П. И. 325  
Шапочка В. 330  
Шарыпкин Д. М. 303  
Шатобриан Ф. Р. де, виконт 90, 97, 146, 222, 223, 273  
Шаховской А. А. 147, 207  
Шебунин А. Н. 276  
Шекспир В. (Shakespeare) 57, 79, 83, 155, 156, 213, 286, 297  
Шенье А. 25, 236  
Шепелев, майор 195  
Шерон Д. (Cheron) 324  
Шешковский С. И. 30  
Шиллер И. Ф. 224  
Шильдер Н. К. 13, 276, 278, 279, 281, 283, 286, 291  
Ширинский-Шихматов С. А. (Шихматов) 139, 140, 294, 321, 322, 325, 328  
Шишкина О. П. 330  
Шишков А. А. 124  
Шишков А. С. 31, 38, 143, 207, 260, 279, 280, 320, 323, 327, 328  
Шнеерсон М. 324, 325  
Шоу Т. (Show) 94, 286, 288, 290  
Штелин Я. Я. (Staehlin) 176, 298  
Шторх А. К. 253  
Штрайх С. Я. 275  
Шубин В. Ф. 325  
Шувалов И. И. 192  
Шульц Р. 290, 326  
Щапов А. П. 299  
Щеников А. Г. 294  
Эйдельман Н. Я. 73, 132, 276, 278, 281, 284, 285, 293, 297, 300, 309, 315  
Эккерман И.-П. 296  
Эсхил 86, 287  
Эткинд Е. Г. 283, 327, 328, 331  
Эфрос А. М. 63  
Юзефович М. В. 218, 297  
Юлий Цезарь 105  
Юм Д. 223  
Юнг Э. 326  
Юстиниан, император 283  
Юсупов Н. Б. 40  
Языков Н. М. 43—45  
Якобсон Р. О. (Jakobson) 283  
Яковлев М. Я. 102, 103  
Якубович Д. П. 146, 174, 178, 184, 295, 296, 298, 299  
Якушкин В. Е. 277  
Ярослав I 210, 303  
Яцевич А. Г. 313  
Bateson F. W. 310  
Beaujour E. K. 325

Beaven M. 321  
Bethea D. M. 284  
Briggs A. D. P. 330  
Broich U. 302  
Bukhs N. 324  
Buonaparte см. Наполеон I  
Burgi R. 294  
Coleman A. P. 310  
Corson J. 296  
Cross A. D. 323  
Daly S. 279  
Dieckmann H. 284  
Dixoin S. 331  
Driver S. 288  
Edgerton W. 324  
Fink W. 326  
Fraanje M. 331  
Goscilo H. 325, 326  
Green M. 324  
Jobes G. 302  
Jones W. G. 329  
Klein J. 331  
Massis H. 291  
Merserau J. 296  
Moser C. 326  
Nesbitt G. L. 310  
Offord D. 294, 295  
Partrige M. 324  
Peter the Great (Петр Великий) см. Петр I  
Peterson N. 325  
Radezky I. 324  
Sezneg J. 284  
Small H. A. 296  
Smith M. 327  
Sosa M. 325  
Terras V. 325  
Thiergen P. 327  
Waegemans E. 284  
Wess M. A. 284  
Williams B. 282  
Williams J. 282  
Wolfe Ch. 153, 296  
Wortman R. S. 285, 286

## К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

### Стихия и цари

- С. 53. Бюст Александра I работы Б. Торвальдсена. Эрмитаж. (Пушкин. Исследования и материалы. Т. II. М.; Л., 1958. С. 324).
- С. 65. Конь без всадника. — Пушкин. XVIII. С. 220.
- С. 66. Кони без узды. — Пушкин. ПСС, т. XVIII, стр. 382, 384.
- С. 69. Медный всадник.
- С. 70. Марк Аврелий.

### Замысел поэмы о Ермаке

- С. 119. Ермак <?>. — Сибирский вестник, издаваемый Григорием Спасским. СПб., 1818. Фронтиспис.
- С. 120. <Воображаемый разговор с Александром I>. (Черновой автограф) — А. С. Пушкин. Рабочие тетради. Т. IV. СПб.; Лондон, 1996. ПД 835, л. 47.

### Незаконченная поэма о Тазите

- С. 151. Горец и монах (автоиллюстрация к поэме о Тазите) — XVIII. С. 221.
- С. 152. Первый план поэмы о Тазите. — А. С. Пушкин. Рабочие тетради. Т. VII. СПб. — Лондон, 1996. ПД 841, л. 23.
- С. 152. Второй и третий планы поэмы о Тазите. — А. С. Пушкин. Рабочие тетради. Т. VII. СПб.; Лондон, 1996. ПД 842, л. 7.

### Планы повести о стрельцах

- С. 167. Первый план. — А. С. Пушкин. Рабочие тетради. Т. III. СПб.; Лондон, 1995. ПД 831, л. 60 об.
- С. 169. Второй план. — А. С. Пушкин. Рабочие тетради. Т. V. СПб.; Лондон, 1996. ПД 837, л. 45.
- С. 170. Планы 3 и 4. — А. С. Пушкин. Рабочие тетради. Т. V. СПб.; Лондон, 1996. ПД 837, л. 45.

### Диптих Пушкина и псевдопалинодия митрополита Филарета

- С 241. Список стихотворения Филарета из коллекции К. А. Гинзбурга.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора .....	7
-----------------	---

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МЕЖДУ ДВУХ ЦАРЕЙ

От «Стансов» к «Друзьям» .....	11
Стихия и цари в «Медном всаднике» .....	50
Проблема демократии («Джон Геннер») .....	84
Последняя Лицейская годовщина («Была пора...»).....	101

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ЗАМЫСЛЫ

Замысел поэмы о Ермаке .....	117
Незаконченная поэма о Тазите .....	145
Планы повести о стрельцах.....	166
Мистификация семейного предания («А дед мой в крепость, в карантин...») .....	186

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПРОБЛЕМЫ ЖАНРА

«Руслан и Людмила» и традиции ирои-комической поэмы ....	201
«Евгений Онегин»: et in Arcadia ego .....	215
Диптих Пушкина и псевдопалинодия митрополита Филарета ...	236

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ЗАМЕТКИ И УТОЧНЕНИЯ

Упоминание о Пушкине в английском журнале (1825) .....	253
Материалы о Пушкине в публикациях А. Е. Грена:	
1. Письмо Пушкина к Марии Грен .....	258
2. Записка Пушкина к Е. А. Баратынскому .....	268

Список сокращений .....	274
Примечания .....	276
Summary .....	316
Список работ Марка Альтшуллера .....	318
Именной указатель .....	332
К иллюстрациям .....	349

**М. Альтшуллер**

Между двух царей: Пушкин в 1824—1836 гг. — СПб.: Академический проект, 2003. (Современная западная русистика, т. 47) — 354 с., ил.

ISBN 5-7331-0273-X

Книга посвящена деятельности Пушкина последнего десятилетия. В частности, рассматривается один из сложнейших в пушкиноведении вопрос об отношениях поэта с Николаем I, который тесно связан с оценкой Пушкиным деятельности и личности Александра I. Этим проблемам посвящена первая часть книги. Во второй части делается попытка реконструировать ряд неосуществленных пушкинских замыслов (поэмы о Ермаке и Тазите, повесть о стрелце). В третьей части анализируется жанровая природа некоторых пушкинских произведений, что позволяет по-новому взглянуть на такие хрестоматийные вещи, как «Руслан и Людмила» и «Евгений Онегин».

Переплет *Ю. С. Александров*

Художественный редактор *В. Г. Бахтин*

Верстка *А. Т. Драгомощенко*

Корректор *О. И. Абрамович*

ЛР №066191 от 27.11.98

Подписано в печать 20.05.2003. Формат 60×90/16

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Newton.

Усл. п. л. 22. Уч. изд. п. л. 18. Тираж 1000 экз. Заказ № 4299

Гуманитарное агентство «Академический проект»

191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 26

Отпечатано с готовых диапозитивов  
в Академической типографии «Наука» РАН  
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

*lib.pushkinskiydom.ru*